

К феноменологии непрямого говорения

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Глава 1. Феноменология говорения и чистая феноменология

1. 1. Феноменологический адрес непрямого говорения. § 1. Терминологический лабиринт. § 2. Феноменологический ракурс. § 3. Ноэтическая призма. § 4. Ноэтическая синтактика и интерсубъективная эгология. Общая идея феноменологии непрямого говорения. § 5. Феноменологический адрес и феноменологические особенности процесса говорения. § 6. Акты говорения на фоне гуссерлевых актов выражения и извещения: «вторжение ноэтики» и «потеснение» семантики. § 7. Потенциальное значение гуссерлевых актов выражения для феноменологии непрямого говорения.

1. 2. Элементы непрямого выражения у Гуссерля. § 8. Ноэматически-ноэтическая двусмысленность языка. § 9. Стяжения и их разворачивание. § 10. Вопрос об универсальности модального компонента. § 11. Принцип «лестницы модификаций». § 12. Ступени гуссерлевой модальности. Прадокса и ноэматическое предложение. § 13. Полные и неполные выражения. Опускание. § 14. Принципиальная неполнота языковых выражений. § 15. Прямые и не прямые выражения Гуссерля. § 16. Вопрос о разделимости/неразделимости значения и смысла (к критике Гуссерля со стороны Ж. Деррида).

1. 3. Индуцирование и инсценирование. § 17. Особый характер взаимоотношения актов говорения с сопровождающими их актами сознания. § 18. Индуцирование и инсценирование. § 19. Индуцированное инсценирование несемантизированных актов. § 20. Внесловесная ноэтическая ситуация. § 21. Двойное отношение индуцирования к гуссерлевым сращениям и опущениям. Непрямой смысл языковых энтимем. § 22. Предварительная иллюстрация. Опускание. § 23. Специально об инсценировании. § 24. Неизоморфность ноэтически-ноэматических и субъект-предикативных структур. Органичные и инсценированные стяжения. § 25. Стяжение как фундирующий способ неизоморфной языковой инсценировки ноэтически-ноэматических структур. Случай имплантации ноэс в ноэму в языке. § 26. К понятийной родословной индуцирования и инсценирования. § 27. Ноэматический синтаксис и ноэтическая синтактика в языке. § 28. Основные типы сцеплений между актами. § 29. Вопрос о влиянии языковых форм сцеплений на течение актов сознания и о возможности обратного влияния.

ГЛАВА 2. Ноэтический смысл

2. 1. Ноэтический и ноэматический смыслы. § 30. Вопрос об объеме понятия «смысл». § 31. Ноэматический и ноэтический смыслы. § 32. Заостренные и нейтральные версии ноэтического смысла. Хайдеггер и Бахтин. § 33. Преимущественная феноменологическая локализация ноэтического смысла. § 34. Семантизированные формы передачи ноэтического смысла. Феноменологическая инверсия. § 35. Несемантизированные формы передачи ноэтического смысла. Интонация.

2. 2. Ноэтический смысл и тропология. § 36. Статус не прямых ноэтических смыслов и тропология. § 37. Смысл и значение. Гуссерль и Деррида. § 38. Ноэма и имя. Функциональный аргумент 'за' разделение смысла и семантики. § 39. Вопрос о необлекаемых в семантику смыслах. Случай их «символической неименующей референции». § 40. Случай наслаивания разнотипных ноэс. § 41. Опускание ноэм, метафора и символ. § 42. Миражи и не прямые смыслы. § 43. Непротяженная динамичность смысла — протяженная статичность семантики.

2.3. Ноэтический смысл, эмоционально-оценочные акты и модальность. § 44. Версии доминирования «ноэматического» и/или «семантического» смысла. Экспрессивная теория Г. Шпета. § 45. Вопрос о степенях и возможности полного разрыва ноэм и ноэс. § 46. Постановка проблемы о соотношении в феноменологии говорения актов душевной и волевой сфер с модальностью.

2. 4. Интерпретация гуссерлевых идей о модальности с точки зрения феноменологии непрямого говорения. § 47. Ноэматическое предложение Гуссерля и идея опоры языка на праомодальную ноэсу. § 48. Модальная версия предикативного акта. Возможны ли немодализированные акты говорения? § 49. Особо о модальности и нейтральном сознании. § 50. Нейтральное сознание и язык. § 51. «Особость» ноэтически-ноэматического строения ноэматических предложений модального сознания. § 52. Принципиальная опосредованность референции, связанная с выражающей природой языковых актов. § 53. Неотмысливаемость модальности. § 54. Идея функционального сходства модальности и актов душевной и волевой сфер. «Неотмысливаемость» ноэтического смысла.

2. 5. Тональность как ноэтический смысл и ее разновидности. § 55. Тональность как второй наряду с модальностью тип ноэтического смысла. § 56. Диапазон тональности по оси «экспрессия/импрессия». § 57. Моменты придания и экспликации экспрессии (вложение и проникновение). § 58. Ноэматическая и ноэтическая тональность. § 59. Разновидности тональности по оси «смех/страх». § 60. Коммуникативный вектор тональности. § 61. Сводная номенклатура намеченных разновидностей ноэтического смысла.

Глава 3. Фокусы внимания, языковые модальности и тональность.

3. 1. Фокус внимания.

§ 62. Интенциональные и эгологические сдвиги и сцепления. § 63. Фокус внимания и его смены. § 64. Фокус внимания как один из содержательных параметров акта говорения. § 65. Фокус внимания, фокализация и голос. § 66. ФВ и синтаксический субъект. § 67. Аттенсиональные сдвиги в актах сознания и смены ФВ в языке. § 68. Языковые инсценировки посредством фокусов внимания. § 69. Фокус внимания и «многолучевое переживание». § 70. Нечто гипотетически общее. § 71. Временные сдвиги ФВ — перестановки, разрывы, сращения. § 72. Ложные пространственные разрывы ФВ. Метафора как ложная смена ФВ. § 73. О природе ноэтического смысла в связи с ФВ. Значимость непротяженных смыслов. § 74. Идеальные «вечные» смыслы — не предмет феноменологии говорения. § 75. ФВ, кругозор и окружение.

3. 2. Языковая модальность.

§ 76. Языковые модальности и связанные с ними концептуальные затруднения. § 77. Проблема соотношения референции и модальности. § 78. Особо о референции и нейтральной модальности. § 79. Инсценирующая модальность. § 79. Модальность и жанр.

3. 3. Совмещенный модально-тональный ракурс.

§ 80. Причины и цели совместного рассмотрения модальности и тональности. § 81. Модально-тональные сдвиги и их влияние на смысл. § 82. Перефразирование как смена модально-тональных моментов высказывания и потому изменение смысла. § 83. Модально-тональные сдвиги и фокус внимания. § 84. Скрытые смены ФВ с точки зрения их возможных маркеров. § 85. Смены модально-тонального ракурса как способ развертывания смысла при приостановке смен ФВ.

ГЛАВА 4. «Точка говорения», ее эгологические модификации и кинестезы

4. 1. Точка говорения.

§ 86. Фокус внимания и точка говорения. § 87. «Точка говорения» в интересубъективно-эгологическом понимании. § 88. Точка говорения, чистое Я и чистый автор. § 89. Чистый и первичный авторы. § 90. Языковые наполнители «точки говорения» — вне и внутри эгологической зоны. § 91. Пространственно-временные кинестезы в интересубъективно-эгологической сфере.

4. 2. Частные разновидности точек говорения.

§ 92. Речевой центр. § 93. Референциальная сторона речевых центров. § 94. РЦ и двуголосие. Двуголосие в терминах феноменологии говорения. § 95. Неустранимость речевого центра «я». Трехголосие, ирония и метафора. § 96. Коммуникативная позиция. § 97. «Небезопасность» и «неизбежность» оглядки на имманентное «ты». § 98. Чужие речевые центры и коммуникативная позиция «Ты». § 99. Коммуникативные позиции Я и Ты в терминах феноменологии говорения. § 100. Кто говорит, кто слушает? Мерло-Понти и Гуссерль. § 101. Речевые центры, коммуникативные позиции и вторичный автор. § 102. Первичный и вторичный авторы на нарратологическом фоне. § 103.

Диапазон причастности. § 104. Разновидности «мы»-позиций. § 105. Диапазон тональности. § 106. Тональная метафора. § 107. Взаимозависимость тональности и тематизма. § 108. Тональные смены по тематическим основаниям и тематические смены по тональным основаниям.

4. 3. Точка говорения, оживленный предмет речи и инсценированная «смерть автора».

§ 109. Предмет речи как свернутая точка говорения. § 110. Предмет речи как свернутая точка говорения и лосевский концепт «эйдетического языка». § 111. Предмет как свернутая точка говорения, Гуссерль и Рикер. § 112. Особенности свернутой точки говорения предмета речи относительно других типов точек говорения. § 113. Неотмысливаемость точек говорения в языковом сознании и в любом типе высказываний. § 114. Гипотетически о сменах точек говорения изнутри семантики и извне ее. § 115. Неизымаемость intersubъективной эгологии. § 116. Инсценировки из точек говорения. § 117. Авторская позиция как типическая конфигурация точек говорения. Инсценированные смерть и самоубийство автора.

Экскурсы:

1. **Нозсы, нозмы и их отношения с семантикой у Гуссерля.** § 1. Нозсы и нозмы. § 2. К проблеме соотношения у Гуссерля понятий «нозматика» и сфера значений (семантика).

2. **Гуссерлевы акты выражения и акты извещения.**

3. **Концепт ноэтического смысла и § 85 «Идей 1».**

4. **Доминирование ноэтического смысла над нозматическим у М. Хайдеггера**

5. **Экспрессивная теория Г. Шпета как версия ‘аналитической феноменологии’.** § 1. Аргументация Шпета. § 2. Шпет, Боратынский, смысл и экспрессия. § 3. Шпетовская экспрессия, симпатическое переживание, «комическое» и гипотеза Эйнштейна. § 4. Перефразирование и «очищенный» от экспрессии смысл стихотворения Боратынского. § 5. «Объективная» смысловая значимость «экспрессии». § 6. Система оговорок Шпета, усложняющих и в конечном счете размыкающих ситуацию. § 7. Поэтический пропуск в сферу смысла. § 8. «Ноэсоктомия», экспрессия и синтаксис. § 9. Суггестивная сила шпетовских идей. «Аналитическая феноменология».

6. **Фокус внимания и его смены на фоне «Идей 1».**

К ФЕНОМЕНОЛОГИИ НЕПРЯМОГО ГОВОРЕНИЯ

Оглавление:

ГЛАВА 1. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ГОВОРЕНИЯ И ЧИСТАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

1. 1. Феноменологический адрес непрямого говорения. § 1. Терминологический лабиринт. § 2. Феноменологический ракурс. § 3. Ноэтическая призма. § 4. Ноэтическая синтактика и интерсубъективная эгология. Общая идея феноменологии непрямого говорения. § 5. Феноменологический адрес и феноменологические особенности процесса говорения. § 6. Акты говорения на фоне гуссерлевых актов выражения и извещения: «вторжение ноэтики» и «потеснение» семантики. § 7. Потенциальное значение гуссерлевых актов выражения для феноменологии непрямого говорения.

1. 2. Элементы непрямого выражения у Гуссерля. § 8. Ноэматически-ноэтическая двусмысленность языка. § 9. Стяжения и их разворачивание. § 10. Вопрос об универсальности модального компонента. § 11. Принцип «лестницы модификаций». § 12. Ступени гуссерлевой модальности. Прадокса и ноэматическое предложение. § 13. Полные и неполные выражения. Опускание. § 14. Принципиальная неполнота языковых выражений. § 15. Прямые и не прямые выражения Гуссерля. § 16. Вопрос о разделимости/неразделимости значения и смысла (к критике Гуссерля со стороны Деррида).

1. 3. Индуцирование и инсценирование. § 17. Особый характер взаимоотношения актов говорения с сопровождающими их актами сознания. § 18. Индуцирование и инсценирование. § 19. Индуцированное инсценирование несемантизированных актов. § 20. Внесловесная ноэтическая ситуация. § 21. Двойное отношение индуцирования к гуссерлевым сращениям и опущениям. Непрямой смысл языковых энтимем. § 22. Предварительная иллюстрация. Опускание. § 23. Специально об инсценировании. § 24. Неизоморфность ноэтически-ноэматических и субъект-предикатных структур. Органичные и инсценированные стяжения. § 25. Стяжение как фундирующий способ неизоморфной языковой инсценировки ноэтически-ноэматических структур. Случай имплантации ноэс в ноэму в языке. § 26. К понятийной родословной индуцирования и инсценирования. § 27. Ноэматический синтаксис и ноэтическая синтактика в языке. § 28. Основные типы сцеплений между актами. § 29. Вопрос о влиянии языковых форм сцеплений на течение актов сознания и о возможности обратного влияния.

ГЛАВА 2. НОЭТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ

2. 1 Ноэтический и ноэматический смыслы. § 30. Вопрос об объеме понятия «смысл». § 31. Ноэматический и ноэтический смыслы. § 32. Заостренные и нейтральные версии ноэтического смысла. Хайдеггер и Бахтин. § 33. Преимущественная феноменологическая локализация ноэтического смысла. § 34. Семантизированные формы передачи ноэтического смысла. Феноменологическая инверсия. § 35. Несемантизированные формы передачи ноэтического смысла. Интонация.

2. 2. Ноэтический смысл и тропология. § 36. Статус не прямых ноэтических смыслов и тропология. § 37. Смысл и значение. Гуссерль и Деррида. § 38. Ноэма и имя. Функциональный аргумент 'за' разделение смысла и семантики. § 39. Вопрос о необлекаемых в семантику смыслах. Случай их «символической неименующей

референции». § 40. Случай наслаивания разнотипных ноэс. § 41. Опускание ноэм, метафора и символ. § 42. Миражи и не прямые смыслы. § 43. Непротяженная динамичность смысла — протяженная статичность семантики.

2.3. Ноэтический смысл, эмоционально-оценочные акты и модальность.

§ 44. Версии доминирования «ноэматического» и/или «семантического» смысла. Экспрессивная теория Г. Шпета. § 45. Вопрос о степенях и возможности полного разрыва ноэм и ноэс. § 46. Постановка проблемы о соотношении в феноменологии говорения актов душевной и волевой сфер с модальностью.

2. 4. Интерпретация гуссерлевых идей о модальности с точки зрения феноменологии непрямого говорения. § 47. Ноэматическое предложение Гуссерля и идея опоры языка на прамодальную ноэсу. § 48. Модальная версия предикативного акта. Возможны ли немодализированные акты говорения? § 49. Особо о модальности и нейтральном сознании. § 50. Нейтральное сознание и язык. § 51. «Особость» ноэматически-ноэматического строения ноэматических предложений модального сознания. § 52. Принципиальная опосредованность референции, связанная с выражающей природой языковых актов. § 53. Неотмысливаемость модальности. § 54. Идея функционального сходства модальности и актов душевной и волевой сфер. «Неотмысливаемость» ноэматического смысла.

2. 5. Тональность как ноэматический смысл и ее разновидности. § 55. Тональность как второй наряду с модальностью тип ноэматического смысла. § 56. Диапазон тональности по оси «экспрессия/импрессия». § 57. Моменты придания и экспликации экспрессии (вложение и проникновение). § 58. Ноэматическая и ноэматическая тональность. § 59. Разновидности тональности по оси «смех/страх». § 60. Коммуникативный вектор тональности. § 61. Сводная номенклатура намеченных разновидностей ноэматического смысла.

ГЛАВА 3. ФОКУСЫ ВНИМАНИЯ, ЯЗЫКОВЫЕ МОДАЛЬНОСТИ И ТОНАЛЬНОСТЬ.

3. 1. Фокус внимания. § 62. Интенциональные и эгологические сдвиги и сцепления. § 63. Фокус внимания и его смены¹. § 64. Фокус внимания как один из содержательных параметров акта говорения. § 65. Фокус внимания, фокализация и голос. § 66. ФВ и синтаксический субъект. § 67. Атенциональные сдвиги в актах сознания и смены ФВ в языке. § 68. Языковые инсценировки посредством фокусов внимания. § 69. Фокус внимания и «многолучевое переживание». § 70. Нечто гипотетически общее. § 71. Временные сдвиги ФВ — перестановки, разрывы, сращения. § 72. Ложные пространственные разрывы ФВ. Метафора как ложная смена ФВ. § 73. О природе ноэматического смысла в связи с ФВ. Значимость непротяженных смыслов. § 74. Идеальные «вечные» смыслы — не предмет феноменологии говорения. § 75. ФВ, кругозор и окружение.

3. 2. Языковая модальность. § 76. Языковые модальности и связанные с ними концептуальные затруднения. § 77. Проблема соотношения референции и модальности. § 78. Особо о референции и нейтральной модальности. § 79. Инсценирующая модальность. § 79. Модальность и жанр.

3. 3. Совмещенный модально-тональный ракурс. § 80. Причины и цели совместного рассмотрения модальности и тональности. § 81. Модально-тональные сдвиги и их влияние на смысл. § 82. Перефразирование как смена модально-тональных моментов высказывания и потому изменение смысла. § 83. Модально-

¹ Первые внефеноменологические попытки обоснования «фокуса внимания» и его смен см.: *Гоготишвили Л. А. Хронотопический аспект смысла высказывания.* (М., 1986); *Гоготишвили Л. А. Философия языка М.М. Бахтина и проблема ценностного релятивизма // Бахтин как философ.* М., 1992.

тональные сдвиги и фокус внимания. § 84. Скрытые смены ФВ с точки зрения их возможных маркеров. § 85. Смены модально-тонального ракурса как способ развертывания смысла при приостановке смен ФВ.

ГЛАВА 4. «ТОЧКА ГОВОРЕНИЯ»,
ЕЕ ЭГОЛОГИЧЕСКИЕ МОДИФИКАЦИИ И КИНЕСТЕЗЫ

4. 1. Точка говорения. § 86. Фокус внимания и точка говорения. § 87. «Точка говорения» в интерсубъективно-эгологическом понимании. § 88. Точка говорения, чистое Я и чистый автор. § 89. Чистый и первичный авторы. § 90. Языковые наполнители «точки говорения» — вне и внутри эгологической зоны. § 91. Пространственно-временные кинестезы в интерсубъективно-эгологической сфере.

4. 2. Частные разновидности точек говорения. § 92. Речевой центр. § 93. Референциальная сторона речевых центров. § 94. РЦ и двуголосие. Двуголосие в терминах феноменологии говорения. § 95. Неустранимость речевого центра «я». Трехголосие, ирония и метафора. § 96. Коммуникативная позиция. § 97. «Небезопасность» и «неизбежность» оглядки на имманентное «ты». § 98. Чужие речевые центры и коммуникативная позиция «Ты». § 99. Коммуникативные позиции Я и Ты в терминах феноменологии говорения. § 100. Кто говорит, кто слушает? Мерло-Понти и Гуссерль. § 101. Речевые центры, коммуникативные позиции и вторичный автор. § 102. Первичный и вторичный авторы на нарратологическом фоне. § 103. Диапазон причастности. § 104. Разновидности «мы»-позиций. § 105. Диапазон тональности. § 106. Тональная метафора. § 107. Взаимозависимость тональности и тематизма. § 108. Тональные смены по тематическим основаниям и тематические смены по тональным основаниям.

4. 3. Точка говорения, оживленный предмет речи и инсценированная «смерть автора». § 109. Предмет речи как свернутая точка говорения. § 110. Предмет речи как свернутая точка говорения и лосевский концепт «эйдетического языка». § 111. Предмет как свернутая точка говорения, Гуссерль и Рикер. § 112. Особенности свернутой точки говорения предмета речи относительно других типов точек говорения. § 113. Неотмысливаемость точек говорения в языковом сознании и в любом типе высказываний. § 114. Гипотетически о сменах точек говорения изнутри семантики и извне ее. § 115. Неизымаемость интерсубъективной эгологии. § 116. Инсценировки из точек говорения. § 117. Авторская позиция как типическая конфигурация точек говорения. Инсценированные смерть и самоубийство автора.

К ФЕНОМЕНОЛОГИИ НЕПРЯМОГО ГОВОРЕНИЯ

*Я слово позабыл, что я хотел сказать.
Слепая ласточка в чертог теней вернется
На крыльях срезанных, с прозрачными играть.
В беспамятстве ночная песнь поется...*

*О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья.
Я так боюсь рыданья аонид,
Тумана, звона и зиянья!*

*А смертным власть дана любить и узнавать,
Для них и звук в персты прольется,
Но я забыл, что я хочу сказать, —*

И мысль бесплотная в чертог теней вернется...

(О. Манделъштам)

ГЛАВА 1. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ГОВОРЕНИЯ И ЧИСТАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ.

1. 1. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ АДРЕС НЕПРЯМОГО ГОВОРЕНИЯ

§ 1. Терминологический лабиринт. Преодолевая робость непреодолимым любопытством, как писалось в старинных романах, приступаем мы к этой теме, опасаясь, что «мысль бесплотная в чертог теней вернется». Если просто «говорить о языке на языке» — уже считается парадоксом, то прямо говорить о непрямом говорении — мертвая петля языкового парадокса. Намерения, соответственно, осторожны: сплести словесные тенета, выстроив лабиринт из понятий и терминов, стены которого хотя бы осязаемо для ума оградили пространство протекания непрямого смысла и наметили его излюбленные маршруты (тогда, быть может, «и звук в персты прольется»).

То, что как минимум части языковых высказываний присущ не прямой (небуквальный) смысл — вещь настолько же очевидная, насколько трудно поддающаяся схватыванию и тем более осмыслению. Как очевидная, она — извечный и неизменный предмет филологии, лингвистики и философии; как трудно поддающаяся схватыванию и осмыслению, она расчленена на многообразные конкретные явления, которые распределены по разным направлениям, где они по-разному называются и по-разному же объясняются в своих частных обликах. Номенклатурный состав связанных с непрямым говорением явлений и процессов все время увеличивается, но не ясен или спорен стержень, на который могло бы быть хотя бы классификационно, не говоря уже о типологии, нанизано все многообразие явлений и процессов, обладающих такого рода природой. На пути к разработке принципа их возможного упорядочения пролегает исторически подвижная «минная зона» резких концептуальных разломов (сегодня — между, напр., аналитикой и феноменологией) или острых дискуссионных тем (сегодня — напр., о существовании/несуществовании *предвыразительного*, то есть *доязыкового* слоя смысла).

Единства взглядов на природу непрямого смысла и его различных форм не только не наблюдается, но и не ожидается (фактически общепризнанно, что многоплановая сложность этой темы такова, что надежды будут тем основательней, чем больше будет разных приступов к ней); тем не менее попытки наведения хотя бы операциональных терминологических мостов, которые соединили бы не всегда сообщающиеся сосуды различных направлений изучения непрямого языка и выявили бы ограды тех маршрутов, по каким, перекликаясь, длится концептуальное эхо любого серьезного обсуждения этой темы, полезны. Полезны — уже тем, что могут создать выразительное своей объемностью единое пространство, эксплицирующее то если не «обще», то «часто» подразумеваемое обстоятельство, что речь изобилует различными формами непрямого говорения, если они вообще не составляют ее господствующую и более значимую (по оценке, напр., М. Пруста и

Ж. Женетта²) часть, в то время как «прямые формы» покрывают лишь ее небольшую и менее искусную зону. Если, конечно, прямое говорение вообще возможно, что также ставится под вопрос³.

Назвать не значит понять, но все же, если выбрать какое-либо общее название, которое объединило бы без претензий на концептуально новую спецификацию все явления этого рода в едином пространстве — а здесь на эту роль, как уже понятно, предлагается понятие «*непрямого говорения*», — то хотя бы можно будет говорить о разновидностях или типах «непрямого говорения», в качестве которых можно будет толковать явления и процессы, известные в разных направлениях и областях под разными и не всегда даже тематически связываемыми наименованиями. Можно будет, напр., постараться навести терминологические мосты и переходы между «тропологией» (в частности, получившей особый статус метафорой), аналитикой, семантикой, теориями референции⁴, нарратологией, теорией двуголосия, поэтикой и т. д.

Одним из стимулов попытки рассмотреть явление непрямого говорения стало то, что и все те языковые процессы, которые рассматривались в книге ранее при описании концепций Вяч. Иванова, А. Лосева и М. Бахтина, также несомненно являются разновидностями непрямого говорения: погашение акта именования в пользу неименующей символической референции, элиминирование естественного языка в пользу эйдетического, сопровождаемое тезисом о принципиальной «непрямоте» смысла на естественном языке, референция к «состояниям сознания», доминирование *как* над *что*, нанизывание антонимов, двуголосие, трехголосие, двух- и трех-предикативность, одно- и дву-референтность, наложение тематической и тональной предикаций, позиция *извне/изнутри*, оппозиция смех/серьезность и др.

² См., в частности, раздел «*Пруст и 'непрямой' язык*» в «Фигурах» Ж. Женетта (М., 1998. Т. 1. С. 412 – 469). Прустовская «теория языка», обобщает в заключении Женетт, это критика реалистической иллюзии прямого выражения действительности, естественной связи между словом и предметом, критика наивного полагания, будто «*истина буквально выражена в речи*» (Бахтин называл это в схожем смысле «фикцией буквальных реалий слова»). Пруст, согласно Женетту, говорит о принципиальном несовпадении слова с внутренней истиной, о «*неспособности языка обнаружить эту правду иначе, как скрывая ее, маскируя, извращая и выворачивая наизнанку, непрямым образом*», говорит о «*великолепии непрямой речи*». По заключению самого Женетта из последней фразы статьи, «непрямой язык» производится «*конфликтом истины и языка*», в своем высшем появлении непрямой язык — это письмо, то есть творчество (с. 468, 469).

³ В частности, Ницше: «*Нет никакого не-риторического, «естественного» языка, который можно было бы использовать как исходную точку... Тропы — это не что-то такое, что можно по желанию добавлять к языку или отнимать у языка; они — его истиннейшая природа*». (Nietzsche F. Gesammelte Werke. Munich, 1922. Bd. 5. S. 300).

⁴ Известно, что теории референции с трудом уже несут, концептуально не падая с ног, ношу из добытых ими разных типов референции. А между тем все разного рода «непрозрачные» типы референции, разрабатываемые наряду с остенсией и логической референциальной моделью («прямыми» типами) можно было бы понимать в качестве терминологических вариаций или разновидностей непрямого говорения. Номенклатура таких — потенциально имеющих непосредственное или косвенное отношение к непрямому говорению — типов референции богата: миметическая, символическая, иллюзорная, двойная, приостановленная, расщепленная, референция первого и второго порядка, референция расходящаяся, смещенная, ограниченная, атрибутивная, предиктирующая, перформативная, тематическая, тональная, ложная, внесемантическая, замещенная, порождающая референт и т. д.

Ивановские антиномичные («*ложь истины твоей змеиной иль истину змеиной лжи*») и бахтинские двуголосые конструкции («*Зато Калломейцев воткнул, не спеша, свое круглое стеклышко между бровью и носом и уставился на студентика, который осмеливается не разделять его “опасений”*» — ВЛЭ, 132, из «Нови» Тургенева) равно содержат в себе элементы непрямого говорения, но построены они принципиально по-разному, будучи основаны на различных речемыслительных «механизмах», схожих с отличиями между метафорой как семантическим сдвигом и иронией⁵. Рассматриваемые нами ранее фактически в изоляции друг от друга, больше в качестве внешне наблюдаемых языковых «фактов» и преимущественно в режиме выявления и констатации, все эти процессы остались не до конца понятными: как с точки зрения способа осуществления в них непрямого говорения, так и с точки зрения их — в чем-то специфически частной, но в чем-то, возможно, и общей — природы. По мере работы над этими темами становилось все более понятным, что тут нужен общий и объединяющий ракурс и что таким ракурсом может стать феноменология. У Вяч. Иванова феноменологические мотивы, хотя и редко всплывающие на поверхность текстов, тем не менее с очевидностью присутствуют; у Бахтина феноменология — в своей, конечно, версии — прямо называлась в ранних работах ведущим «методом» исследований; у Лосева именно феноменология оказалась топосом введения его главной языковой новации — концепта «эйдетический язык».

§ 2. Феноменологический ракурс. Возможность рассмотрения анализировавшихся нами ранее и других аналогичных не прямых смысловых эффектов под единым феноменологическим ракурсом, их целенаправленный перевод и совместное рассмотрение в феноменологической плоскости, еще конкретнее — в плоскости феноменологии сознания, согласуется, кстати говоря, и с усилиями континентальной не феноменологии, и с аналитическим тезисом о философия языка как части философии сознания. Как минимум, мы надеемся концептуально связать в этой общей феноменологической плоскости тропологию, двуголосие, нарратологию, антиномические конструкции, модальность и тональность сознания. Гипотетически же можно надеяться, что такой ракурс позволит также усмотреть некоторые общие операциональные аспекты в природе и механизмах феномена «непрямое говорение» в целом.

С позиции самой феноменологии ничего нового, как известно, в данной теме нет — достаточно напомнить «*не прямые*» выражения Гуссерля (подробней см. ниже), «*феномен семантической инновации*» П. Рикера⁶, «*отсроченное значение*»

⁵ Вопрос о соотношении *метафоры* и *иронии* решается сегодня по-разному. В традиции, восходящей к Вико, в частности, в «Метаистории» Х. Уайта, ирония рассматривается как один из тропов — наряду с метафорой, метонимией, синекдохой; в работе Hassan I. *The Postmodernism Turn* (Ohio, 1987) между иронией и метафорой утверждаются глубокие различия. С предлагаемой здесь точки зрения, которая ниже будет описана подробнее, ирония по способу образования отлична от тропов и не может считаться одним из них, входя в другую группу форм непрямого говорения, связанную не с семантическими сдвигами, а с особыми ноэтическими процессами — сдвигами инстанций говорения.

⁶ Феномен семантической инновации — «*это наиболее фундаментальная общая проблема и метафоры, и повествования в срезе смысла. В обоих случаях в языке возникает нечто новое — еще не сказанное, не выраженное: здесь — живая метафора, т. е. новое пространство предикации, там — сочиненная интрига, т. е. новое сочетание в интригообразовании... Такое же отношение между пониманием и объяснением наблюдается в поэтической области. Акт понимания, который в этой области можно соотнести с умением проследивать историю, состоит в постижении той*

Мерло-Понти (значение, составляющее реальный предмет устремлений речи, но не содержащееся непосредственно в употребленных в этой речи знаках⁷) или понимание выражения в современной немецкой феноменологии как всегда уклончивого, переходного, дополнительного⁸. Даже наоборот: трансцендентально ориентированные типы философии, к каковым относится и феноменология Гуссерля в той мере и степени, в каких в ней значим гносеологический субъект, часто оцениваются как органичное концептуальное пространство для обоснования метафорической (непрямой) природы языка⁹. Спор идет о другом — ошибочно ли такое обоснование или нет.

Название «феноменология непрямого говорения» образовано посредством терминологической контаминации гуссерлевых «непрямых» и «неполных» выражений с бахтинским «непрямым говорением» и с «феноменологией говорения» М. Мерло-Понти¹⁰: «феноменология непрямого говорения» — фрагмент

семантической динамики, в результате которой в метафорическом выражении из руин семантической несовместимости, бросающейся в глаза при буквальном прочтении фразы, возникает новое семантическое пространство. 'Понимать' означает, следовательно, проделывать или проделывать заново лежащую в основе семантической инновации дискурсивную операцию» — Рикер П. Что меня занимает последние 30 лет (Историко-философский ежегодник '90. М., 1991. С. 296-316).

⁷ «Если, в конечном итоге, язык хочет что-то сказать и действительно что-то говорит, то отсюда не следует, что каждый знак несет в себе принадлежащее ему значение; из этого следует, что все знаки, когда мы их рассматриваем один за другим, указывают на одно отсроченное значение, к которому я все их устремляет, хотя они никогда не содержали его в себе». — О феноменологии языка // Мерло-Понти М. В защиту философии. М., 1996. С. 53.

⁸ Waldenfels В. Das Paradox des Ausdrucks // Waldenfels В. Deutsch-Französische Gedankengänge. Fr. a. M., 1955. S. 120 – 121.

⁹ Вот сводка высказываний Ф. Р. Анкерсмита из раздела «Введение. Трансцендентализм: и взлет и падение метафоры» (Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2003): «... связь между тропологией и кантианским трансцендентализмом... должна быть воспринята весьма серьезно... <наша> точка зрения на метафору находится в абсолютном соответствии с главной идеей кантианского трансцендентализма — и поэтому метафора скорее является продолжением научных когнитивных идеалов, чем оппозицией им... трансценденталистская и метафорическая точки зрения выполняют абсолютно идентичные функции. Трансценденталистской философии свойственна метафоричность, а метафоричности свойственен трансцендентализм»; «Некантианская модель исторического понимания, которое не стремится к присвоению мира, — это основание настоящей книги в целом. Несмотря на то что первые четыре главы все еще построены на основе кантианских предположений, последние три — хотя каждая и различным способом — исследуют возможности создания такой не кантианской, не метафорической формы исторического письма и исторического сознания. Именно поэтому эта книга могла бы, как считают некоторые исследователи, дать толкование причин одновременно и возвышения, и падения метафоры в историческом письме, как это и подразумевается в названии данного введения»; «Я буду доказывать..., что некоторые варианты современной истории ментальностей могут быть интерпретированы как осуществление интеллектуального движения против трансценденталистской теории присвоения реальности». (80, 84, 94, 92 и др.)

¹⁰ О феноменологии языка // Мерло-Понти М. В защиту философии. М., 1996. С. 50, 51 и др.

«феноменологии говорения». Стержень понятийного взаимосплетения — акцентуемый в двух последних случаях случаев концепт *говорения*. Хотя в многочисленных существенно различающихся между собой версиях феноменологии языка говорение далеко не всегда выдвигается на первый план (это место феноменологически законно могут занимать и занимают другие аспекты языка, напр., взятая безотносительно к говорению семантика), имеется логика в том утверждении Мерло-Понти, согласно которому феноменология языка может быть только «феноменологией говорения» — ведь по отношению к языку феноменологическая точка зрения есть точка зрения именно говорящего субъекта¹¹. Во всяком случае «говорение» нельзя не признать одним из законных предметов феноменологии сознания.

§ 3. Ноэтическая призма. Что означает для конфигурации феноменологически рассматриваемого языкового ландшафта выдвигание на первый план говорения? Если пользоваться нейтральной лингвистической терминологией, акцент на говорении предполагает первоочередность внимания не к высказыванию как внеположному сознанию объекту, а к имманентным сознанию процессам его порождения и понимания¹², не к «идеальным смысловым предметностям», не к языковой *семантике*, не к объективированно рассматриваемым семантическим и синтаксическим структурам «текста» или бессознательного, «структурированного как язык» (Ж. Лакан), как миф или как-либо иначе, не к семантическим инвариантам, архетипам, бинарным структурам и их разного рода соответствиям, а к языковым *актам* сознания и формам их расчленения и сочленения, сцепления, наложения, наращивания, переконфигурации и т. д. Если говорить в феноменологической терминологии, в частности — в контексте корреляции *ноэтика/ноэматика* (ноэса/ноэма), то акцент на говорении предполагает первоочередность внимания не к ноэматике, которая в форме семантики обычно чаще выдвигается в лингвистике и логике на авансцену (гуссерлев ноэматический смысл понимается при этом как генерализация лингвистического значения), а к *ноэтике*. Категориальная пара ноэтика/ноэматика, скрытые языковые потенции которой будут нами в дальнейшем «раскручиваться», — опорная оппозиция «Идей 1» Гуссерля¹³ (контексты, в которых Гуссерль вводит и обосновывает понятия ноэсы и ноэмы, приведены в Экскурсе 1 «*Ноэсы, ноэмы и их отношения с семантикой у Гуссерля*»).

Несмотря на то, что все варианты феноменологии языка так или иначе вобрали в себя гуссерлеву феноменологию, хотя бы и в форме негации, ее возможности в отношении языка, в том числе потенции темы о ноэматически-ноэтических

¹¹ Там же.

¹² Недостаточностью «объективированного» подхода во многих случаях объясняется обращение при рассмотрении той или иной темы к феноменологическому ракурсу, даже если последний тоже не расценивается при этом как панацея; см, напр.: «...разве можно мыслить тело, если видеть в нем лишь объект строгих исследовательских процедур и закрывать глаза на феноменологию телесного опыта? Мыслить тело как объект невозможно. Феноменологический подход и отдельные методики его применения стали отправной точкой настоящих анализов, — отправной, но далеко не определяющей все следствия, которые возникали в ходе применения мной феноменологического подхода». — Подорога В. А. Феноменология тела. М., 1995 (предисловие).

¹³ Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга 1. М., 1999. В дальнейшем — «Идеи 1»; в случае ссылки на это издание будет непосредственно в тексте — в скобках — указываться номер параграфа «Идей 1».

структурах сознания, исчерпаны, как представляется, не до конца. В том числе, конечно, и потому, что гуссерлева феноменология во многом сама устранялась — вследствие самонастроения на редукцию — от существенных собственно языковых тем и также интересовалась применительно к языку по преимуществу ноэматической стороной дела. Идя в некоторых отношениях «вослед» чистой феноменологии Гуссерля, мы будем продвигаться «вопреки» ей в сторону феноменологии говорения — зафиксированной Гуссерлем, но оставленной без внимания зоны.

Разведение описаний, направленных на ноэматику и ноэтику, — фундирующий «прием» гуссерлевой феноменологии: «...феноменологическое описание имеет два направления: ноэтическое, или описание акта переживания, и ноэматическое, или описание 'того, что пережито'»¹⁴; «...между ноэсисом и ноэмой хотя и наличествует параллелизм, однако наличествует он так, что все образования должны описываться на каждой из сторон — в их со-ответствовании друг другу по мере сущности» (§ 98). Для нашей темы эти тезисы звучат, разумеется, абстрактно: гуссерлевы «специально» феноменологические ноэматику и ноэтику при их транспонировании в область рассуждений о языке коренным образом модифицируются. Природа этих модификаций — предмет спора. Особенно по отношению к языковым модификациям и аналогам ноэс и ноэтики в целом (здесь мыслится все: и экзистенция, и модальность, и тональность, и бессознательное, и архетипы, и — «ничто»). А вот то обстоятельство, что ноэматику транспонируется в языковую сферу преимущественно в виде семантики, по-видимому, особых сомнений не вызывает (что не исключает, конечно, того, что и ноэтика может транспонироваться в язык в виде семантики). Сам Гуссерль, при специально феноменологической обработке понятия ноэмы, концептуально увязывал (не отождествляя¹⁵) последнюю со сферой означивания и значения, т. е. именно с семантикой: в сфере выражения, к которой полностью причисляется у Гуссерля язык, акт выражения «*льнет ко всему ноэтическому*», а само выражение как значение, т. е. как семантика, льнет «*ко всему ноэматическому*» (§ 117¹⁶).

Вместе с тем разведение описания по ноэтической и ноэматической сторонам — именно прием, в перспективе, как известно, требующий наложения полученных картин: лейтмотив гуссерлевой феноменологии — не само по себе разведение, а сущностная взаимосвязь ноэматической и ноэтической стороны, которые тем не менее должны и могут различаться («*главным рубрикам феноменологических исследований*») соответствуют «*ноэтически-ноэматические сущностные взаимосвязи*» — § 135). Предлагаемый нами акцент на ноэтике также никак не исключает, но только отсрочивает внимание к ноэматике (и семантике). Напротив: только вместе они могут стать главными интригообразующими «персонажами» непрямого смысла высказывания.

Здесь предполагается обсудить применительно специально к языку ту тему, что если ноэсы и ноэмы чистого (неязыкового) сознания понимаются как строго коррелирующие друг другу, то языковые модификации ноэматики и ноэтики, будучи, как и в актах сознания, сущностно связаны и скоррелированы, вместе с тем *не изоморфны* друг другу по строению и локализации в тексте, что каждая — ноэтическая и ноэматическая — сторона языкового высказывания имеет свои

¹⁴ Гуссерль Э. Статья «Феноменология» в британской энциклопедии 1939 года. (Материал из интернета).

¹⁵ Подробнее — во втором параграфе Экскурса 1 «Ноэсы, ноэмы и их отношения с семантикой у Гуссерля».

¹⁶ См. также: «Любое „подразумеваемое как таковое“ — любое мнение в ноэматическом смысле (а притом как ноэматическое ядро) любого акта выразимо посредством „значений“ — § 124; при рефлексии над значениями, т. е. семантикой, взгляд направлен на ноэмы — § 127.

особые компоненты в смысловом составе речи. Эффект непрямого смысла, содержащий и поэтические, и нозматические компоненты, как раз и связан, как предполагается показать, в том числе и с этой неизоморфностью. Так что речь в тезисе о внимании к нозтике о другом — о том, что нозтика, часто ущемляемая в своих лингвистических правах¹⁷, в частности, в антиинтенционалистских теориях языка, никогда не может — так же, как и нозматика, — быть при рассмотрении языка опущена полностью. Нозтика вносит свою неотмысливаемую лепту и в смысл высказывания, и во все без исключения реальные языковые явления, всегда имеющие эксплицированную или латентную актовую сторону (номинация, референция, предикация, иллокуция, экспрессивность и т. д. — все это содержит и процессуальный аспект), вопреки тому, что многие из этих тем, в частности — имена, на первый взгляд кажется естественным рассматривать прежде всего сквозь нозматическую призму. Можно выдвигать и более сильное предположение: что собственно языковую (а не чисто феноменологическую) тематику в некоторых отношениях выгодней первоочередно рассматривать именно сквозь призму нозтики.

Что же до непрямого говорения, то по отношению к нему первоочередность нозтической призмы предпочтительней вдвойне; не исключено, что для него именно нозтика имеет доминирующее значение, если не полностью создавая, то на главных ролях участвуя в самом (остающемся в своем лингвистическом существе не до конца ясным) эффекте «непрямоты» смысла. Если в семантической (объективированно нозматической) ткани высказывания тот дополнительный смысловой эффект, который здесь назван «непрямым», непосредственно не может быть усмотрен, если он не выводим также и из контекста, из сферы общения, жанра, стиля, ситуации и т. д., то мы попытаемся отыскать его в нозтике.

§ 4. Нозтическая синтактика и интерсубъективная эгология. Общая идея феноменологии непрямого говорения. Из всего тематического многообразия нозтической области чистой феноменологии в феноменологии непрямого говорения выдвигаются на первый план два крупных содержательных блока со своими «наборами» частных подтем.

Первый блок можно условно назвать «*ноэтической синтактикой в зоне языка*». «Нозтическую синтактику» мы предлагаем понимать здесь в ассоциативном противополжении «синтаксису»: если синтаксис — это последовательное расположение и типы связи объективированно рассматриваемых семантических образований языка и закономерности их сочетаний (логические, грамматические и собственно синтаксические законы сочетаний), то синтактика — это последовательное расположение и типы связи частных языковых *актов* внутри целостного высказывания как последовательности актов (подробнее см. § «*Нозматический синтаксис и нозтическая синтактика в языке*»). Синтактика актов говорения будет поставлена здесь в принципиально неизоморфные соотношения и с языковым нозматически-семантическим синтаксисом, и с нозтической синтактикой «чистой феноменологии», т. е. с феноменологическими данными о сочленении актов сознания¹⁸. Это — зона разного рода сцеплений,

¹⁷ «Преимущественное внимание к нозме» можно объяснить в том числе и тем влиянием, «которое во второй половине XX в. приобрели аналитические, логико-лингвистические философские направления», проявлявшие преимущественный интерес не к актовым моментам, «а к моментам 'предметным', традиционно тесно увязываемым с языковыми выражениями, их смыслом, значением, с темой *meaning* (где значение, *Bedeutung*, и смысл, *Sinn*, если не сливаются, то тесно переплетаются)». — Мотрошилова Н. В. «Идеи 1» Эдмунда Гуссерля как введение в феноменологию. М., 2003. С. 425.

¹⁸ См. фиксацию аналогичной исходной точки у Мерло-Понти: речь должна идти не о системе форм значения, очевидно сочлененных друг с

наложений, расщеплений и т. п. частных языковых актов, условно взятых в изоляции от интерсубъективно-эгологических смещений инстанции говорения (точки исхождения смысла), т. е. от рассматриваемого здесь во вторую очередь тематического блока, который можно назвать «*трансформационная эгология в зоне языка*» или «*интерсубъективная эгология*». Под этой темой имеются в виду разного рода модификации, расщепления и трансформации, которым подвергается чистое Я в имманентном интерсубъективном пространстве высказывания, содержащем вместе с разными я-позициями и разного рода «он», «ты» и «мы» позиции (в качестве предварительного ориентира назовем некоторые из известных и относящихся сюда тем: инстанции наблюдения и говорения, расщепление Я-говорящего, фокализатор и нарратор, автор — его «смерть» и «маски», чистый, первичный и вторичный автор, двуголосие, ориентация и т. д.).

Разделение на эти блоки — вынужденный шаг в целях композиционно обособленного обсуждения этой сложно внутри себя дифференцированной проблемы: все без исключения частные темы из обоих блоков переплетены. Бубновый интерес здесь как раз в обратном — в совмещении этих блоков: не в самой по себе парадигматической номенклатуре возможных в говорении модифицированных форм Я-позиции и парных «он», «ты» и «мы» позиций, но — в погружении эгологии в синтактику и в увязывании синтактики с эгологией.

Общая идея представленных ниже фрагментов «феноменологии непрямого говорения» имеет три стороны. Первая — в том, что в каждом высказывании всегда наличествуют не один, а как минимум несколько актов (без количественных ограничений), и что связная последовательность этих частных языковых актов в высказывании представляет собой не изоморфное воспроизведение, а различные формы инсценировки последовательности соответствующих актов сознания (с опущениями, наращиваниями, переформатированием, наложениями и т. д. ноэтических и ноэматических элементов актов сознания), что и влияет на формирование не прямых форм смысла. Вторая сторона общей идеи — в том, что в каждом высказывании содержится также не один, а несколько разных по типу источников смысла или инстанций говорения, и что эти частные имманентные источники смысла в высказывании взаимно чередуются, сменяются, взаимоналагаются и вступают в коалиции со своими оппозиционными (по местоименной шкале) источниками смысла, создавая тем самым эффекты непрямого смысла, причем формы инсценированной комбинаторики частных инстанций говорения во многом аналогичны тем процессам опущения, сращения, наложения, наращивания и т. д., которые усматриваются в зоне ноэтической синтактики языковых актов при их сопоставлении с соответствующими актами неязыкового сознания. Третья сторона общей идеи, как понятно, в том, что не прямое говорение в его полном объеме образуется совмещениями процессов, происходящих в этих двух условно разъединенных при рассмотрении зонах.

§ 5. Феноменологический адрес и феноменологические особенности процесса говорения. Известно, что Гуссерль редуцировал говорение — как порождение (и понимание) реальных живых высказываний — из состава тем чистой феноменологии, но впоследствии говорение, как и многое другое, также редуцировавшееся Гуссерлем, вошло в состав «предметов», которые стали оцениваться — как это предполагается и нами — в качестве поддающихся феноменологическому усмотрению (при соответствующем, конечно, расширении и изменении самого концепта «феноменология», в частности — при полном или частичном отказе от редукции).

В расширенно понимаемом феноменологическом ракурсе говорение предстает как «языковой поток», а в качестве такового – как модификация, сплетенный слой или типологически независимая разновидность «потока актов сознания» (точнее с пониманием характера этого соотношения определимся позже). Соответственно, как и всякий поток сознания, говорение предстает и как последовательность частных актов, которые поддаются вычленению. Эти вычленяемые (примем название) *акты говорения*¹⁹ представляют собой отдельный, а по некоторым параметрам особый, тип среди многочисленных видов актов сознания. Содержательно осветить эту «особость» мы постараемся по мере развития темы (см., в частности, раздел «Фокус внимания»), пока же обратимся к внешним «выгодам» феноменологического ракурса.

Квалификация говорения как членимой на акты разновидности потока сознания дает основания для применения к нему (конечно, в специально приспособленной аранжировке) соответствующего категориального арсенала чистой феноменологии. Так, законченное языковое высказывание, т. е. не спонтанное, а организованное и целенаправленное языковое образование, предстает — аналогично организованному единством интенции феноменологическому «переживанию» — как совокупная цепь разнообразно сцепленных и последовательно взаимосвязанных, но дискретных «актов говорения». Как и все другие типы актов, акты говорения можно будет рассматривать как распадающиеся на свои специфические ноэматическую и ноэтическую стороны, при обсуждении которых мы будем пользоваться операциональными потенциями гуссерлевых понятий «ноэма» и «ноэса»²⁰. Становится применимым к процессу говорения как особой разновидности потока актов сознания и все то многообразие тем и новаций, которые разрабатывались Гуссерлем в сфере ноэтической синтактики различных по типу актов: их разного рода одноприродных и разноприродных сочленений,

¹⁹ Понимание природы речи как последовательности актов — идея, принятая не только в феноменологии; в некоторых направлениях лингвистики разрабатываются разные варианты *«теории речевых актов»*, в том числе и в той версии, что вся речевая деятельность, устная и письменная, представляет собой именно совокупность или последовательность речевых актов (А. Вежбицка и др.). Название *«акт говорения»* принято здесь, чтобы отграничить искомую «единицу» феноменологии говорения от устоявшихся лингвистических понятий (в частности, от речевых актов, от актов локуции, иллокуции, от актов коммуникации и т. д.) и вместе с тем терминологически единообразно «прошить» всю нашу тему. Расплывчатая невыразительность названия в данном случае на руку — она дает простор для постепенного заполнения понятия.

²⁰ Разумеется, понятие «ноэсы» (как и ноэмы) связано с когнитивными формами сознания, поток же сознания, в том числе и языковой, состоит и из других типов актов — актов удовольствия, актов оценки, актов воления и противоволения, неактуализированных актов и т. д. Для общего обозначения актовой стороны Гуссерль чаще всего применял не дифференцированное относительно типа акта словосочетание *«ноэтические моменты»* акта. Поскольку для нас искомое — специфика актов говорения, осторожнее было бы тоже говорить только об их ноэтических моментах. Однако мы будем пользоваться и термином «ноэса»: и потому, что сам Гуссерль говорил о ноэсах применительно к актам выражения (к выделявшейся им разновидности актов, связанных с языком), и потому, что все языковые акты в специфическом смысле рефлексивны (см. ниже), а значит, в некотором смысле и когнитивны, и, наконец, по причине смыслопорождающего эффекта при применении к языковым высказываниям оппозиции *ноэма/ноэса*.

наложений, перемен установки, интенциональных сцеплений и поворотов, аттенциональных сдвигов, ретенций, протенций и т. д.

Если же обратиться к отличительным особенностям последовательности актов говорения, то первый гипотетически утверждаемый и принципиальный момент состоит в том, что акты говорения могут, будучи непосредственно семантически сцеплены между собой, *неотъемно сопрягаться и с другими по типу актами сознания* (наслаиваться, приспособливаться к ним, приспособливать их к себе, сливаться с ними и т. д.), тем не менее не отождествляясь с ними, а оставаясь семантически взаимосвязанными и обособленными в этой взаимосвязанности. Признавать или не признавать сопряженность языковых актов с неязыковыми актами сознания — вопрос принципиальный для определения того, в каком направлении может развиваться феноменология говорения. Если вопрос о возможности *длящейся* взаимосвязи автономных *неязыковых* актов мышления (и, соответственно, внеязыкового смысла), которые существовали бы без языка или сопрягались бы с актами говорения, сопровождая их, но телеологически при этом с ними не сливаясь, кажется — во многом обоснованно — спорным (мы обратимся к этой теме в § «О природе поэтического смысла в связи с ФВ. Значимость непротяженности»), то сошлемся — для иллюстрации возможного не сливающегося, но и не отмысливаемого сопряжения с актами говорения — на акты чувственного восприятия, воспоминания, эмоции, возможность внеязыкового или безъязыкового протекания которых уже едва ли сомнительна. Эти акты очевидным образом могут сопровождать акты говорения и сопрягаться с ними без отождествления: при остенсии, напр., с актом языковой референции сплетено без отождествления неязыковое по природе чувственное восприятие. Отсюда можно вывести принципиальное для непрямого говорения обстоятельство: не все, что принадлежит к потоку актов сознания, связанных с говорением, наблюдаемо непосредственно лингвистически в собственно языковом составе речи, в ее семантике и синтаксисе. Высказывание всегда так или иначе сопровождается теми или иными лингвистически «невидимыми» дополнительными актами сознания неязыковой природы, которые (это тезис) способны влиять на его смысл, в том числе — непрямо.

Второй существенный момент — то, что сцепление актов говорения между собой и их сплетение с другими актами сознания может производиться как способами, аналогичными выявляемым в чистом сознании и/или чувственном созерцании (в частности, в языке тоже можно, как мы увидим впоследствии, говорить об аналогах гуссерлевых интенциональных сцеплений или аттенциональных сдвигов), так и дополнительными — специфически языковыми — «механизмами» сцепления, которые, конечно, и будут значимы для нас здесь прежде всего (в своем основном составе эти «механизмы» относятся к эгологической сфере).

Речь, зафиксируем еще раз, идет именно о *специфической* форме «потока» актов сознания: между сцепленной последовательностью актов говорения, сопровождаемых иными по типу актами сознания, и другого рода спонтанными и/или организованными потоками актов имеются как типологические сходства, связанные с их общей природой — как актов сознания, так и не менее существенные типологические различия, связанные с языковыми особенностями процесса говорения. Нельзя сразу сказать, всё ли из области сцеплений, описанное в чистой поэтике применительно к другим типам актов, существует в языковых выражениях (это другая тема, требующая отдельного рассмотрения), но можно сразу сказать как то, что язык конститутивен для некоторых из типов актов сознания (в частности, для акта придания смысла и для конституирования полного ядра ноем), так и то, что язык в своих целях, отличающихся от таковых в потоке сознания, значительно

модифицирует, вплоть до перераспределения и перерождения, многие из типов связи между актами другой природы и их ноэтически-ноэматическими структурами (он может их объективировать, опускать, наращивать, наслаивать, перераспределять последовательность и т. д.). Кроме того можно, кажется, сразу говорить и о том, что цепь актов говорения содержит то, чего нет ни в чистой ноэтической синтактике, ни в синтактике актов чувственного восприятия (напр., вовне направленной коммуникативности, изобразительности, игры звуковыми образами, игры речевыми масками и т.д.).

Сюда ли – к специфически языковой сфере сцепления актов говорения между собой и с другими по типу актами — относятся «непрямые» смысловые эффекты, или они присущи и другим актам сознания? Это поле трудных вопросов: возможна ли, напр., в чистом сознании, т. е. без языка или при его редукции до гуссерлевой формальной апофантики, ирония? Метафора? Двуголосие? Вообще — непрямые формы выражения смысла? С другой стороны — только ли такого рода эффекты являются «непрямыми» или нечто аналогичное есть и в других, воспринимаемых как «прямые», формах речи или актах означивания в чистом сознании? В каких вообще отношениях находятся между собой последовательность актов говорения и последовательность актов сознания, их «сопровождающих», разнообразно с ними сплетенных, к ним приспособляющихся или приспособляющих их к себе? Можно ли говорить здесь о каком-либо доминирующем типе соотношения между ними?

§ 6. Акты говорения на фоне гуссерлевых актов выражения и извещения: «вторжение ноэтики» и «потеснение» семантики. В общем смысле можно говорить, что Гуссерль выделял два основных типа языковых актов — акты *логического выражения* (внекоммуникативно понимаемые) и акты *извещения* (коммуникативные). По поводу первого типа актов Гуссерль высказывался подробно и целенаправленно, что же касается второго типа языковых актов, то, обозначив концептуальные границы актов извещения как актов коммуникативных, от их сущностной подробной дескрипции гуссерлева феноменология — как от того, что в чистой феноменологии подлежит редукции, — отстранилась. По мере продвижения некоторые частные уточняющие моменты этой гуссерлевой идеи будут еще упомянуты; общие же основания продолжающего вызывать неоднозначные оценки гуссерлева разведения двух типов языковых актов описаны в Экскурсе 2: *«Гуссерлевы акты выражения и акты извещения»*.

Понятно, что говорение вбирает в себя редуцируемую Гуссерлем коммуникативную сферу и что акты говорения и помимо коммуникативности содержат в себе нечто, чего нет в акцентированных Гуссерлем внекоммуникативных актах логического выражения. Ставя это «новое» в фокус своего внимания, «феноменология говорения» тем самым расходится с феноменологией Гуссерля по самому предмету. Поскольку это появляющееся «новое» входит в существо и актов говорения вообще, и актов непрямого говорения в особенности, сразу же обозначим то направление, в котором оно будет нами искаться и интерпретироваться.

Так, если в акцентированных Гуссерлем актах некоммуникативного логического выражения ноэтика — с точки зрения «смысла» — сначала отводилась на несущественные вторые роли (ЛИ), затем (в «Идеях 1») была повышена в статусе, почти приблизившись к ноэматике, то в феноменологии говорения ноэтика вторгается в смысл актов говорения полновесно — на равных правах с ноэматикой. Это «вторжение» не только влечет за собой (хотя и это тоже) волну субъективных коннотаций речи, но — и это яблоко раздора постгуссерлевых споров — самым существенным образом сказывается на понимании «объективного» смысла коммуникативных высказываний (он обволакивается неотмысливаемыми в живой

речи ноэтическими нюансами из сферы душевных и волевых актов, особой языковой модальностью, тональностью, аксиологией, сменами инстанций говорения и т. д.). Ниже для обозначения этих несубъективных ноэтических моментов будет введено понятие «*ноэтического смысла*» (в параллель к «*ноэматическому*») и будут описываться разнообразные «ноэтические компоненты смысла высказывания» и/или «ноэтические способы выражения смысла».

Вместе с тем, входя в редуцированную Гуссерлем коммуникативную сферу и включая в себя компоненты и смыслы, которых нет во внекоммуникативных логических актах выражения, акты говорения не отделены от последних непроницаемой стеной. Эта связь логических актов и актов говорения имеет среди прочих главную сторону — *семантическую* (а через нее и референциальную). Гуссерлевы логические акты — естественная среда семантики. Значит ли это, что для актов говорения семантические «схемы» логических актов — неотмысливаемые посредники, что это посредничество (в реальном пределе — управляющее доминирование) логического слоя непреодолимо для актов говорения? С развиваемой здесь точки зрения — нет. Понятно, что поскольку значения «применяются» и в коммуникативной речи, их эксплицируемая логикой идеальная значимость также участвует в образовании смысла коммуникативных высказываний. Но именно «участвует», хотя бывает и на ведущих ролях, а не формирует полностью, как в логической сфере. Логическое не покрывает всю сферу смысла актов говорения, в частности, его ноэтических компонентов²¹. Акты говорения могут «перепрыгивать» через логическую ступень и самолично выходить в своему «предмету» и «смыслу».

Дело не только в том, что *семантика «больше» логики, а логика — «строже» семантики* и что язык, используя означивающие потенции семантики, может обходить стороной логические схемы по нелогическим семантическим тропам. Дело и в том, что всю сферу смысла актов говорения не покрывает не только «логическое», но и в целом «семантическое». *Смысл говорения — больше семантики, а семантика вообще — меньше смысла*. Если акты означивающего выражения имеют своим предметом то, что с очевидностью усматривается в качестве идеального содержания семантики в гуссерлевом понимании, то предметом актов говорения может быть и то, что не семантизовано или даже в принципе не семантизуемо (напр., в тропях²², но не только). Акты говорения могут

²¹ Гуссерль, кажется (хотя обычно это интерпретируется иначе), полагал схожим образом. Да, Гуссерль говорил о примате логического — в сфере концептуализируемого (эксплицируемого и предцируемого) чистого внекоммуникативного смысла. В том же знаменитом 124 параграфе читаем: *„Выражение“ — форма примечательная; она позволяет приспособить себя ко всякому „смыслу“ (ноэматическому „ядру“), возвышая таковой до царства „логоса“, до царства понятийного, а тем самым „всеобщего“ (§ 124)*. С одной стороны: здесь жестко выраженный примат логического, с другой — это доминирующее положение признается именно для логического же — т. е. того, где есть «ноэматическое ядро», а не для всего смысла с его многообразными «обособлениями» и усложнениями: ведь как раз ограниченностью этого «царства всеобщего» Гуссерль будет объяснять причину принципиальной смысловой неполноты языковых выражений (см. раздел «*Элементы непрямого выражения у Гуссерля*»).

²² См. к понятию «несемантизуемого» смысла у П. Рикера: *«Метафорическая референция... состоит в том, что ослабление дескриптивной референции... при более пристальном рассмотрении оказывается негативным условием высвобождения возможности более полной референции к таким аспектам нашего бытия-в-мире, которые не могут быть выражены непосредственно. Косвенно, но вполне определенно, на*

«указывать» на этот несемантизуемый смысл «косвенно», «намеком», «непрямо», могут «показывать» его, «изображать», «порождать», «рассказывать», в том числе могут «изображать» и «показывать» сам язык (Бахтин) и т. д.

§ 7. Потенциальное значение гуссерлевых актов выражения для феноменологии непрямого говорения. Если, таким образом, оценивать акты говорения на фоне гуссерлева разведения двух типов языковых актов, то они подчеркнута совмещают в себе и «выражение», и «извещение», и — ряд других смысловых моментов. При этом выражение и извещение именно «совмещены» в говорении — в смысле взаимодиффузной интерференции, а не просто сведены в некое комплексное многокомпонентное целое как два изолированных типа актов.

Здесь будет развиваться понимание, согласно которому гуссерлевы акты «выражения» — конститутивный момент актов говорения и речи вообще. Безотносительно к тому или иному решению спора вокруг обоснованности/необоснованности самого гуссерлева разделения внекоммуникативного выражения и извещения (мы неоднократно будем обращаться к нему по ходу дела) толкование Гуссерлем их логической ветви или разновидности (экспликации, номинации, предикации) небезразлично для существа вопроса при любом понимании языковых актов. Хотя бы даже эти моменты и проявлялись в них как отсутствующие (такое «отсутствие» — значимо: оно становится содержательным компонентом толкования языка — как, напр., является им в соответствующих концепциях тезис о неуниверсальности предикативного акта) или как имеющие иную природу, как всегда сочлененные с другими, не выражающими в этом смысле или выражающими не в этом смысле, компонентами языковых актов.

Для феноменологии говорения гуссерлевы внекоммуникативные акты логического выражения значимы прежде всего проблемой своего *посредничества* между говорением и ноэтически-ноэматическими структурами и потоками сознания — и в не меньшей степени вопросом о возможности или невозможности избежать этого посредничества и о формах его возможного «избежания». Помимо посредничества, принимаемого или отвергаемого теми или иными типами актов говорения, гуссерлевы акты выражения существенны и *объяснительными потенциями*, содержащимися в их гуссерлевом толковании. Уже говорилось о предлагаемом здесь толковании актов говорения как обладающих на уровне смысла — в отличие от актов логического выражения — ‘ноэтическими’ в гуссерлевом понимании составляющими; забегая вперед, скажем, что ноэтически-ноэматическое толкование актов сознания и структуры логических актов выражения оказывается — даже в случае отказа тех или иных речевых конструкций от их посредничества — обладающим потенциальной операциональной силой: *многое в непрямом выражении смысла может быть если не понято, то как минимум описано в качестве того, что основано на различного рода переконфигурациях и комбинаторике нозм и нозс*. В том числе могут быть так тематически поняты или операционально описаны и различные формы подключения в речи «другого» (чужого голоса, точки зрения, интенции, тональности и т. д.), включая и тезис о языке как форме «дружести», имплантированной во всякое, включая редуцированное, сознание.

Ноэтически-ноэматическое толкование Гуссерлем внекоммуникативных актов логического выражения особо значимо для феномена непрямого говорения благодаря тому известному обстоятельству, что в нем в эллиптическом виде

эти аспекты можно указать при помощи нового соответствия, которое в смысловом плане возводится метафорическим высказыванием на руинах буквального смысла, упраздненного своей собственной неуместностью» (Рикер П. Время и рассказ. Т. 1. М.-СПб., 2000. С. 98).

содержится идея *принципиальной непрямоты всех языковых актов как таковых*. Хотя аксиологический знак при оценке этой принципиальной непрямоты языка и будет смещен нами (с того, что по возможности должно преодолевать, на то, что составляет силу языка для выражения всей полноты смысла актов говорения), в основу развиваемой здесь точки зрения на не прямое говорение (как и в основу лосевской концепции «эйдетического языка») положен именно гуссерлианский концептуальный стимул. Гуссерлева идея непрямоты языковых выражений существенна тем, что она распространялась в том числе и на те логические акты выражения, которые самим Гуссерлем толковались сначала как «объективные высказывания», а затем как тип высказываний, фундирующих остальные типы. «Непрямота» имплантировалась Гуссерлем в язык как таковой.

Эта сторона гуссерлевой феноменологии вызвала серию различных интерпретаций: наряду с ее принятием (в том числе в символических версиях языка, о которых мы уже говорили в предыдущих статьях — в ивановской, лосевской и бахтинской), она стала объектом разнообразной критики, в которой можно выделить одну особенно значимо звучащую для нас струну. Гуссерлева идея непрямоты языковых выражений критикуется как отражающая вместе с силой и все слабости «трансцендентальной философии» — в той мере и в тех пунктах, в каких гуссерлева феноменология признает себя «трансцендентальной» в близком к кантианскому смысле. Трансцендентализм, согласно этой точке зрения, по самим своим постулатам, в частности — о статусе гносеологического субъекта, не может не быть метафорическим (и метафизическим) и потому не способен реально приблизиться к трансцендентности (референции), особенно — к истории (одна из глав уже упоминавшейся книги Ф. Р. Анкерсмита²³ так и названа: «Трансцендентализм: и взлет и падение метафоры»). Шаткость языковой теории Гуссерля сказалась, согласно ее оппонентам, на бессилии ее собственного языка: Э. Финк в докладе об «операциональных понятиях в феноменологии Гуссерля», прочитанном на Гуссерлевском коллоквиуме в Руайомоне в 1957 г.²⁴, объяснил «неопределенность» многих, включая основные, феноменологических понятий — таких, как ‘феномен’, ‘конституирование’, ‘эпохэ’, их преимущественно *операциональным*, а не собственно *тематическим* употреблением. В тематических понятиях, по Финку, фиксируется то, *о чем* говорится, операциональные же понятия носят исключительно служебный, посредующий характер и лишены функции какого-либо предметного фиксирования. Преобладание операциональности над тематизмом (неразработанность специального тематического языка для трансцендентальной сферы) – ахиллесова пята гуссерлевой феноменологии: вместо разговора о предметах разговор об их «теньях» или «среде видения, которую мы не видим, потому что видим благодаря ей». По мнению Ж. Деррида (ссылавшегося в том числе на Э. Финка — см. там же), феноменология питается метафорами даже при создании своих базовых категорий — и потому обманывается языком как раз там, где думает, что его преодолела в пользу мифического «чистого смысла»: не чистый смысл фундирует у Гуссерля язык, а языковое бессознательное — чистый смысл.

Здесь, напротив, будет развиваться идея, что предложенная Гуссерлем терминологическая система операционально сильна настолько, что способна тематизировать — помимо непосредственного своего предметного поля — и чуждое самой чистой феноменологии содержание (собственно говоря, и критика

²³ Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2003.

²⁴ Подробнее о позиции Финка см. в наст. изд. статью «Эйдетический язык», § 38. «Эйдетический язык Лосева и трансцендентальный язык Э. Финка».

гуссерлевых понятий за нетематичность тоже в том числе опирается как на свою единственную «тему» только на сами «операциональные» гуссерлевы понятия).

Прежде чем непосредственно обратиться к «феноменологии говорения», воспроизведем — в нашей интерпретации — те аспекты гуссерлевых внекоммуникативно рассматриваемых языковых актов, которые могут быть отнесены к идее принципиальной непрямоты языка.

1.2. ЭЛЕМЕНТЫ НЕПРЯМОГО ВЫРАЖЕНИЯ У ГУССЕРЛЯ

§ 8. Ноэматически-ноэтическая двусмысленность языка. Одна из главных гуссерлевых «идей к чистой феноменологии» состояла, как уже говорилось, в утверждении одновременно сущностной взаимосвязи и необходимости эксплицированного разведения ноэматической и ноэтической сторон каждого без исключения акта. По отношению к языку этот тезис в принципе остается тем же, но обрастает дополнительными обстоятельствами, связанными со спецификой языка. Речь тоже всегда пронизана, по мысли Гуссерля, «параллелизмом ноэс и ноэм», т. е. преимущественно неотрефлексированным органическим смешением ноэтической и ноэматической сторон, в частности — имманентной семантической двусторонностью, которую равным образом трудно распознать и расчленивать. Именно по причине этой всегда пронизывающей речь и не всегда извлекаемой из глубины ноэтически-ноэматической двусторонности и параллелизма во многих местах «Идей 1» говорится о *сущностной двусмысленности* языка, опасной — если ее не замечать, удобной — если осознанно ею пользоваться²⁵.

Сращенность ноэтической и ноэматической сторон языка — природна и органична для его жизни, она характерна для всех языковых единиц и явлений, будь эти сращения на поверхности или скрыты, осознаны или нет. Их различение в языке — задача столь же непростая, как и аналогичное различение в чистом мышлении. В семантике (составлявшей преимущественный интерес Гуссерля в связи с акцентированием актов логического выражения) такое различение сталкивается с разного рода сложностями, напр., со схожими с теми, какие описывались Гуссерлем для психологии. В сфере абстрактной языковой семантики лексические значения (как «представление» в психологическом или «понятие» в логическом смысле) могут имплантировать в себя обе стороны, или — смотреть в обе стороны. Так, лексема «восприятие» означает и акт (ноэсу), и воспринятое (ноэму), лексема «суждение» означает и акт суждения, и само вынесенное суждение как ноэму, аналогично — оценка, верование, предположение, сомнение, желание, представление и т. д. (см. § 124).

Гуссерль и здесь оказался в некотором смысле «пионером», во всяком случае активная фаза понимания и интереса к этой стороне семантики языка в собственно лингвистике наступила позже. К сжато гуссерлевому тезису можно теперь присовокуплять многочисленные добытые лингвистикой данные: лексема, говорят лексикологи и семантики, часто содержит в себе помимо смысла, номинирующего «референт», также и информацию о самом акте номинации (т. е. о ноэсе), в частности — об особенностях позиции говорящего. Такое наличие в лексической

²⁵ «Всеобщая, неизбежная двусмысленность речей, обусловленная таким параллелизмом <параллелизмом ноэсиса и ноэмы> и проявляющая свою действительность всюду, где обсуждаются соответствующие отношения, — она, естественно, сказывается и в речах о выражении и значении. Эта двусмысленность опасна лишь до тех пор, пока она не познана как таковая и, соответственно, не разграничены параллельные структуры. Но если это уже произошло, то следует лишь позаботиться о том, чтобы во всех конкретных случаях оставалось несомненным, с которой из двух структур сопрягается речь.» (§ 124).

семантике (как минимум — в ее части) наряду с ноэматическими и *ноэтических* компонентов называется в лингвистической литературе о семантической структуре лексем «*информацией о наблюдателе*» (описание некоторых элементов акта восприятия), «*модальной рамкой*» (оценка описываемого говорящим и предполагаемое отношение к нему со стороны адресата)²⁶ и др. Сюда относимы не только слова непосредственно хронотопического ряда — «уже», «еще», «перед», «выше» (у Гуссерля есть анализ примера «липа перед воротами»), но и самоценные, никак, напр., не связанные с глагольной сферой, существительные. Таковы, в частности, «фронтальные существительные» (термин Филлмора — см. там же): так, «кресло», в отличие от «табурета», предполагает, по современной лексикологической оценке, такую позицию наблюдателя, по отношению к которой означенный предмет развернут к нему своей «фронтальной» стороной (кстати говоря, в «Идеях 1» номинально, без развития, есть и идея фронтальности — § 130). Сложность в том, что сами такого рода лексемы эксплицитно не демонстрируют эту ноэматически-ноэтическую развилку внутри своей семантики, не разводят ноэсу и ноэму, а скорее всего — не могут их развести только своими силами.

Понятно, что в контексте феноменологии говорения смущающая логику и теории референции ноэматически-ноэтическая двусмысленность языка, «навязывающая метафоричность», оборачивается богатым резервуаром форм непрямого говорения. Говоря в бахтинских терминах, язык всегда — гибридное ноэтически-ноэматическое образование — темное или осознанное. Если в целях гуссерлевой чистой феноменологии — полностью развести, где это возможно, ноэтически-ноэматические сращения ради уклонения от двусмысленности и разного рода эквивокаций в логической речи, то в целях феноменологии непрямого говорения — показ форм трансформации органических («темных», т. е. неразличаемо смешанных) языковых гибридов ноэм и ноэс в осознанно-отрефлектированные ноэтически-ноэматические формы гибридности, посредством которых в том числе и реализуется способность языка выразить не прямые смыслы.

В обычных случаях Гуссерль видел выход из «темной» ноэтически-ноэматической гибридности языка в корректно применяемой образности, понимаемой им в смысле дистанцирования выражаемого смысла от семантики языка; в значимых же случаях, не разрешаемых легким метафорическим касанием языка, и прежде всего в специально интересовавших Гуссерля актах логического выражения — в отчетливой экспликации того, с какой из сторон (ноэматической или ноэтической) сопряжена в каждом конкретном означивании речь. Помощник гибридно «двусмысленной» семантике в данном отношении — предложения. Хотя они также этого чаще всего не делают (в том числе в целях непрямого говорения), только предложения в принципе способны на полное разведение ноэм и ноэс при — подчеркнем — неустранимости, неотмысливаемости их сущностного единства в каждом предложении как языковом акте. Предложение обладает такой разводящей способностью потому, что само оно есть, по Гуссерлю, их коррелятивно сложенное единство: «предложение суждения», т. е. по существу акт субъект-предикатной связи, определялось Гуссерлем как *единство ноэмы и ноэсы* (единство «материала» акта и «формы» акта).

§ 9. Стяжения и их разворачивание. Для требующей точности сферы формальной апофантики и логических актов выражения Гуссерль предлагал во избежание пронизывающей речь гибридности ноэм и ноэс способ их прямого семантического различения и последующего разведения по разным синтаксическим позициям. Так, в предложении *X должен быть Y* следует развернуть его ноэтическую составляющую и понимать, говорит Гуссерль, как сокращение от

²⁶ См. Апресян Ю. Д. Избранные труды. Том II. М., 1995. С.41, 48 и др.

Должно быть так, чтобы X был Y (современное перефразирование включает в себя этот прием). Такое «разворачивание» стяженных предложений Гуссерль толкует в том смысле, что полученный в результате «новый» дополнительный предикат – это обособление и автономная семантизация не семантизированной в исходном предложении *модальности* акта (в его примере семантизуется утверждаемое долженствование: ‘должно быть так’). Вместо двух элементов (обычно понимаемый предикативный двучлен) разворачивающее стяженные формы предложение содержит три (предикативный двучлен *X быть Y* плюс эксплицированная модальность ноэсы *Должно быть так*), т. е. два предикативных акта, отчетливых в развернутом предложении, выражены в исходном гибридно-стяженном через один. Если выйти из рамок гуссерлевой формальной апофантики в интересующую нас сферу реального говорения, то за ‘*Карфаген должен быть разрушен*’ надо, поскольку ‘Карфаген’ ничего не может быть ‘должен’, усматривать ‘*Это должно быть так, чтобы Карфаген был разрушен*’, и далее (если продолжить разворачивание в редуцируемом Гуссерлем коммуникативном режиме): ‘*Вы (мы) должны сделать это (так) — чтобы Карфаген был разрушен*’. За стяженным коммуникативным вариантом ‘*Вы (мы) должны разрушить Карфаген*’ также стоит ‘*Вы (мы) должны сделать это (так) — чтобы Карфаген был разрушен*’.

Для актов говорения и для языка вообще такого рода *стяжения* — органичная эллиптическая форма. Обычно стяжения адекватно понимаются и без развертывания их двойственной ноэтически-ноэматической природы, но преимущественная неотрафлексированность этого «скачка понимания» не может не приводить и к сбоям восприятия (мы еще вернемся к этой форме). Если поэтому логиками способность языка стягивать акты сознания оценивается чаще всего негативно, то для говорения это же органичное тяготение языка к сокращению состава связанных с ними актов сознания оборачивается возможностью выразить непрямой смысл — т. е. смысл, *выходящий за семантические рамки* и пределы конкретных стяженных ноэм и ноэс в смысловое пространство, окружающее их в общем потоке актов сознания. Да и сам «стяженный» смысл нередко выражается, как мы увидим впоследствии, в сокращенной форме точнее и полнее, чем в развернутой (через емко скомпонованное меньшее язык передает больше, чем через изоморфно-вялое следование за мыслью — да и возможно ли вообще последнее?).

Стяжение актов составляет резерв непрямого говорения и потому, что оно оставляет вероятностным — или скрытым — ролевое распределение (принадлежность) точки исхождения модальности и описываемого ‘предмета’, вводя модальность акта внутрь описываемого, внутрь предикативно выстроенного выражения ноэматического состава (*X должно быть Y*). Не случайно именно этот аспект гуссерлевой феноменологии воспринимался адептом непрямого и неименующего говорения Вяч. Ивановым, крайне редко ссылавшимся на собственно философские штудии, как органично символический тезис (для понимания символических энергий языка, говорил он, значимы «*учения новейших гносеологов о скрытом присутствии в каждом логическом суждении, кроме подлежащего и сказуемого, еще третьего, нормативного элемента, некоего ‘да’, или ‘так да будет’*» — Иванов. 11, 593-594).

§ 10. Вопрос об универсальности модального компонента. Имеют ли приводившиеся на раскрутку стяжений примеры общезыковой характер? Всегда ли такой способ возможен или — в другом ракурсе — существуют ли непреодолимые для перефразирования границы ноэтически-ноэматической сращенности языка?

Сам Гуссерль понимал приведенный им способ разведения изначально стяженных ноэм и ноэс как применимый для понятийно-языкового развертывания только *модализированных* типов актов. Существуют ли немодализированные акты? Если да, если немодализированность актов сознания в каком-либо смысле

возможна, то в чем особенности ее языкового выражения по сравнению с модализированными актами? Это острый вопрос феноменологии языка и лингвистики, не имеющий не только однозначного решения, но даже однозначного толкования смысла самого вопроса (возможны ли и как возможны безоценочные высказывания, возможны ли и как возможны 'объективные' высказывания — объективные 'истинностные' референции и предикации, возможно ли вообще выражение только нозматического состава без нозтики и т. д.).

Гуссерль рассматривал эту тематику применительно к типике актов чистого сознания, в которую включал свои некоммуникативные логические акты выражения. Для этих актов и этой сферы сознания Гуссерль считал возможным признавать *немодализированные* акты. Хотя для актов говорения в живой коммуникативной речи такая возможность, по всей видимости, Гуссерлем отрицалась (это становится ясным из самого понимания немодализированных актов чистого сознания — см. ниже), феномен немодализированного языкового выражения, если он действительно возможен, имеет принципиальное значение и для понимания актов говорения. Ведь полигон этой гипотетической немодализированности — семантика, а она неустранимо значима для коммуникативных языковых процессов любого строения, любой телеологии, любой манеры указания на смысл и любого способа его передачи, включая не прямые (для тех же, в частности, тропов: ведь метафорический смысл передается через семантическую фигуру). Широко понимаемая семантика (т. е. не только как смысловая материя логических суждений) всегда стоит между языковыми высказываниями и связанными с ними актами сознания, будь это выражение логических суждений, прямая остенсия или не прямое иносказание (нельзя понять смысл иносказания без посредства иносказующей семантики, небуквальный смысл метафоры — без буквальной семантики).

Логика, говорили мы выше, минуема, семантика нет: она стоит прозрачным или непрозрачным, прямым или косвенным, необходимым или обходимым посредником между высказыванием и смыслом или служит «материальным носителем» последнего в случаях передачи чисто интонационного смысла (см. § 35). Корни семантики сплетены с чистой феноменологией, и теснее всего именно в зоне, охватываемой гуссерлевыми логическими актами некоммуникативного выражения, причем главная семантическая тайна содержится в «простом» акте первичного — с непосредственным усмотрением — означивания сознанием чего-либо как «бумаги», как «белого», как «тела», как «протяженного» или как «белой бумаги» и как «все тела протяженны». Именно в эту сторону развивалась гуссерлева теория значений от ЛИ к «Идеям 1», и именно такие — первичные с непосредственным усмотрением — означивания и оценивались Гуссерлем как *немодализированные* акты.

Но как же тогда мыслилось самим Гуссерлем выражение языком признаваемых им немодализированных актов сознания: таким же ли образом, как в случае модализированных, т. е. со стяжением, или иначе? И так же ли есть в выражении немодализированных актов не прямые смысловые элементы? Понятно, что в немодализированных актах, исходя из самого их определения, не может быть стяжений по типу «X должен быть Y», так как в них нет модальности. Значит ли это, что здесь должно мыслить «прямое», нозтически-нозматически недвусмысленное, выражение? Такое, как надо ожидать, выражение, которое будет иметь только нозматическую природу, что и обеспечит отсутствие двусмысленности? В ЛИ вопрос так примерно Гуссерлем и решался, но в «Идеях 1» возможность сугубо нозматических выражений ставится под серьезное сомнение, во всяком случае — обставляется существенными уточнениями и оговорками (которые в том числе и вызвали разочарование у почитателей ЛИ как некоторая уступка Гуссерля релятивизму).

Для нового усложненного толкования этой темы Гуссерль по-своему развернул в «Идеях 1» известную идею концептуального сворачивания в «одно» семантики как номинации и семантики как предикации. При поворачивании вопроса в предикативную сторону он примет такой вид: какой статус — *модальный или нет*, только *ноэматический* или *стяженный ноэтически-ноэматический* — у того фрагмента из приводившегося выше гуссерлева примера, который является предикативным актом в обычном лингвистическом понимании ('X есть Y') и который обособляется от временной составляющей и модального предиката должествования, выносимого при развертке в самостоятельный дополнительный компонент? Понятно, что выражение '*все тела должны быть протяженными*' модализованное, но модализованны ли выражения '*все тела протяженны*' и «*это — тело*»?

§ 11. Принцип «лестницы модификаций». Гуссерлевы версии решения вопроса о модальности соответствуют общей регулятивной идее всего гуссерлева подхода к языку — идее многоступенчатой «лестницы модификаций»²⁷. Мы уже видели (в *Экскурсе 2*), как эта идея «работает» у Гуссерля при разведении внекоммуникативных актов выражения и актов извещения: эти типы актов оценивались Гуссерлем как модификационные ступени единого по природе, но качественно дифференцированного по сфере применения процесса языкового *выражения*. При этом «гласящие» слова, т. е. обычный предмет лингвистики, понимались Гуссерлем не только как не все выражение, но и как не выражение в собственном независимом смысле: коммуникативно-гласящие выражения могут считаться выражением, говорит Гуссерль, исключительно на том основании, что они выражают то, что само уже есть выражение (используемая в развернутой и коммуникативно ориентированной речи семантика сама уже есть выражение ноэтически-ноэматических структур сознания). Гуссерлем утверждался, таким образом, постулат о *двухступенчатости* выражения вообще и тем самым — о второстепенчатости, о «наследническом» характере всякого коммуникативного выражения и о посредничающем статусе семантического и логического. Коммуникативная речь — это всегда «*выражение выражения*»: коммуникативность налагается на логическое выражение (не обязательно на суждение, но — на номинацию).

Однако означенные две ступени («выражение выражения») — это для феноменологии говорения как минимум. Она может мыслить дальнейшее продвижение к тройственности (а возможно, и далее — к многоступенчатой «лестнице»): к «*выражению выражения выражения*», причем это увеличение количества ступеней лестницы модификаций возможно в ее обе стороны. При развертывании лестницы Гуссерля в сторону чувственной речи такую тройственность иллюстрировать легко: в языковых выражениях в их обычном понимании косвенная, напр., речь — это выражение чужого выражения, которое само есть, согласно описанному гуссерлеву постулату, выражение логического акта выражения. В эту — условно «бахтинскую» — сторону Гуссерль в «Идеях 1» не шел, он двигался здесь в противоположном («лосевском») направлении, развертывая лестницу модификаций к вскрытию того — третьего — пласта «*смысла и предложения*», который локализован «прежде» или «вне» логики — внутри самих и всех без исключения нозм, т. е. между логическим выражением и «самой вещью». В отличие от нозматизма ЛИ эта третья ступень из «Идей 1» самим фактом включения понятия предложение «берет» семантику иначе — уже не чисто нозматически, а с добавлением элементов ноэтики, или в ее, как обозначила бы

²⁷ Общее понятие об этом принципе см. в наст. изд. в статье о Лосеве «*Эйдетический язык*» .

лингвистика, процессуально-синтаксическом («предложенческом»), а не статично-понятийном и номинирующем («лексическом») аспекте. Причем содержательность статусно трансформируется здесь от «семантики» до «смысла» (того, что не просто означает, как значения, а осмысляет, придает смысл). «Ведь необходимо, — говорит Гуссерль, — постоянно иметь в виду, что понятия ‘смысл’ и ‘предложение’ не содержат для нас ничего от выражения и понятийного значения, зато обнимают собою все выраженные предложения и, соответственно, значения предложений. Согласно нашим анализам эти понятия обозначают абстрактный слой, принадлежащий к полной ткани всех нозм. Весьма перспективно для нашего познания, если бы удалось обрести этот слой в его полноохватной всеобщности...» (§ 133). Нельзя не увидеть, или во всяком случае не предположить, что здесь содержание в ипостаси смысла сдвигается этим гуссерлевым абстрактным пластом «смысла и предложения» не только ближе к нозсам, но и на позицию «*выше*» или — еще интереснее — «*сбоку*» от логики. Именно в этой зоне — «прежде» или «сбоку» от логики — и локализована гуссерлева версия решения проблемы модальности.

§ 12. Ступени гуссерлевой модальности. Прадокса и нозматическое предложение. И в теории модальности основная идея Гуссерля в том, чтобы понять модализированность актов *в градации* — и затем расположить немодализированные акты, вызывающие концептуальные затруднения в своем толковании, на минимально представимой ступени такой градационной лестницы модальности.

Нас, конечно, интересует проекция этой идеи на язык. Все языковые акты относились Гуссерлем к ‘доксическим’ (доксотетическим) актам, т. е. к актам, в которых эксплицитно или скрыто наличествует та или иная разновидность или та или иная степень веры (доксы), фактически — та или иная разновидность нозсы (что как раз и исключает возможность сугубо нозматических высказываний). «Доксически-нозетическое» простирается, начиная от эксплицитной модальности актов вроде сомнения, вопроса, пожелания, радости и пр., вплоть до — момент модального предела у Гуссерля — *немодализированной прадоксы*. Нельзя не заметить, что немодализированная прадокса — амбивалентное или антиномичное понятие: утверждая, что докса есть то, что модально, Гуссерль утверждает, что есть нечто немодальное, что тем не менее тоже докса и даже — лоно всего доксического. В немодализированной прадоксе вера — каковая ведь по определению всегда есть модальность — выступает, говорит Гуссерль, в ее особой модификации «уверенности», т. е. как несомненная самоданная очевидность усматриваемого феномена, как его почерпаемость сознанием из ‘самого дающего первоисточника’ (из непосредственной точки встречи акта с «самой вещью»), будь то чувственное восприятие или интеллектуальная интуиция.

Вокруг этой гуссерлевой идеи строилось много истолкований, включая отождествление прадоксы с «самой сущностью», с трансцендентным и т. д. Но такие истолкования продолжают, по-видимому, смотреть на ситуацию только *нозматическими* глазами — как, с некоторой натяжкой, в ЛИ, вместо бинокулярного нозетически-нозматического зрения, настраиваемого в «Идеях I». Прадокса — вид именно доксы, т. е. нозсы, а не нозмы, и как таковая она вводилась Гуссерлем в качестве *нозетического*, а не нозматического феномена: все „характеристики доксы“, или „верования“, прежде всего — модальности, коррелятивно сопряженные с модусами бытия предметностей, остаются, говорит Гуссерль, нозетическими характеристиками (§ 103). Оставаясь же нозетической характеристикой — модальным качеством акта, направленного на предмет, а не качеством предмета как такового, характеристикой нозсы, а не ‘самой вещи’ — прадокса как нозса самоданной очевидности «коррелятивна» *особому* модусу бытия своих «предметов». Она придает своим нозмам и стоящим за ними «объектам» статус того (наделяет их смыслом того...), что «действительно есть», в конечном

счете — статусом и смыслом «действительности». См. у Гуссерля: «...это в наглядных представлениях, например, реально заключающееся в нормальном восприятии как 'примечании чего-либо' верование в восприятие, а, конкретнее, скажем, уверенность в восприятии; последней, как ноэватический коррелят в самом являющемся „объекте“, соответствует характеристика бытия — „действительно" (§103).

Получается, что Гуссерль действительно вводит тем самым ноэватическую инъекцию в ранее по преимуществу ноэватически понимаемую им сферу. Получается, что само слово 'действительность', в том числе и в составе до расплывчатости перенагруженного словосочетания 'объективная действительность' как чего-то трансцендентного или уверенно «ноэватического», вплоть до эйдетического, на деле представляет собой хотя на первый взгляд неочевидный, но выразительный пример органичного ноэватически-ноэватического языкового гибрида. Смотрясь как чисто ноэватическое (как означающее исключительно «то, что есть», причем есть в действительности, а не «то, как 'это' воспринимается»), понятие «действительность» тем не менее удерживается в своем смысле и целостности только наличием внутреннего ноэватического стержня, без которого теряет смысл и рассыпается. Слово «действительность» не имеет исключительного отношения к ноэмам и предметам, оно означает (или восходит к) модальность ноэсы 'действительно есть' ('дано из самого первоисточника'), т. е. выражает не только ноэватический состав, но и ноэватический параметр — особую модальную характеристику соответствующего акта восприятия из самого первоисточника. Подразумевание за чем-либо статуса «действительности» (придание этого статуса, утверждение его и т. д.) означает не качество «самых» предметов, безотносительное к актам сознания, а то, что эти ноэватические предметы прадоксически (в модусе «уверенности», данности из первоисточника) «действительно есть» — с точки зрения таких-то и таких-то их «дающих» актов.

По аналогии с гуссерлевой прадоксой можно говорить, что «действительно есть» — это *прамодальность*. То, что мы безо всякой рефлексии мыслим объективной действительностью, существующим (вот этот стул, вот это небо и т. д.), держится только актом прамодальной прадоксы. То же — но с переменной индекса — относимо и к интуитивным сущностям (эйдосам, универсалиям), вроде '2' или 'круг' — они также «даны» сознанию в актах прамодальной прадоксы. И потому не могут окончательно «отрываться» от сознания и мыслиться некими существующими сами по себе «сущностями» или вне сознания существующими «идеями». Разумеется, между прамодальностью прадоксы 'действительно есть' и полновесными модальностями вроде сомнения, желания, утверждения, вопроса и т. д., имеется принципиальное отличие, тем не менее прамодальность — это именно модальность, это характеристика ноэсы, а не ноэмы. Гуссерлева градационная лестница модальностей зачинаема именно этой прамодальной ступенью «действительного»; прадоксические акты (ноэсы) придают своим 'предметам' (ноэмам) прамодальный статус того, что «действительно есть». Вне прадоксических актов ничего «действительного» не существует. Вне ноэтики — проинтерпретируем в свою сторону — не существует действительного смысла.

Во всем этом остается, конечно, много лакун и спорных моментов — с точки зрения соотношения чистой гуссерлевой феноменологии с феноменологией говорения. Продолжение обсуждения остающихся неясными в применении к языку вопросов см. в разделе 2. 4. «Интерпретация гуссерлевых идей о модальности с точки зрения концепта «ноэватический смысл» (там обсуждаются темы о «ноэватическом предложении», о модальной версии предикативного акта, о соотношении модальности, нейтрального сознания и языка, об «особости» ноэватически-ноэватического строения ноэватических предложений и о

принципиальной опосредованности референции, связанной с природой языка). Здесь же перейдем к тем интересующим нас в первую очередь темам феноменологии Гуссерля, которые свидетельствуют о наличии в ней элементов теории непрямого языкового выражения.

§ 13. Полные и неполные выражения. Опускание. Выше говорилось об органичном свойстве языка — *стяжении* ноэтических и ноэматических сторон смысла и о способе их синтаксического растягивания. Вторым значимым моментом в гуссерлевом толковании органического обращения языка с ноэтическими и ноэматическими компонентами можно считать различие полных и неполных выражений и связанный с этим прием «*опущения*» какого-либо из этих компонентов.

Все виды выражений принадлежат, по Гуссерлю, к синтетическим актам. В том числе синтетично и само ноэматическое предложение — оно дву-актно: содержит экспликацию существования («*Это есть...*») и предикацию именем («*...белое*»). Все наследующие ноэматическим предложениям языковые выражения синтетичны многоактно: к прадоксе и/или ноэматическому предложению в них всегда подверстаны вторичные, третичные и т. д. ноэсы (или предикаты), делающие пра-предложение-имя «нормальным» лингвистическим предложением. Вот эти — условно — «нормальные» лингвистические предложения и могут быть, с точки зрения Гуссерля, *полными* или *неполными*. Степень полноты выражения определялась при этом как степень покрытия выражаемого выражающим, как полная или неполная простертость второго над первым («*верхний слой не обязан простираться над всем нижним, выражая его*»). Под выражаемым слоем понимается целокупный состав всех — и ноэматических, и ноэтических — моментов переживания в их корреляции.

И опять мы видим, что речь уже не идет исключительно о ноэматике. Полная «простертость», по Гуссерлю, осуществляется не тогда, когда полностью семантически выражен один только ноэматический состав акта, этого недостаточно, но — тогда, когда выражены, притом «понятийно», т. е. в значениях (непосредственно семантически), обе стороны акта: и его ноэматическая сторона («материя» акта, по Гуссерлю), и его ноэтическая сторона («форма» акта), т. е. его ноэма и коррелятивная ему ноэса: «*Выражение полно по своему составу, если оставляет все синтетические формы и материи нижнего слоя понятийно и по мере значения; оно не полно, если достигает этого лишь частично – вроде того, как мы, наблюдая комплексный процесс, – например, в ворота въезжает карета с давно уже ожидавшимися гостями, – восклицаем: Карета! Гости!*» (§ 126. «Полнота состава и всеобщность выражения»).

И из приведенного Гуссерлем примера, хотя он сугубо иллюстративен и не покрывает все разновидности неполноты, тем не менее можно вывести, что неполное выражение может «опускать» из выражаемого слоя либо фрагменты ноэматического состава («ворота»), либо фрагменты ноэтического состава (в частности, могут опускаться конкретные тетические характеристики совокупного акта — напр., акт восприятия, или те или иные нюансы его модальности: она намечена в примере восклицанием, но не передана полностью в своей ноэтической значимости и тетических характеристиках — здесь нет моментов «давно ожидалось», «наконец-то» и т. д.), либо и то и другое одновременно. Мы увидим далее, что Гуссерль и здесь нашупал значимый нерв языковых высказываний: действительно, существуют многочисленные разновидности такого рода «опущений» компонентов переживания, чаще — ноэтических, и, действительно, эти опущения непосредственно могут соучаствовать в создании эффекта «непрямого говорения».

§ 14. Принципиальная неполнота языковых выражений. Идея Гуссерля о неполноте языковых выражений развивается по нарастающей. Описанный выше неполный состав — только частный и в определенном смысле вторичный вид неполноты выражения. Неполнота, говорит в этом же параграфе Гуссерль, присуща сущности выражения как такового, даже если выражение полно по составу: *«Совершенно иная неполнота — это, в отличие от только что обсуждавшейся, неполнота, неотделимая от сущности выражения как такового»*. Эта сущностная неполнота предопределена *«всеобщностью»* выражающей (добавим: описывающей, рассказывающей, изображающей) субстанции, т. е. всеобщностью значений (семантики как таковой, языка как такового). *«К сущности выражения принадлежит всеобщность, и в смысле таковой заложено то, что в выражении никогда не могут рефлексироваться все обособления выражаемого»*. Кажется бы, простая вещь — всеобщность значений — понята в «Идеях 1» по выводимым из нее последствиям как причина «цветущей сложности» языкового смысла.

Гуссерль и здесь краток, обходясь фактически лишь констатациями, без развернутых пояснений, рассчитывая на аллюзии читателя к другим местам «Идей 1». Примеры, которые приводятся на неполноту выражения, связанную со всеобщностью значений, построены на выпукло отчетливых и опять модальных значениях (*«'Пусть' выражает — в общем виде — пожелание, форма приказа — приказ, 'может быть' — предположение и, соответственно, предполагаемое как таковое и т. п.»*), т. е. (интерпретируем) *'пусть'* — это выражение пожелания, общее для всех случаев и не специфицирующее каждый их них в частности, хотя понятно, что каждый частный случай обладает специфическими смысловыми, эмоциональными, кругозорными, фоновыми и т. д. обособлениями. Не преодолевается всеобщность и тогда, продолжает Гуссерль, когда конкретные обособления каждого такого пожелания приводятся в понятийной форме (надо понимать, по типу: *'пусть то-то и то-то, так-то и так-то определенное, в таких-то и таких-то обстоятельствах, будет тем-то и тем-то'*): все эти обособления также в свою очередь не могут не быть выражены вновь через семантически всеобщую форму. Всеобщность непреодолима, значит, непреодолима и неполнота языковых выражений; как непреодолимые всеобщность и неполнота принадлежат, по Гуссерлю, к самой «сущности выражения»: *«в выражении никогда не могут рефлексироваться все обособления выражаемого»*.

Здесь есть важные нюансы, которые стоит обсудить. Говоря, что не все «обособления» каждого акта могут получать семантическое облачение, Гуссерль имеет в виду не только барьер всеобщности значений, но и то, что в самой последовательности актов сознания всегда имеется такое нечто, которое *в принципе* не может иметь семантического воплощения, не может быть выражено: *«Из низшего слоя не вступают <в смысле — не могут вступать> в выражающее означивание целые измерения вариабильности, и эти последние, а также их корреляты вообще не получают „выражения“ — так модификация относительной ясности и отчетливости, аттенциональные модификации и т. д.»* Если для акцентированных Гуссерлем актов логического выражения первой ступени, т. е. для формальной некоммуникативной апофантики, дело, видимо, так и обстоит (одно и то же выражение — взять хотя бы частый гуссерлев пример *'все тела протяженны'* — может создаваться при разных степенях ясности ноэматического состава), то в феноменологии актов говорения ситуация, на наш взгляд, несколько смещается.

С одной стороны, для обоих этих типов языковых актов (выражения и говорения) верно, что семантика повсеместно заграждает своей всеобщностью путь к рефлексивному означиванию *всех* частных обособлений выражаемого. Или — добавим в качестве обратной стороны той же медали для интересующего нас

собственно языкового развития темы — семантика заграждает путь к выражению всех частных обособлений как своей всеобщностью, так и *характерной типичностью* своих интенций (в бахтинском, напр., смысле). Характерная (жанровая, стилевая, идеологическая, направленческая и пр.) типичность интенций значений — симметричный инверсив ко всеобщности. Она тоже заграждает путь к выражению всех обособлений — напр., в пародии, когда, в частности, какое-либо употребленное слово или словосочетание сохраняет «запах» родного для него и отстраненно пародируемого в данном высказывании контекста.

По этой симметричной инверсии гуссерлева тезиса отчетливо видно помимо прочего и то, что гуссерлевы акты логического выражения первой степени не могут, как это нередко предполагается, характеризоваться в качестве такого подтипа языковых актов, который якобы мыслится в абсолютной безотносительности к «другому» (другому сознанию). Напротив: *в гуссерлевой идее непреодолимой всеобщности семантики есть несомненный мотив 'чужести' слов* (как он разрабатывался тем же Бахтиным). Всеобщность, имея инверсив «типической характерности», сама есть не что иное, как ипостась дружности, есть — характерно-типичная форма смысла, связанная с гипотетической инстанцией говорения «все», включая специфические формы всеобщности для каждого конкретного языка в его целом (язык как тип мировосприятия). Гуссерлева «всеобщность» как преграда к полному и прямому выражению может быть, таким образом, понята как языковая ипостась имманентизации 'чистым' сознанием «другого» в форме максимально обобщенной Мы-позиции, которая, в свою очередь, может модифицироваться в речи и в разнообразные синтезы «я, ты, он, мы, все»²⁸.

С другой стороны, в актах говорения, которые также подчиняются ограничениям всеобщности и типичности значений, доля выразимого вопреки всеобщности и типичности смысла *выше*, чем в некоммунитивных логических актах Гуссерля. Так, то, что названо Гуссерлем вообще не получающим выражения «измерением вариабильности», в актах говорения может выражение получать — в том числе не прямое. Эти моменты как раз и входят часто в потенциальное поле референции непрямого говорения. Причина увеличения доли выразимого в коммуникативных актах в том, что говорение может пользоваться более широким арсеналом средств *не исключительно семантической природы*, благодаря которым многое из того, что не подвластно логическим некоммунитивным актам выражения, становится подвластным актам говорения. Имеются в виду не только, скажем, редуцированные из сферы логических актов выражения тропы и фигуры речи, которые пользуются разного рода поэтическими смещениями интенционального луча (это само собой разумеется, и об этом еще будет говориться ниже), но, в частности, и те многообразно и дифференцированно описанные для сферы чистого сознания *аттенциональные сдвиги*, которые для логических актов оцениваются Гуссерлем как в принципе никогда «не вступающие в выражение». Для актов говорения, как мы увидим, напротив: выражение аттенциональных смещений есть органичная форма их последовательного протекания (см. раздел «*Фокус внимания*»), хотя и в актах говорения — еще раз подчеркнем действенность гуссерлева постулата о принципиальной неполноте всех без исключения языковых выражений — невозможно выразить «все» аттенциональные сдвиги. Их выражение и в говорении избирательно, и к тому же оно *иначе*, чем в самом выражаемом переживании, организовано (смена фокусов внимания в высказывании движима иными мотивами, чем смена аттенции в самом выражаемом переживании).

²⁸ Это, конечно, наша интерпретация, но не из воздуха взятая: ниже будут обговорены гуссерлевы мотивы, связанные с синтезами Я и Ты и Я и Мы (см. § «*Диапазон причастности*»).

§ 15. **Прямые и не прямые выражения Гуссерля.** Наряду и в непосредственной близости с критерием полноты/неполноты Гуссерль выделял параметр *прямоты/непрямоты* выражений (терминологическая пара, непосредственно близкая к феноменологии непрямого говорения). Под 'прямым' выражением Гуссерль понимал непосредственное *поэлементное* «приспособление» почлененного выражения, то есть его строения, к почлененному же переживанию (§ 127). Как прямое, следовательно, оценивалось такое выражение, которое — закрепим смысл в одном понятии — *изоморфно* в своем семантико-синтаксическом строении ноэтико-ноэматическому строению выражаемого переживания. При прямом выражении каждому ноэтическому и каждому ноэматическому компоненту переживания должен соответствовать свой компонент выражения.

Если присовокупить предыдущий параметр, то прямое выражение должно быть нацелено на полное выражение, однако не всякое полное выражение — прямое, даже наоборот: полные выражения чаще всего не прямые, так как — дадим заостренную формулировку — синтаксическое строение выражения по самой природе выражающей субстанции (семантики, языка в целом) *не изоморфно* тому, что выражается, т. е. ноэтико-ноэматическим структурам, актам и их последовательностям (в аналогичных по смыслу местах Гуссерль в качестве иллюстрации этой неизоморфности или асимметрии приводит сочетание «простой предмет»: выражение двукомпонентно, означаемый предмет по смыслу значения — однокомпонентен). Получается, что нельзя быть одновременно полным и прямым выражением — так «минотаврит» язык.

В конечном счете Гуссерль выходит в этом параграфе к положению о качественной особости, исключительности и, как следствие, крайней редкости прямых (т. е. изоморфных) выражений. Поскольку это положение, как понятно, концептуально значимо для феноменологии непрямого говорения, приведем — с нашими комментариями — относящийся сюда фрагмент «Идей 1» из § 127 «Выражение суждений и выражения нозм душевного».

«Одна из самых древних и наиболее трудных проблем сферы значения, — говорит Гуссерль, — ...проблема, как высказывание в качестве выражения суждения соотносится с выражениями прочих актов». Зафиксируем смысл проблемы: если форма суждения как акта может органично сливаться с предикативным строением языкового выражения, то как выражаются те акты, которые суждениями не являются и потому не соорганичны субъект-предикатным формам? Имеются в виду акты оценки, эмоций, волений, пожеланий, приказаний и т. д.: «...все принадлежащие сюда образования актов, например, образования сферы душевного — сами по себе вовсе не акты суждения — могли бы достигать „выражения“ лишь окольным (*Umweg*) путем: через фундируемое в них суждение». Момент кардинальный: в каждом типе актов Гуссерль предполагает наличие если не эксплицитной, то скрытой ноэтически-ноэматической структуры по типу суждения, но если такие акты (напр., акты душевного) выражаются в субъект-предикатной форме, то само выражение оценивается при этом как «окольное» — *не прямое*. Опять приходим к имманентному смыслонесущему парадоксу: по отношению к значительной части актов сознания субъект-предикатная форма является «окольной», что помимо прочего означает и то, что сам субъект-предикатный акт фактически расценивался Гуссерлем в своем качестве «непрямого выражения» как *частная* или отражающая специфику языка (а не сознания) форма выражения.

«Вообще говоря, — продолжает Гуссерль, — чтобы пробиться здесь к хотя бы корректной постановке проблем, нужно принимать во внимание различные раскрытые нами структуры — общий вывод ноэтически-ноэматической корреляции как проходящей сквозь все интенционалии, сквозь все тетические и

*синтетические слои;... специально же требуется усмотрение тех способов, какими любое сознание может быть переведено в сознание суждения, какими из всякого сознания можно извлекать положения дел ноэтического ноэматического вида». Понятно, откуда возникает эта проблема в данном фрагменте «Идей 1»: если при выражении суждений по большей части акцентируется (по Гуссерлю — ошибочно) его ноэматический состав в ущерб ноэтическому (выше описывалось, как Гуссерль предлагал вычленять и обособленно означивать свернутую языком модальность долженствования: ‘*X должен быть Y*’ следует разворачивать в ‘*Это должно быть так, чтобы X был Y*’), то при выражении актов оценки наоборот: акцентируется ноэтика в ущерб ноэматике (‘*Как хорошо!*’, ‘*Прекрасно!*’, ‘*Неужели?*’ и т. д.). И в этом случае — по логике мысли Гуссерля — тоже следует восстанавливать обе стороны ноэтически-ноэматических структур, действуя при разворачивании высказывания по обратной схеме, т. е. вычленив и обособив в ноэтическом высказывании ноэматическую сторону, семантически эксплицировать ноэму экспрессивного акта: ‘*То-то или то-то (пейзаж, слова, ощущение...) — прекрасно, хорошо, сомнительно и т. д.*’. В результате получается предикативная языковая конструкция, аналогичная суждению, но — дадим ремарку к спорам об универсальности/неуниверсальности субъект-предикатных структур — всегда окольно-непрямая относительно своего смысла.*

«Радикально же поставленную проблему, к какой в конце концов мы здесь возвращаемся, — продолжает Гуссерль, — следует — это вытекает из всей взаимосвязи последних рядов наших проблемных анализов — формулировать так: Есть ли среда выражающего означивания, своеобразная среда логоса, среда специфически доксическая? <Т. е. имеют ли акты выражения свою особую, обособленную и отличную от доксических актов сознания доксическую форму? — Л. Г.> Не покрывается ли она, в приспособлении означивания к означиваемому, тем доксическим, что заключено во всякой позициональности?». Прежде чем комментировать саму поставленную проблему, напомним, что позициональность у Гуссерля — это терминологическая оппозиция к нейтральности сознания: позициональные акты — это модальные, актуальные акты «экземплярно созерцающего сознания» (§ 120), акты, в которые включено все волевое (§ 109), т. е. полагание, утверждение, отрицание и т. д. Нейтральность же, напомним, это выключение позициональности, выключение всего волевого, воздержание от всякого актуального полагания, которое «выводится из действия», воздержание от всякой доксичности; нейтральное сознание не содержит ничего, «*что можно было бы полагать и к чему можно было бы что-либо предсказать*» (§ 109; подробнее о нейтральном сознании см. раздел 2. 4.) Гуссерль, как видим, называет радикальной постановкой проблемы вопрос о наличии или отсутствии *специфически языковой* доксичности и склоняется при этом к отрицательному ответу, предполагая, что доксичность языкового выражения «*покрывается тем доксическим, что заключено во всякой позициональности*» сознания». Из этого, надо полагать, следует, что доксичность как таковая не связана с языком, а вот субъект-предикатная форма, напротив, сугубо языковое (и не обязательно универсальное) явление. Поэтому Гуссерль и переходит к проблеме способов выражения различных форм позициональности сознания в языке. «*Естественно, — продолжает Гуссерль после предположения о покрытии доксичности выражающего означивания доксичностью позиционального сознания, — это не исключало бы того, что имеется много способов выражения <кроме субъект-предикатной>, скажем, переживаний душевного. Одним способом было бы прямое, а именно простое выражение переживания... путем непосредственного приспособления почлененного выражения к почлененному переживанию душевного, причем доксическое*

покрывалось бы доксическим. Внутренне присущая переживанию душевного, по всем его компонентам, доксическая форма — вот что делало бы в таком случае возможным приспособление выражения как исключительно доксотетического переживания к переживанию душевного, к переживанию, которое как таковое и по всем своим звеньям множественно тетично и среди всего прочего и с необходимостью доксотетично».

Помимо основной идеи о том, что именно доксическая форма «душевных» актов сознания, т. е. эмоций, актов оценки и пр., делает возможным их языковое выражение, для нашего контекста здесь значимо и то, что всякое душевное переживание состоит из многих актов («множественно тетично»), лишь один из которых доксический. Это означает, что при выражении множественно тетичного переживания могут быть выражены не все, но некоторые его тетические характеристики, в прямом способе — имеющийся среди прочих доксический акт, в других способах — другие актовые компоненты. Отсюда в свою очередь следует, что в любом варианте выражения всегда будут какие-либо тетические характеристики из состава «душевного» переживания, которые останутся «за бортом» языкового выражения. Всё же, оставшееся в каждом случае вне языка, переходит во владения непрямого выражения.

И Гуссерль тоже сразу же фиксирует здесь аналогичный вывод, сопровождая его краткими, но потенциально весьма насыщенными для феноменологии непрямого говорения комментариями: *«Говоря же точнее, прямое выражение, если только оно верно и полно по составу, подобало бы лишь доксически немодализированным переживаниям (т. е., проинтерпретируем, любой модальный акт прямым образом — через субъект-предикатную форму в том числе — невыразим; поскольку же реальная речь всегда так или иначе модализирована, она и при прямых способах выражения всегда в той или иной степени есть не прямое выражение — Л. Г.). Если я в своих пожеланиях не уверен, то будет некорректно, если я стану говорить в прямом приспособлении: пусть S будет P. Потому что все выражение в смысле полагаемого в основание постижения — это доксический акт в отчетливом смысле, т. е. достоверность верования²⁹. Стало быть, он может выражать лишь достоверности (к примеру, достоверности желания, воли). Выражение — если оно должно быть верным — в подобных случаях можно было бы свершать лишь не прямо «не прямо» — т. е. отказываясь от изоморфно почлененного воспроизведения доксического акта — Л. Г.»... Как только начинают выступать модальности, то, чтобы получить наивозможно приспособленное выражение, необходимо возвращаться к доксическим тезисам, которые, так сказать, пребывают в них скрыто <т. е. всякая оглядка на доксический тезис ведет к не прямому языковому выражению, или — с обратной стороны: только не прямое выражение может в этой сфере приближаться к полному и верному выражению — Л. Г.>. Если мы будем считать такое понимание верным, то следовало бы дополнительно изложить еще и следующее: постоянно имеется множество возможностей не прямых выражений на „окольных путях“ <Гуссерль имеет в виду, что невозможность прямого выражения не означает невозможности адекватного выражения; в феноменологии непрямого говорения эта же мысль обостряется до положения о том, что в определенных случаях только не прямое выражение может выражать требуемое — Л. Г.>. От сущности любой*

²⁹ Гуссерль дает здесь следующую сноску: *«Нельзя говорить, что выражение — придание выражения — выражает доксический акт, — если только, как сейчас, разуметь под приданием выражения само же означивание. Если же выражение сопрягать с гласящими словами, то так говорить вполне допустимо, но только при этом смысл совершенно меняется.»*

предметности как таковой, — все равно, какими бы актами она ни конституировалась, простыми или же многократно и синтетически фундированными, неотделимы многообразных видов возможности сопрягающей экспликации; следовательно, к каждому акту, например, к акту пожелания, могут примыкать различные акты, сопрягающиеся с ним, с его ноэтической предметностью, с его совокупной ноэмой, — акты взаимосвязи субъектных тезисов, положенные на них тезисы предикатов, скажем, такие, в каких то, что подразумевалось в желательном смысле в изначальном акте, теперь разворачивается по мере суждения, получая и соответствующее тому выражение. Тогда выражение прямо приспособлено — но не к изначальному феномену, а к выведенному из него предикативному <т. е. по отношению к изначальному феномену — или, скажем по-лингвистически, к референту — выражение и в таких случаях остается непрямым, точнее: непрямым референцией — Л. Г>».

Феноменологию Гуссерля можно оценивать, таким образом, как концентрированно содержащую концептуальные элементы феноменологии непрямого говорения. Этот вывод никак не нов, дело, как всегда, в интерпретациях. В противовес тем из них, которые оценивают языковую сторону гуссерлевой феноменологии как ошибочную (это мы оставляем в стороне) и потому (что для нас существенней) не способную принести при специально языковом «раскручивании» никаких полезных лингвистических плодов, здесь принимается точка зрения, что гуссерлевы «вехи» в подходе к языку лингвистически перспективны именно в отношении непрямого говорения, поскольку они обладают здесь, как минимум, оцельняющей проблему и уже тем в определенной степени и объясняющей силой.

§ 16. Вопрос о разделимости/неразделимости значения и смысла (к критике Гуссерля со стороны Ж. Деррида). Гуссерлев подход станет, на наш взгляд, бесперспективным для феноменологии говорения, если интерпретировать его с измененным «вектором». У Гуссерля речь принципиально ведется 'от' ноэтически-ноэматических структур сознания 'к' языковым высказываниям, а не наоборот. Мы видели выше (или — так проинтерпретировали), в частности, что Гуссерль оценивал доксичность в языке как полностью покрываемую и управляемую доксичностью позиционального сознания, а не наоборот. Иногда же утверждается обратное: что у Гуссерля анализ предвыражаемого слоя смысла «неявно руководится» строением слоя выражения, т. е. языка. См., в частности, у Ж. Деррида: «...мы можем спросить: до какой степени отсылка к выражающему слою, даже до того, как он стал тематическим, неявно руководит анализом предвыражаемого слоя и позволяет нам открыть в нем ядро логического смысла под универсальной и якобы безмолвной формой бытия-настоящего? ... Не делает ли этот вопрос проблематичной самое идею выражающего языка, так же как возможность различения между слоем смысла и слоем значения? И, что самое важное, могут ли отношения между двумя слоями быть поняты с помощью категории выражения? Для того чтобы сказать, что описание инфраструктуры (смысла) неявно управлялось сверхструктурной возможностью значения, не надо опровергать, в отличие от Гуссерля, дуальность слоев и единство некоего прохода, который их связывает. Не является ли это желанием редуцировать один слой к другому или прийти к мнению, что полное превращение смысла в значение невозможно?»³⁰

Ноэтически-ноэматические структуры Гуссерля оборачиваются при таком переворачивании вектора гуссерлевой феноменологии бессознательной проекцией на сознание субъект-предикатной структуры языка, а поскольку последняя неуниверсальна, тем самым сознание и все философствование объявляются

³⁰ Деррида Ж. *Голос и феномен*. СПб., 1999. С. 165.

метафизическими, метафорическими и т. д. Но Гуссерля можно интерпретировать и иначе: понимать субъект-предикатную форму как модифицированный и частный *специфически языковой* аналог ноэтически-ноэматических структур, который при этом *не изоморфен* им (один языковой субъект-предикатный акт может выразить и два акта сознания, и только одну его — ноэматическую или ноэтическую — сторону). Как раз через зазоры между структурами сознания и этой частно-специальной языковой структурой проскальзывают в высказывании несемантизированные или несемантизуемые вовсе «непрямые смыслы».

Если говорить в общем, то приведенную идею Деррида можно разделить на два тезиса, с одним при этом не согласиться, с другим — согласиться. С одной стороны, в отличие от Деррида, мы будем исходить из того, что *«полное превращение смысла в значение невозможно»*, что следует проводить *«различение между слоем смысла и слоем значения»* — на этом различии во многом как раз и будет строиться в дальнейшем понимание непрямого говорения³¹ (обсуждение этого пункта спора Деррида с Гуссерлем будет продолжено в § *«Смысл и значение. Гуссерль и Деррида»*). С другой стороны, отношения между этими слоями действительно — как и утверждает Деррида — не покрываются понятием 'выражение' (следует *«задаться вопросом об иных»* — помимо выражения — отношения между смыслом и значением — 166); ниже будет предложена расширяющая замена в виде понятия *«инсценирование»*.

1. 3. ИНДУЦИРОВАНИЕ И ИНСЦЕНИРОВАНИЕ

§ 17. Особый характер взаимоотношения актов говорения с сопровождающими их актами сознания. Составляющая высказывание сцепленная последовательность актов говорения всегда сопровождается иными по типу актами сознания. Вопрос в том, как они соотносятся друг с другом. Хотя соотношение разных по типу актов сознания — это общепсихологическая проблема (ведь и другие типы спонтанных и/или организованных потоков актов сознания также состоят из актов разной природы, включая и акцентированные Гуссерлем логические акты внекоммуникативного выражения), однако акты говорения — вещь, по-видимому, все же в этом отношении особая. Между характером соотношения актов разной природы в чистом сознании — и характером соотношения актов говорения с вызвавшими их, с выражаемыми в них или с сопровождающими их актами другой природы должны иметься как безусловные типологические сходства, так и не менее существенные типологические различия

Сразу же можно сказать, что одно из таких различий — телеологическое. Логические (внекоммуникативные) языковые акты Гуссерля вместе с сопровождающими их актами другой природы *совместно* направлены на конституирование и означивание ноэм и ноэс неязыковых актов, сосуществуя с ними в общем потоке актов единого переживания. Характер взаимоотношения таких языковых актов с другими актами сознания понимался Гуссерлем как приспособление, сплетение, сливание — и понятийная *выражающая* экспликация: *«В ноэтическом аспекте рубрикой „выражающее“ будет обозначаться особый слой актов — такой, к какому возможно своеобразно приспособлять и с каким возможно замечательным образом сливать все прочие акты, именно так, что*

³¹ Идею о том, что Гуссерлю была не чужда тема непрямого говорения, можно усмотреть и у Деррида: различие *«между указанием и выражением не может быть сделано с полным правом как различие между лингвистическим и лингвистическим знаком. Гуссерль проводит границу, которая проходит не между языком и лингвистическим, но внутри самого языка, между высказанным и невысказанным (со всеми их коннотациями)»*. Там же. Раздел 3 «Значение как внутренний монолог».

любой ноэматический смысл акта, а, стало быть, заключающаяся в таком сопряженности с предметностью отпечатлется в ноэматическом аспекте выражения „понятийно“ (§ 124)³². Это описание взаимоотношений «приспособления, сплетения, сливания» и понятийного означивания, что в совокупности названо *выражением*, дает основания для интерпретации логических актов выражения как не имеющих *отдельных* от других актов этого же потока сознания целей. Исполняемая ими функция придания смысла и/или означивания (в общем смысле функция выражения) имплантирована в телеологию включающего их потока актов, представляющего собой единую текстуру-ткань (в смысле Деррида): выражение является одной из форм осуществления интенции самих составляющих этот поток актов.

Телеология взаимоотношения актов говорения с сопровождающими и связанными с ними актами другой природы носит принципиально иной характер. Акты говорения, так же как и акты означивающего выражения, переплетаются с другими по типу актами сознания; частью совпадая, частью расходясь с ними, они могут, как и гуссерлевы акты выражения, в той или иной степени «приспособляться, сплетаться и сливаться» с ними, однако в этом сложнопереплетенном сосуществовании с другими по типу актами акты говорения не составляют с ними единую ткань: вместе с погруженностью в другие акты они всегда непосредственно и последовательно связаны между собой в особую единую и автономную цепь и имеют свою *отдельную* цель, отличную от целей сосуществующих с ними неязыковых и иноязыковых актов сознания. На гуссерлево выражение (или смыслоустановление, смыслоразличение, конституирование) в связной последовательности актов говорения наращиваются другие цели и мотивы, включая коммуникативность; отсюда и иная ситуация: будучи тесно сопряжены с актами другой природы, акты говорения обладают своей, *автономной* от сосуществующих с ними актов телеологией. Видеть дерево, ощущать голод, изумляться, оценивать, обдумывать ситуацию, конституировать ноэму — иное, нежели организовывать поток актов с целью рассказать (описать, изобразить, объяснить) о восприятии дерева, ощущении голода, изумлении, оценивании, о процессе (этапах, результатах) обдумывания ситуации и конституирования ноэмы.

О такой автономной последовательности нельзя уже в прямом смысле говорить как о «выражении» неязыковых актов: между ними устанавливаются иные по типу взаимоотношения. Не будучи уже выражением одного другим, это и не смешение, и не слияние одного с другим. Если применительно к внутреннему потоку актов сознания, выражаемому в некоммуникативных актах логического означивания (напр., номинациях), или к спонтанному процессу мышления можно в определенном смысле говорить — вместе с Деррида³³ — о неразличаемом

³² Неязыковые акты сознания и языковые акты логического выражения могут здесь взаимно перекрывать друг друга: «Нужны дальнейшие штудии проблем, какие преподносят нам те связи взаимного „перекрывания“, какие (чтобы только назвать особо отмеченный случай) необходимо устанавливать, по их сущности, между актами того же самого смысла и того же самого предложения» (§ 140).

³³ «‘Слой’ «переплетаются», их смешение таково, что их основу невозможно отличить от ткани. Если бы слой логоса просто закладывался, его можно было бы отложить так, чтобы освободить подлежащий субстрат неязыковых (невыражающих) актов и содержаний, проявляющийся под ним. Но так как эта надстройка влияет в существенном и решающем смысле на *Unterschicht* [субстрат], он <Гуссерль> принужден с самого начала дескрипции связывать геологическую метафору <имеется в виду — ‘слой’> с собственно текстуальной метафорой, ибо ткань

смешении неязыковых и «выражающих» их языковых актов, превращающем их в единую текстуру-ткань, то применительно к актам говорения такое понимание уже не совсем точно. Акты говорения погружены в совместный поток и неязыковых, и, возможно, других языковых (логических и спонтанных) актов, но вместе с тем они ощутимо и «видимо» связаны между собой и потому с той или иной степенью легкости вычленимы из общей «текстуры» актов.

Собственно говоря, неточно будет применять понятие 'смешение' и к гуссерлеву логическому выражению, в связи с которым и используется в «Идеях 1» понятие 'сплетения': если имеется в виду не спонтанный поток и не нейтральное «просто думание себе», а именно процесс последовательного целенаправленного логического выражения, по направлению выхода на которое и велось тут рассуждение Гуссерля, то отдельные частные акты этого выражения тоже взаимоорганизованы и связаны между собой в автономную последовательность, и потому эту последовательность также вполне можно «отложить» как «закладывавшуюся». Другое, конечно, дело, что цепочки последовательных и организованно связанных между собой актов — чисто логических и/или коммуникативно-языковых — оказывают обратное влияние на несущий и выплескивающий их поток актов сознания, внося в него новое смысловое формование (что также фиксировалось Гуссерлем), тем не менее и в этом модифицируемом смысловом течении всегда можно феноменологически отчетливо усмотреть следы соответствующего волевого импульса к организации связанной последовательности актов выражения (у Деррида в этом смысле говорится об «операции начинания», «ordiri» — там же, с. 145) — импульса, который вычленяет, связывает и обособляет эти акты от несущего их и модифицируемого ими потока.

Проблема, таким образом, состоит в выявлении типа несмешиваемых взаимоотношений между последовательностью актов потока сознания и связанной с ним последовательностью актов говорения.

§ 18. Индуцирование и инсценирование. С позиций феноменологии говорения, фундирующий тип взаимоотношений между актами говорения и сопряженными с ними актами другой природы — это и не смешанность их в единую ткань (когда «их смешение таково, что их основу невозможно отличить от ткани»), и не те взаимоотношения, которые утверждались Гуссерлем для интересовавших его некомуникативных актов выражения (экспликация, номинация, предикация и в целом — выражение). В соответствии с автономной телеологией говорения, на место неразличимой тканевой сплетенности и/или понятийной и последовательной экспликации и выражения ноэматического состава заступает организованное *индуцирование* целенаправленно *избранных* для вовлечения в состав языкового высказывания и особым образом *инсценированных* ноэматически-ноэтических структур из текущего и вбирающего их в себя потока актов сознания. При избирательном инсценированном индуцировании возможно не только отсечение тех или иных актов потока сознания, но и достраивание этого потока за счет специально «добавленных» актов, и переконфигурация их исходного сорасположения. Цепь актов говорения берет на себя (или на нее возлагается) «интенциональное задание»: своим сокращенным и/или специально наращенным и перестроенным составом в его особой инсценировке она представляет вовне и индуцирует, с одной стороны, более протяженный, чем само высказывание, с другой стороны, обогащенный высказыванием смысл.

или текстиль значит текст. Verweben означает здесь texere. Дискурсивное отсылает к преддискурсивному, лингвистический «слой» смешивается с предлингвистическим «слоем» согласно такой контролируемой системе, как текст». (Деррида Ж. Голос и феномен. С. 145).

Вряд ли можно сомневаться в том, что говорение — это акт и что, наряду с типологически общими чертами, акт говорения интенционально отличен от других типов актов сознания. Можно по-разному понимать эту интенцию (т. е. не обязательно как предлагаемое здесь индуцирование), но сама особенность и обособленность интенции актов говорения от интенций других актов (актов восприятия, воспоминания, ощущения, логического означивания и т. д.) феноменологически представляется очевидной. Аналитическая лингвистика с разных сторон рассматривает эту активную сторону языка и — аналогично континентальной неофеноменологии — не всегда считает нужным разделять эти разные интенции.

Так, по отношению к одному из выделяемых типов речевых актов лингвистика «сомневается» в обособленности коммуникативного языкового акта от акта сознания (или факта). Имеются в виду перформативы, т. е. высказывания, которые, по даваемому определению, «тождественны» самим обозначаемым в них действиям (*объявляю, клянусь, нарекаю, прошу* и т. д.)³⁴. О перформативности говорят как о распаде выражаемости в ее разделенности на выражаемое и выражающее: в перформативе, как считается, выражаемое мыслится содержащимся в самом выражающем (в отличие от констативов, типа «Идет дождь», где выражаемое как факт отделено от выражающего). В этой идее, на наш взгляд, присутствует отчетливый феноменологический подтекст, но и перформативы не меняют изложенного выше понимания ситуации: тот акт сознания (или «факт»), который можно было бы здесь мыслить как совпадающий с актом речи, сам в себе — по своей интенции — уже коммуникативен и по этому параметру схож с актами говорения и совместно с ними отличен от других типов актов и их интенций. Высказывание «*Я согласен взять эту женщину в жены*» или какая-либо «клятва» в полном смысле никогда не являются только имманентными актами сознания (или внешнеположными «фактами»), они всегда суть и внешние языковые «действия» — вовне направленные акты сознания. В строгом смысле полное совпадение актов сознания, о которых говорится, и самих актов говорения невозможно и в перформативах, как невозможно «тотальное» совпадение *того, о чем, с тем, что* говорится (Гуссерль): любая клятва имеет свой интенциональный «предмет», любое «согласие» имеет свой «предмет» и все эти предметы индуцируются в воспринимающем сознании, а акты сознания — инсценируются в перформативных высказываниях, и не в качестве того, что совпадает с самим перформативным актом («эта женщина» и есть такой «предмет» перформатива; как и «нарекаемый» корабль и т. д.). В пару к случаю имплантации нозы в нозу в гуссерлевых случаях стяжения, здесь, как видим, обратная разновидность стяжения: здесь ноза имплантируется в нозу, но тем не менее она налична и ощутима в своей особенности и обособленности от нозы.

Гораздо более значимо выявление отличий акта говорения от гуссерлева акта внекоммуникативного (имманентного сознанию) «логического» выражения. Если акт логического *выражения* можно понимать — вслед за Гуссерлем — как непродуктивный, то акт говорения продуктивен, причем в разных смыслах, по Женетту — в двух. В специфическом смысле «объективации» («*всякое высказывание есть продукт акта высказывания*»³⁵), т. е. акт говорения продуктивно «нечто» порождает, обособляя «это» вовне себя и объективируя. Непосредственный «продукт» акта говорения, обособляемый сознанием вовне, это

³⁴ «Я согласен взять эту женщину в жены», «Нарекаю этот корабль «Королевой Елизаветой» и т. д. — это не «описание действия», а «производство самого действия» (Дж. Остин. Как производить действия при помощи слов? // Остин Дж. Избранное. М., 1999. С. 18 – 19).

³⁵ Женетт Ж. Фигуры. Т. 2. С. 63.

не сам смысл, а высказывание, в которое смысл инсценированно облачается и потому может индуцироваться в воспринимающем сознании ('раз-облачаться'). Может быть акт говорения продуктивными и в прямом смысле: и фаза 'облачения' (акты говорения) и фаза 'раз-облачения' (акты понимания) могут быть продуктивными с точки зрения порождения новых моментов смысла. См. в формулировке Женетта: без порождающего акта (имеется в виду нарративный акт) нет не только повествовательного высказывания, но «иногда нет и повествовательного содержания» (там же).

При транспонировании смысла в акты и в «продукт» говорения (в высказывание) с ним происходят разнообразные метаформозы, включая весь инсценировочный цикл рождения-смерти-обновления-воскресения. Непосредственно смысловая «продуктивность» актов говорения проистекает в том числе из их обособленности в качестве связной последовательности, автономной от других актов сознания, в поток которых они всегда погружены: ведь их смысловая продуктивность может быть инсценированной активацией отблесков и следов этих непосредственно не вошедших в акты говорения актов сознания. Гуссерлево положение о «непродуктивности» актов логического выражения в имманентном пространстве сознания тоже можно понимать в этом направлении: имманентные акты означивания непродуктивны в той степени и до тех пор, в какой и до каких они погружены в поток актов сознания без автономного обособления и взаимного последовательного связывания. В этом погруженно нерасчлененном состоянии они даже — усилим для отчетливости — «контрпродуктивны», поскольку спонтанные спорадические номинации или предикации внутренней прерывистой в семантическом отношении речи сужают, в силу всеобщности своих значений, смысл, конституируемый в каждом данном конкретно обставленном, со своими обособлениями, потоке актов сознания. Вычлененность же и автономная обособленность актов говорения в качестве последовательно связанной цепи при всей ее погруженности в общий поток актов может стать причиной порождения новых моментов смысла самим языком.

§ 19. Индуцированное инсценирование несемантизованных актов. Из сказанного ясно, какой тезис имеется здесь в виду: смысл реальной коммуникативной речи (индуцируемых ею актов сознания) *всегда шире* понятийной экспликации нозматического состава. Разумеется, нозматический состав актов, облаченный в непосредственную семантическую форму, составляет значительную или даже львиную долю в понимаемом смысле высказывания, однако в каждом высказывании тем не менее присутствует и нозматическая сторона эксплицированных нозм, не обязательно получающая отдельное семантическое облачение, не обязательно имеющая возможность получения такого семантического облачения вообще, а иногда — преимущественно ее не имеющая, но тем не менее всегда присутствующая.

Более того: нозматический состав тоже не всегда полностью облачен в семантику, но тем не менее воспринимаем и понимаем. Без этого несемантизованного нозматического и нозматического состава, «расширяющего» высказывание, его смысл воспринимается, как минимум, неполно, обычно же — неверно. В самом общем приближении автономную цель актов говорения в сложных отношениях их взаимной переплетенности с актами сознания другой природы можно, как уже было намечено выше, понимать в том смысле, что акты говорения нацелены, наряду с «просто» передачей (сообщением) семантизованного состава нозматики и нозтики, на *индуцирование и инсценирование* в воспринимающем сознании конкретно определенного по сюжету и последовательности потока взаимосплетенных и сцепленных актов сознания, имеющих разную — как языковую, так и неязыковую — природу и потому не

всегда семантизованных, а иногда и не поддающихся семантизации. В воспринимающем сознании высказывание всегда инсценировано индуцирует в том числе и эти семантически не облачаемые ноэсы и ноэмы.

Существенный момент и в том, что индуцирование «рассчитывает» не на спонтанное пассивное вчувствование: акты говорения целенаправленно индуцируют в воспринимающем сознании конкретную последовательность и комбинаторику разнотипных актов, предполагая (возбуждая) своей инсценированной формой *активность* понимания и получая тем самым возможность — наряду с передачей непосредственно семантизированного смысла — индуцировать в том числе восприятие и той коррелятивной этим актам смысловой предметности, которая не получила семантического облачения. Понятно, что такое специально организованное индуцирование — это не выражение какого-либо естественно складывающегося, свободно текущего в сознании говорящего потока актов (хотя такого рода случаи спонтанного речевого поведения встречаются), и потому оно невозможно без целенаправленно разыгранного *инсценирования* конкретно организованной последовательности актов и/или целостных переживаний и их смыслов³⁶. Если смысл в чистом сознании, в том числе и в актах эксплицирующего выражения, можно понимать как преимущественно ноэматический по природе, то смысл актов говорения здесь предлагается, таким образом, понимать как всегда имеющий вместе с ноэматической и *ноэтической сторону*. Ноэму нельзя коммуникативно передать через язык без соответствующей ей ноэсы, как, конечно, и наоборот.

Такое понимание контрастирует с преимущественно *ноэматическим*, при котором языковое высказывание и коммуникация толкуются как «*сообщение*» готового объективированного смысла в качестве того, что выражает преимущественно, изолированно или даже исключительно ноэматическую сторону потока актов сознания без их ноэтической стороны (эта позиция может быть охарактеризована как редукция реальных актов говорения к гуссерлевым некоммуникативным актам выражения). В заостренных версиях этого подхода все, что проникает в «сообщение» от ноэтики, может оцениваться как субъективное и потому предопределяться к отсечению (подробно такая позиция разработана Г. Г. Шпетом) — хотя вряд ли можно сомневаться в том, что ноэтическое строение

³⁶ При отрицании момента *инсценированности* смысла в языковых высказываниях естественным продолжением оказывается и отрицание возможности существования *пред-инсценируемого* смысла — ноэматически-ноэтических структур сознания: нет инсценирования, нет и того, что инсценируется, а есть только то, что прямо наблюдаемо, почти как «вещь». Смысл понимается в таких случаях как то, что существует «в самих предложениях», то есть только в высказывании или — если, расширив, перевести это толкование в наш контекст — только в самих языковых актах. А значит, приходится толковать смысл как имеющий сугубо языковую природу и субстанцию, фактически — как «непосредственную действительность мысли», или, при нежелании двигаться в эту сторону, — как имеющий бессознательную природу. В этом случае языковое высказывание подталкивается к прямой аналогии с потоком неосознанно идущих чувственных восприятий. Почему не решить вопрос иначе? Нет оснований отрицать наличие в языке сферы бессознательного: и можно, и должно полагать возможность бессознательного течения языковых актов по неким универсальным схемам. Но почему бы при этом не иметь в виду и то, что эти универсальные схемы как раз и формировались отложениями в «бессознательном» закономерностей ноэтических сочетаний потока актов сознания, направленных, однако, не на чувственные объекты, а на смысловые предметности (ноэматический пласт сознания).

высказываний, несомненно, вбирающее субъективные оттенки, имеет вместе с тем и свою 'объективную' типичу, как имеют ее и ноэтические сцепления актов в чистом редуцированном сознании. Например, тот или иной интенциональный или аттенциональный сдвиг как конкретное переключение конкретного аттенционального луча может быть субъективным, но само явление и «механизм» таких сдвигов и поворотов — типологические (эта сторона дела описана в разделе «*Фокус внимания*»). С помощью того, что мы назвали типикой сцеплений языковых актов, можно попытаться проскользнуть между Сциллой распространенного сегодня «*биографического тряпичничества*» или «*психологистического сыска*» (Шпет), стремящихся усмотреть в высказывании субъективные, вплоть до потаенных и бессознательных, моменты, и — Харибдой абсолютизации логически унифицированного ноэматического смысла (семантики) языковых высказываний.

Разумеется, вненоэтическое понимание коммуникации как передачи готового смысла или информации обладает преимуществами для нейтрально-информационных, логицированных и математизированных сфер общения и для неприхотливых смысловых нужд, но ограничение только таким пониманием оставляет концептуально непроясненной языковую ситуацию в целом. Фактически производимое при таком толковании отождествление коммуникативно передаваемого содержания (смысла) только с ноэматическим составом потока актов сознания создает непреодолимые проблемы для феноменологии говорения. Ведь и так понятая смысловая сторона речи тоже может мыслиться только как передаваемая вместе с ноэтикой: «ноэм» изолированно от «ноэс» в речи не существует. Здесь можно говорить либо о том, что ноэмы вспыхивают в воспринимающем сознании как результат протекания в нем индуцированных высказыванием актов сознания, поскольку каждый индуцируемый акт всегда имеет свою «совспыхивающую» ноэматическую составляющую (имеет таковую и скомпонованная сюжетная инсценировка актов). Либо здесь можно говорить о том же с другой стороны: если в воспринимающее сознание вненоэтическим — чисто семантическим — образом «попадает» ноэматический состав чужой речи, то эти оказавшиеся в нем 'ноэмы' сами вызовут в воспринимающем сознании совспыхивающее протекание соответствующих им по модальности, по тональности, по оценке и т. д. потоков 'ноэс'. В определенном смысле и 'понимание' как таковое является прежде всего ноэтическим процессом.

Даже если оставить в стороне то обстоятельство, что именно ноэтическим актом является любое понимающее связывание двух лексем в единое смысловое образование, преимущественно ноэматическое понимание коммуникации вряд ли правомерно и по той причине, что смысловой коммуникативный импульс речи далеко не покрывается суммой или интеграцией 'прямых' ноэм, семантически выраженных в высказывании. Смысл высказывания всегда сверхноэматичен (сверхсемантичен), и это наращивание смысла во многом осуществляется именно за счет ноэтики. Под 'сверхсемантической' здесь разумеется, что в состав подготавливаемого к коммуникации (к индуцированию) потока актов всегда вводятся и такие акты, чьи либо ноэматические, либо ноэтические, либо и те и другие компоненты не получают в высказывании семантического облачения, но будут тем не менее ощутимы — за счет взаимной ноэтически-ноэматической индукции.

§ 20. Внесловесная ноэтическая ситуация. Аналогично понятию внесловесной ситуации или контекста общения, влияющих на смысл произносимых в них речей, в феноменологию говорения можно ввести понятие внесловесной (или подразумеваемой) «*ноэтической ситуации*», не все компоненты и обстоятельства которой получают семантическое облачение, но все сохраняют возможность влиять на смысл высказываний. «Не все» — это мало сказано: в зону «*подразумеваемого*»

отходит значительная часть «ноэтической ситуации». Существуют, по-видимому, два типа внесловесных ноэтических ситуаций — текущие и фоновые.

Отличие *текущей* внутренней внесловесной ноэтической ситуации от внешней ситуации общения в том, что во втором случае отходящее в зону подразумеваемого и не облачаемого в слово равно известно собеседникам заранее, в текущую же внесловесную ноэтическую ситуацию входит то, что собеседнику не может быть известно «заранее», но что можно путем характерного использования языка, опирающегося на ноэтические закономерности протекания актов сознания, индуцировать в его сознании и сделать «совместным» знанием. Предшествующим течением речи говорящий инсценирует совместный со слушающим ноэтический «кругозор» и общее ноэматическое «окружение» семантически облачаемого интенционального объекта — так, что оставшиеся несемантизированными смысловые элементы ноэтического кругозора могут ухватываться *боковым* языковым «зрением»³⁷ или «слухом», образуя не прямой смысл высказывания. Аналогично могут передаваться за счет инсценировки определенной ноэтической ситуации и несемантизируемые при этом аксиологические моменты (тональность, сфера оценок), которые также часто входят в состав не прямых смыслов высказывания. В процессе говорения можно управлять *сменами текущих ноэтических ситуаций* — управлять передвижением понимающего «ноэтического взгляда» слушающего, непосредственно семантически перенаправляя его с одного на другое, но — так, чтобы движущийся понимающий взгляд не упускал при этом из виду и изменения в ноэматическом окружении высказывания. При инсценировке возможно и обратное использование такого «бокового» непрямого схватывания: можно точно и целенаправленно семантически фокусировать элементы ноэтической ситуации, окружающие «действительный» предмет интенции, не называя его и не направляя на него взгляд слушающего непосредственно, и он тем самым будет схвачен понимающим в зоне схождения разнонаправленных ‘боковых взглядов’. Наглядно это происходит в случаях, когда подразумеваемая, но не называемая смысловая предметность имеет имя, которое вспыхивает в сознании слушающего и без его наличия в высказывании (таков, в частности, один из механизмов словесной загадки, построенной путем семантического «обстрела» ноэматических элементов ноэтической ситуации искомой разгадки). Но таким же образом передаются и такие компоненты смысла, которые не имеют имени или которые нельзя именовать (на этом различии основывалось ивановское разведение ассоциативного и реалистического символизма).

Фоновые внесловесные ноэтические ситуации иного свойства. Они «работают» не с текущими и сменяемыми ноэтическими обстоятельствами речи, в том числе с маргинальными или субъективными моментами, а с теми ноэтическими обстоятельствами, которые входят в общую подразумеваемую в данной сфере

³⁷ См. в это смысле интерпретацию К. А. Свасьяном гуссерлевой интенциональности, акцентирующую интересующий нас возможный генезис пласта подразумеваемого, способного стать смыслом непрямого говорения: *«Каждому феномену присуща собственная интенциональная структура, состоящая из множества интенционально соотнесенных компонентов. Так, например, восприятие куба представляет собою целую связь разнообразных интенций: куб "является" в различных точках зрения и перспективах; зримые стороны его интенционально соотнесены с не зримыми, но предполагаемыми сторонами <'не зримое', но 'предполагаемое' отходит в подразумеваемый план ноэтической ситуации>... интенциональная структура предмета строго соответствует специфике модусов его переживания. (Свасьян К. А. «Феноменологическое познание: интенциональность»; материал из интернета).*

общения (в данном жанре, в данном стиле, социуме и т. д.) ноэтической ситуацию. Все основные смысловые моменты, входящие в фоновые ноэтические ситуации, заранее общи для говорящего и слушающего и потому «обычно не высказываются» (СЖСП, 68). К компонентам фоновой ноэтической ситуации относится жанровая (стилистическая, идеологическая и т. д.) общность кругозора, общность в манере понимать семантику (одинаковая направленность ее интенций на предмет) и общность аксиологическая (тональности, экспрессии, импресси, оценок и т. д.). Понятно, что несемантизируемый смысл общей фоновой ноэтической ситуации, ее очевидно подразумеваемое, входит в «законный» непрямой смысл высказывания. Часто возникающий при этом налет «автоматизма» может привести к той aberrации, что этот общеподразумеваемый смысл — не всегда смысл действительно воспринимаемый: состав невысказываемого из общей фоновой ноэтической ситуации не всегда осознаваем общающимися, как минимум, полностью — если не «всегда не осознаваем».

Ведь если даже при опоре на общую текущую чувственную ситуацию и на текущие семантически прямо означенные ноэтические ситуации в тексте, общающиеся не всегда осознают, *что* именно в этих общих ситуациях поддерживает взаимную понятность смысла их речей³⁸, то тем более это относимо к ментально-внутренним фоновым ноэтическим ситуациям. Возможно, например, что в определенный момент общения экспликация обычно несказываемого подразумеваемого или его части может стать неожиданной смысловой инновацией (по типу остранения). Фактически все варианты психоанализа, марксовской теории или структурализма стремятся, отдавая тем самым вольную или невольную дань концепту непрямого смысла, именно к этому — к экспликации того общеподразумеваемого, которое вышло из зоны осознания, но продолжает влиять на смысл.

В этом отношении эксплицитную семантическую форму коммуникативного высказывания можно сравнить с малой видимой частью айсберга — как всей совокупности или последовательности многочисленных так или иначе связанных с этим высказыванием актов сознания и их смыслов; большая часть этого айсберга остается семантически не означенной, но сохраняет существенное влияние на смысл высказывания, передаваясь различными способами непрямого говорения.

§ 21. Двойное отношение индуцирования к гуссерлевым сращениям и опущениям. Непрямой смысл языковых энтимем. ‘Сверхсемантичность’ любого высказывания непосредственно связана также и с тем, что последовательность актов говорения, имея автономную направленность и инсценированную организацию,

³⁸ См., напр., описание В. Подорогой вхождения в смысл бессмысленного через мельчайшие чувственные составляющие: «...Этот микроскопический уровень чувственности мы не можем включить в смысл читаемого, потому что он состоит из мельчайших составляющих бессмысленного... Поразительна пространственно-языковая экспериментация Андрея Белого, который для того, чтобы добиться наиболее полного выражения пространства, строил свой роман ‘Петербург’ как набор одновременно микроскопических жестикюляций, фонетических и одновременно телесных, с помощью которых он и создавал само пространство читаемого. Я так вижу его задачу-максимум: не дать языку отойти от тела, все время держать язык вместе с телом, удерживать хрупкую нить их референции, хотя это и кажется делом безнадежным... Белый пытается организовать ритм чтения не на уровне представления, а на уровне телесного присутствия читающего в читаемом тексте...» (Философия и литература. Беседа с Жаком Деррида. Фрагмент беседы с В. Подорогой // Жак Деррида в Москве. М., 1993. С. 176, 177, 178).

наследуют вместе с тем гуссерлевым актам выражения (т. е. по-своему используют их семантический состав) и внутренней речи (составляющей отдельную проблему для феноменологии языка, здесь оставляемую без рассмотрения). Результатом такого 'наследования' оказывается то, что в акты говорения вместе с наследуемой эксплицирующей семантикой могут скрытым неэксплицированным образом переходить тетические характеры, модальные и аксиологические отблески тех нозэ, нозм и нозических переплетений между разными актами, которые участвовали (сопровождали) в создании данного не ориентированного на коммуникацию акта выражения, но никак не отразились в его окончательной семантической форме. Имеются в виду не субъективные коннотации нозического кругозора говорящего, а восполняющие не сказанное смысловые составляющие несловесной нозической ситуации, характерно типичные для того или иного более частного «мы» или для того или иного типа фоновой нозической ситуации.

Если сопоставить тезис об индуцировании и инсценировании с гуссерлевым тезисом о принципиальной неполноте языковых выражений, о свойственных им *сращениях* нозических и нозматических моментов и разного рода *опущениях* каких-либо из этих моментов, то этот тезис можно толковать и в том смысле, что индукционно-инсценирующая сила актов говорения частично компенсирует эту природную семантическую неполноту, эти сращения и опущения, или — в общем плане — что она частично компенсирует отмечающуюся Гуссерлем принципиальную нозически-нозматическую *двусмысленность* языка.

С другой стороны, сращения и опущения принадлежат природе языка. Индуцирование и инсценирование пересиливают их не какой-либо внешней силой, а пользуются их собственными внутренними потенциями: высказывание конструирует конкретные варианты нозически-нозматических сращений и опущений и комбинирует их таким образом, чтобы выплеснуть смысл высказывания за рамки его неизбежно неполного прямого семантического содержания. Механизмы сращений и опущений — это одновременно и причина двусмысленности и неполноты языковых высказываний, и орудие наращивания их смысла с помощью различных форм непрямого говорения. Благодаря этим (и многочисленным другим того же рода) механизмам формально неполные выражения оказываются в некоторых случаях предпочтительней — с точки зрения полноты выраженного смысла — максимально развернутых.

§ 22. Предварительная иллюстрация. Опущение. Так, начало бунинской «Сказки о козе» — *‘Это волчьи глаза или звезды – в стволах на краю перелеска?’* — прямо не содержит в себе ни нозмы, ни нозсы страха, семантически не выражает его, тем не менее испытываемый страх передается (инсценируется). Чисто нозматические объяснения здесь, на наш взгляд, бессильны или по меньшей мере предварительны: дело не в семантически-языковой (нозматической), а в нозической (актовой) стороне и в нозической ситуации в целом. Можно сколько угодно говорить о том, что, мол, из языкового контекста, из эксплицитно данной семантики понятно, что ‘ночь’, что ‘лес’, что ‘волк’ и т. д. и что все это — ‘страшно’. Но сами по себе лексемы — и нозмы — ‘ночь’, ‘лес’, ‘звезды’, ‘глаза’ и ‘волк’ страха не содержат, не содержит его и синтаксическое сочленение этих лексем (т. е. семантическое значение фразы само по себе). ‘Страх’ индуцируется здесь не как рефлектируемая нозма, а как актуальный позиционный акт в определенной текущей нозической ситуации — страх как семантически не выраженная модально-тональная характеристика нозсы или совокупности нозэ, инсценированных (косвенно вызванных) в воспринимающем сознании семантически выраженными нозмами. Для возникновения и восприятия этого акта страха мало внешней ситуации — необходима нозическая ситуация сознания, *необходимо сознание как таковое* (ведь «самой» машиной при машинном переводе

этот акт страха не ощущается). Однако в состав выражаемого потока актов (и в состав подлежащего машинному переводу) эта ноэтическая ситуация и эта ноэса 'страха' несомненно входят — столь же несомненно вошла она и в состав коммуникативно переданного здесь смысла (возможно, что и из ХХХ осуществленного машиной перевода эта ноэса страха тоже будет воспринята — но это произойдет не за счет вложенного в машину семантического алгоритма, а за счет воспроизведения *в сознании* воспринимающего данной ноэтической ситуации и соответствующей ноэсы страха). Таким образом, оставленный за пределами семантически выраженной части «смыслового айсберга» высказывания акт страха косвенно передан силами ноэтики: стихотворение использует закономерности взаимосвязей протекающих в сознании актов, индуцированных семантикой фразы, и инсценирует тем самым естественное совспыхивание в воспринимающем сознании этой семантически не представленной ноэсы. «Не представленной», заметим, ни в качестве ноэсы, ни в качестве ноэмы. 'Страх' относится Гуссерлем к 'душевым актам', а последние — к фундированным в модальных актах (восприятия, суждения, сомнения и т. д.). Инсценированное фразой сочетание таких первичных фундирующих актов и приводит к совспыхиванию в созданной таким образом ноэтической ситуации семантически не представленного душевного акта.

Осталась одна существенная недоговоренность: мы разбираем приведенную стихотворную бунинскую фразу в качестве условно реальной фразы из живого общения (реальная ноэса 'страх' будет воспринята из одной только этой фразы тогда, напр., когда эта фраза будет произнесена нашим собеседником, скажем, в лесу), поэтому и говорим, что этот душевный акт фундирован «обычными» модальными актами. Между тем эстетическое восприятие фундируется, по Гуссерлю, не модальным, а нейтрализованным сознанием. При эстетическом восприятии этой стихотворной фразы она порождает «*нейтрализованный страх*», а если вспомнить философскую традицию, с которой смыкается гуссерлева тема нейтрального сознания, то эта фраза порождает «*незаинтересованный страх*».

Если отвлечься пока от этой недоговоренности, то можно сказать, что описанный механизм индуцирования опущенных ноэс аналогичен разбиравшемуся выше гуссерлеву пониманию полных/неполных и прямых/непрямых выражений. Наш пример в качестве фразы в реальном разговоре — выражение «непрямое». Прямое выражение здесь вообще невозможно: переживание не только количественно всегда многосоставней, чем выражение (т. е. здесь имеется несколько стяжений — той естественной для языка формы сокращенного выражения ноэтически-ноэматического состава переживания, о которой говорилось выше), но и полнокровно модализировано, прямое же выражение в его чистом виде может относиться, напомним, лишь к немодализованным переживаниям.

Наш пример представляет собой и «неполное» выражение. Более «полным» в гуссерлевом смысле было бы здесь перефразированное выражение «*Я боюсь волка: а вдруг это его глаза там, в стволах на краю перелеска, а не звезды*». Здесь модальность страха — по гуссерлеву «рецепту» — обособлена, семантизована и вынесена в отдельную синтаксическую позицию. Но и в этом случае остались без выражения некоторые аспекты многосоставного переживания (в частности, опущена ноэма чувственного смотрения, несколько редуцирован акт сомнения, вопрос трансформирован в предположение и т. д.). Можно было бы, конечно, продолжать разворачивание перефразирования до бесконечности, отмечая все конкретные детали переживания, но — напомним гуссерлев довод — «всеобщность» семантики все равно не дала бы выразить все частные «обособления» этого, как и всякого другого, переживания.

Более того: попытки таких разворачиваний часто приводят к парадоксальному следствию — чем более развернуто высказывание, тем менее оно выразительно (тем

менее насыщено смыслом). Проще говоря, бунинский вариант, эллиптический с точки зрения полноты и прямоты выражения ноэтически-ноэматического состава переживания, тем не менее предпочтительней по смысловой наполненности всех развернутых версий.

§ 23. Специально об инсценировании. Эта парадоксальность хорошо иллюстрирует то, что имелось выше в виду без специального толкования под целенаправленным ‘инсценированием’ актами говорения индуцируемого ими многоактного переживания. Поскольку — как здесь принимается — на языке невозможно прямое и полное выражение всего ноэтически-ноэматического состава переживания, невозможно говорить и о прямом и поэтапно изоморфном — шаг за шагом — индуцировании переживания. Такая изоморфность невозможна. Речь поэтому и идет об *инсценировании* — в том смысле, что языковое инсценирование актов сознания — как и всякая инсценировка — *не изоморфна* тому, что инсценируется³⁹: ни по фабуле (по последовательности самого выражаемого потока актов), ни по сюжету (по семантическому построению фразы), ни по участникам и их «количеству» (по выделенным для семантизации ноэмам и ноэсам), ни по значимости их роли (так, в нашем примере из Бунина на семантической авансцене высказывания расположен акт ‘вопроса-сомнения’, а в самом переживании на авансцене — акт страха). Поскольку языковой состав неизбежно сокращен относительно ноэтически-ноэматического состава индуцируемого переживания, «успех» языкового выражения в том, чтобы «оптимальней» избрать участников для этого сокращенного состава значений и распределить их в синтаксической ткани речи — так, чтобы они охватывали по возможности все основные несущие конструкции переживания и высвечивали все неохваченные семантикой «темные углы» воссоздаваемой ноэтической ситуации. Это как в археологии: если высказывание коснется своими семантическими компонентами, синтаксической структурой и ноэтической инсценировкой лишь нескольких, но значимых точек выражаемого переживания и точно их распределит в соответствии со внесловесной ноэтической ситуацией, то воспринимающее сознание — как археолог по осколкам — сможет воспроизвести (инсценировать) все течение актов переживания в его смысловой целостности. Или как в трагедии: *катарсис* может быть преднамеренным финалом инсценированного потока актов, но никогда не может быть непосредственно семантически выражен (катарсис всегда — не прямой смысл).

Бунинская фраза пользуется для достижения искомого эффекта минимальными средствами, но достигает максимального успеха за счет инсценировки нозем и нозес, имеющей семантически неявленный аксиологический (ноэтический) эффект. При наращивании же семантического состава речи — с благими намерениями ее более полного соответствия выражаемому — зачастую достигается противоположный эффект: в речи выражается то, чего нет в самом выражаемом переживании, и исчезает то, что адекватно ощущалось в сокращенном

³⁹ Идея языкового инсценирования, разумеется, не нова; в нашем случае она близка к бахтинскому пониманию — см. иначе терминологически наполненный, но говорящий примерно об этом же фрагмент из АГ: *«Неправильно считать объектом эстетической деятельности и материал: мрамор, массу, слово, звук и пр. Не над словом работает художник, а с помощью слов, не над мрамором, а с помощью мрамора, он был бы техником, если бы работал над мрамором или над звуком, и как техник реагировал бы на них только познавательной деятельностью, ему достаточно было бы знать физические законы их структуры... и эта творческая работа <создателя> воспроизводится созерцателем, разыгрывающим снова событие на основе указаний, которые дает эмпирическое художественное произведение».* Имеются схожие с идеей инсценирования мотивы и у Гуссерля, и у Деррида.

выражении (подробней об этом см. раздел «Смысловые эффекты при сменах языковой модальности»). Причина и здесь та же — *неизоморфность* ноэтически-ноэматического строения актов сознания и ноэтической ситуации переживания с семантико-синтаксическим строением языкового высказывания. Эта исходная («природная») неизоморфность приводит к разного рода смещениям, наложениям, перемещениям и т. д. ноэс и коррелятивных им ноэм в выражающей их семантико-синтаксической ткани высказывания. Такими «перестановками», реконфигурацией и комбинаторикой может порождаться значительная и даже превалирующая доля коммуницируемого смысла.

В частности, ведущая ноэма индуцируемой последовательности актов может в таких «перемещающих» ноэмы и ноэсы высказываниях терять свое доминирующее положение, как — дадим схожий с бунинским, но упрощенный ради наглядности пример — в случае, когда сказанная за столом фраза «*чай тоже горячий*» индуцирует не тот вроде бы коммуницируемый смысл, что «*чай горячий, как и еще нечто*», а тот, что «*ты можешь попить и чаю*». Обычно говорится, что такого рода понимания восполняются за счет общей чувственной ситуации общения. Конечно, это так. Но без феноменологического разворачивания такое утверждение остается лишь номинирующим или в лучшем случае констатирующим, концептуально же пустым, объяснением, если не сказать — *тропом*. Ведь реально что вообще могут означают все такого рода «объяснения», напр., знаменитое «*значение определяется контекстом*», когда под контекстом имеется в виду окружающая семантика или та же чувственная ситуация? Что это за субъект — ‘контекст’, действующий *вне сознания* и тем не менее определяющий смысл, и что он такое «делает», чтобы определить значение? Эти с виду «прямые» по смыслу фразы на деле — синекдохи или метафоры, непрямо отсылающие к тому, что выше было названо «ноэтической ситуацией» (феноменологически усматриваемым состоянием ноэтически-ноэматических структур сознания). В таких «объективных» объяснениях, декларирующих свою ориентацию — в противовес в том числе и гуссерлевой феноменологии — не на метафизическую нестрогую «метафору», а на точные и прямые смыслы, на самом деле троп на тропе сидит и тропом погоняет («*движущаяся толпа метафор, метонимий, антропоморфизмов*», как говорил Ницше). То же и с «ситуацией» в нашем примере с чаем. Каким конкретно образом чувственная или контекстуально семантическая «ситуация» вмещивается в смысл реплики? Никак не самолично (не в прямом смысле), а опосредованно (метафорически): и здесь — не через нечто внешнее сознанию воспринимающего, через «ситуацию» как совокупность чувственных данных или овеществленных наименований, что-то объективирующих, а через имманентную ноэтическую ситуацию: через непрямо индуцируемые — подразумеваемые, но оставленные без семантизации — акты сознания. Через сознание и ноэтику, и никак иначе.

Конечно, понятие «ноэтическая ситуация» — тоже в определенном смысле метафорично (такова уж природа слова «ситуация» и общая склонность семантики к ноэтически-ноэматической двусмысленности), тем не менее в этом понятии метафоричность условно-осознанная и хотя бы намечающая путь к прямому пониманию механизма действия такого рода не прямых смысловых процессов. Помимо прочего понятие «ноэтическая ситуация» оставляет в себе место и для чувственных восприятий (которые тоже — ноэсы) общих обстоятельств общения. В высказывании «*чай тоже горячий*» с ноэматическим составом фразы сплетаются некоторые из тех чувственных восприятий, которые являются одинаковыми для всех участников данной ситуации общения, но сплетаются не как таковые, не сами по себе, а будучи вовлечены в подразумеваемый пласт общей ноэтической ситуации как ноэсы — их индуцированием (активизацией). Чувственные восприятия вообще относятся к тем типам актов сознания, которые наиболее часто используются для

формирования дополнительных моментов в подспудно ноэтическом — при часто преимущественно ноэматическом по составу — содержании устной речи. Именно в смысле вовлеченности чувственных восприятий в состав 'ноэтической ситуации', а не о таинственном действии самой внешней сознанию ситуации, у Гуссерля в ЛИ (89) говорится о 'наглядности' ситуации, которая восстанавливает для слушающего смысл сокращенных высказываний (*Прочь! Послушайте! Ну что это?*).

Язык — если обобщать сказанное — свободно-инсценировочно обращается с ноэтически-ноэматическими структурами сознания: возможны разнообразные комбинации ноэм и ноэс из разных актов, разного рода ноэматические и ноэтические наслаивания и скрещения; ноэсы и ноэмы как компоненты одного акта сознания могут в высказывании разводиться и перераспределяться; акт говорения может сочленять ноэмы и ноэсы из разных актов сознания; одни компоненты могут в актах говорения опускаться, другие передаваться с дополнительными наслаиваниями и т. д. Язык осуществляет комбинаторику ноэм и ноэс, создавая в том числе и семантически не схватываемые (непрямые) компоненты как ноэматического, так и ноэтического состава на скрещении и наслаивании актов, на их интенциональном перенаправлении и т. д.⁴⁰

§ 24. Неизоморфность ноэтически-ноэматических и субъект-предикатных структур. Органичные и инсценированные стяжения. Второе наряду с опущениями органичное свойство языка — *стяжения* ноэматических и ноэтических компонентов. Как и опущения, стяжения могут претерпевать метаморфозу из темных органических гибридов в сознательно инсценированные приемы речи. Прежде чем говорить о вариантах сознательного инсценирования стяжений, постараемся установить, возможны ли твердые параметры сопоставления ноэматически-ноэтических структур и актов говорения — те стабильные метки, на основании которых можно было бы усмотреть сами стяжения.

С полным основанием и осмыслением сделать это, однако, трудно. Сам Гуссерль иллюстрировал стяжения на примерах субъект-предикатных суждений, в которых ноэсы оказывались имплантированными в ноэмы. Эксплицируем подразумеваемую в таких примерах, но в полном объеме и неоднозначности не развертывавшуюся нами ранее идею: ноэматически-ноэтическим структурам

⁴⁰ Технологическое (без концептуальных отождествлений) сходство с таким подходом можно усматривать в генеративной поэтике (А. К. Жолковский, Ю. К. Щеглов), использовавшей в том числе «риторические фигуры» языка кино (С. Эйзенштейн): *сокращение, совмещение, контраст, затемнение* и т. д. Схоже с терминами «киноязыка» и само понятие *инсценирования* — см. в работе Жолковский А. К. «Порождающая поэтика в работах С. М. Эйзенштейна» о приемах развертывания передаваемого — в мизансцену, мизансцены — в последовательность кадров или «раскадровку» (в феноменологии говорения это — последовательность актов говорения); каждый кадр дробится в свою очередь на игровые моменты, снимаемые с одной точки (ноэматический состав, обымаемый одной ноэсой). Близки к феноменологии говорения параллели с киноязыком, проводимые в ином аспекте Ж. Женеттом в «Фигурах», Б. А. Успенским в «Поэтике композиции», Ю. Лотманом в «Семиотика кино и проблемы киноэстетики» (Таллин, 1973) и, конечно, Ж. Делезом (*Делез Ж. «Кино». М., 2004*), отмечавшим, в частности, у С. Эйзенштейна «*новую концепцию крупного плана, новую концепцию ускоренного монтажа, вертикальный монтаж..., интеллектуальный монтаж или монтаж сознания*» (с. 83) — все это очевидно наполняемо имеемым здесь в виду феноменологическим содержанием в плане комбинаторики ноэтически-ноэматического состава. Для феноменологии говорения эти очевидные параллели с языком кино настолько существенны, что требуют не спорадического, а отдельного обсуждения.

сознания в языке в некотором смысле параллельны субъект-предикатные структуры. Эта параллель проводится, в частности, в ЛИ (81-82): при описании разных типов высказываний Гуссерль разбирает отношения между содержаниями именованного (тем, *о чем* говорится — субъектом) и извещения (того, *что* говорится — предикатом). Отмечая, что возможны случаи *частичного совпадения* того и другого — в вопросе, пожелании, приказе (*я прошу стакан воды* — те же примеры будут воспроизведены и в «Идеях 1»), где желание говорящего, о котором извещается, есть одновременно и предмет высказывания (заметим, что если не по синтаксической структуре, то по функции это — будущие перформативы лингвистики), Гуссерль оценивает тем не менее в качестве «нормальных» лишь повествовательные предложения (будущие нарративы), в которых то, *о чем* (языковая модификация ноэмы) и то, *что* говорится (языковая модификация ноэсы), не совпадают — как всегда не совпадают и сами ноэмы и ноэсы. Собственно языковой тезис Гуссерля звучит так: «...случаи *тотального совпадения* того, *о чем* высказывание, и того, *что* извещается, невозможны, случаи *тотального разведения* — напротив, возможны и нормальны: $2 \times 2 = 4$ ». Этот тезис вполне можно интерпретировать как тезис о невозможности *тотального совпадения*⁴¹ субъекта и предиката.

Вместе с тем, как уже отмечалось, просто сказать, что между ноэтически-ноэматическими структурами и субъект-предикатной связью имеются параллели, значит почти ничего не сказать: отсюда и начинаются трудности, поскольку параллелизм не означает изоморфности. Наметим три вектора этой неизоморфности.

Первый — ноэтически-ноэматические структуры сознания могут инсценироваться в любых других видах синтаксической связи, напр., в атрибутивной (см., в частности, описание приема ‘упреждающей предикации’ — «*несмелая, подходя к дому врача, она замедлила шаг*» — в § 71 «Временные сдвиги ФВ — перестановки, разрывы, сращения»).

Второй — само стяжение, при котором исходная полипредикативность синтетических актов сознания и соответствующих им ноэтически-ноэматических структур выражается в монопредикативном и традиционно понимаемом субъект-предикатном актах в языке (см. выше о приеме обособления модальности и ниже в следующем параграфе).

Третий — скрытые, неформализуемые языком и, наоборот, эксплицитные, но навязанные языком предикаты. С одной стороны, возможны ноэсы, формально имеющие относительно своих ноэм предикатный статус, но выражаемые в речи не через формально данную субъект-предикатную структуру (скрытой ноэсой, а следовательно, и скрытым предикатом может быть в речи практически все, начиная с самого именованного и субъекта); с другой стороны, речь может поставить в синтаксическую позицию предиката высказывания то, что не является таковым в актах сознания и — обострим — то, чего в этих актах сознания вообще не содержится.

Учитывая эти и другие показатели неизоморфности, мы будем расценивать субъект-предикатный акт языка как хотя и значимую, но тем не менее *частную разновидность* проявления ноэтически-ноэматических структур сознания⁴².

⁴¹ Интересно, что идея сближения, но невозможности тотального совпадения ноэмы и предиката модифицированным образом отзовется в бахтинской идее «тотальной экспрессии» как «почти полного совпадения автора и героя в лирике», причем автор и герой тут — модифицированные аналоги ноэсы и ноэмы.

⁴² Дополнительные материалы к такому пониманию статуса субъект-предикатной структуры см. в статье о Лосеве «Эйдетический язык» (§ 55 «Не

§ 25. Стяжение как фундирующий способ неизоморфной языковой инсценировки ноэтически-ноэматических структур. Случай имплантации ноэса в ноэму в языке. При неизоморфной передаче ноэтически-ноэматических структур в субъект-предикативном акте язык пользуется инсценировкой практически всегда — потому, что прямое и полное выражение может быть присуще только немодализованным актам, а языковые акты всегда модальны (в том числе и с точки зрения особых *языковых модальностей* — см. § «Языковые модальности»). Стяжение — фундирующий способ передачи ноэтически-ноэматических структур непосредственно через субъект-предикативный акт. Механизм такой «стягивающей инсценировки» уже рассматривался: это имплантация тетических характеристик акта внутрь ноэмы (по типу гуссерлева ‘X должен быть Y’). Выражаемый акт — синтетический, т. е. потенциально полипредикативный, само выражение — монопредикативно. При стяжении тетическая характеристика одного из актов синтетического переживания (в данном случае — модальность) приписывается иному компоненту структуры, нежели это «было» в структуре сознания (в данном случае — приписывается ноэме). Карфаген не сам «должен» быть разрушен, он ничего не может быть должен, долженствование — ноэса, а не ноэма.

Прием стягивающей языковое выражение имплантации тетических характеристик в предикативную часть ноэматического состава высказывания не просто распространенный, он — один из базовых в языке. См., напр., цитату из «Эстетических фрагментов» Г. Шпета, в которой почти каждый глагольный предикат, поданный как «действие» именованного в предложении субъекта, на деле есть выражение модально-оценочного характера ноэсы говорящего (здесь подчеркнуты в качестве иллюстрации только некоторые из таких глагольных предикатов, не требующие дополнительных пояснений): *«Сороковые годы составляют, пожалуй, последний естественный стиль. По философской задаче времени это должен был быть стиль осуществлявшегося в действительности духа — стиль прочный, обоснованный, строгий, серьезный, разумный. На деле, быт нередко принимался за действительность и вытеснял культ: демократизм и мещанство заслоняли собою духовность. Реализм духовный остался нерешенною задачею, потому что средства символизации такого реального найдены не были. Философия истории запружалась эмпирическою историей. Строгая разумность замещалась распущенным благоразумием и расчетливою уютностью. Мещанские революции внесли сумбур в жизнь, искусство демократизировалось, иррационализировалось и дегенерировало...».*

Понятно, что не *мещанские революции внесли сумбур в жизнь*, т. е. что это «внесение» не есть ноэматический предикат «революций», но что здесь выражен модально-оценочный характер ноэсы говорящего, по типу: ‘Я считаю (утверждаю и т. д.), что следствием мещанских революций явилось то-то и то-то...’. Такого рода стяженные имплантации настолько органичны для речи вследствие ноэматически-ноэтической двусмысленности значений, что они обычно не вызывают затруднений при понимании действительного источника ноэтического смысла (и его модально-тетических оттенков). Однако, с другой стороны, вследствие этой же органичной распространенности они почти не ощутимы в своем качестве инсценировки и потому, будучи тропами, воспринимаются как прямое слово, т. е. как слово, изоморфное смыслу. Если же при понимании таких словоупотреблений эта инсценировочность (имплантированность модально-оценочных характеристик ноэсы внутри ноэматического состава) истолковывается

универсализм, а логико-формальная ‘свобода’ синтаксического субъекта от референта» и др.).

неадекватно (напр., действительно «прямо»), то это может привести к искажению понимаемого смысла.

Еще более усложняет дело то обстоятельство, что разнообразные ноэтические характеристики могут быть изначально имплантированными и внутри лексической семантики, о чем уже говорилось (см. § «*Ноэматически-ноэтическая двусмысленность языка. Стяжение*»). Имплантированность ноэтических компонентов в ноэматически понимаемую лексическую семантику усложняет дело потому, что в речи эта внутренняя раздвоенность также может подвергаться инсценированному обыгрыванию, приводящему к непрямым формам выражения смысла.

Эксплицитное выявление тетических характеристик ноэс, модальности, тональности, оценки и их реальных «источников» — трудная задача. И не только «технически», это вторичная проблема; главная трудность для феноменологии говорения и лингвистики здесь — в концептуальном обосновании всей темы (см. главу «*Ноэтический смысл*»).

§ 26. К понятийной родословной индуцирования и инсценирования. Индуцирование и инсценирование находятся на взаимодействующем скрещении четырех понятийных традиций. Одной — подразумевающей отражение в речи и ее подражание своему референту (в данном случае — ноэматике), второй — подразумевающей воспроизведение в речи замысла говорящего; третьей — подразумевающей вчувствование в предмет, четвертой — подразумевающей проникновение (понимание) в авторский замысел.

В нашем варианте, как понятно, не может подразумеваться индуцирование и инсценирование исключительно ноэматической — условно *референтной*⁴³ —

⁴³ Возможность ориентации высказываний исключительно на референт, даже при самых значительных модификациях в толковании этого понятия — давно уже вопрос проблематичный. В некоторых случаях при декларировании такой установки на определенном этапе в ситуацию все равно вмешиваются ноэтические и эгологические аспекты (называемые иногда — «коммуникативной ситуацией»). См., в частности, наблюдения С. Зенкина над логикой изложения нарратологии В. Шмидом (Зенкин С. Критика нарративного разума. НЛО, 2004, N 65): «*“Нарратология” Вольфа Шмида — незаурядное событие в практике отечественного книгоиздания... Мне, однако, кажется, что внутренняя логика авторского изложения — логика определения и развития базовых понятий — обладает меньшей стройностью, чем внешняя логика книжной композиции... Сначала В. Шмид сильно и четко вводит различие двух существующих определений повествования: “классического” (повествование — это сообщение о действительности не прямым подражанием, как в драме, а при участии посредующей инстанции, рассказчика-нарратора) и “структуралистского” (повествование — это изложение событий, “истории”). Как заявляет автор, это второе понятие о нарративности “легло в основу настоящей работы” (с. 12). Итак, сделан важный и открытый теоретический выбор: повествование определяется не субъектом, а объектом, не наличием повествователя, а событийной природой того, о чем говорится... Достигнут ли, однако, желаемый результат, удалось ли определить повествование?... Возможно, чувствуя... шаткость своих исходных дефиниций, В. Шмид вскоре оставляет “события” в стороне и на протяжении двух больших глав трактует о рассказчике, то есть о сложной системе и взаимодействии личных инстанций, которыми опосредуется повествовательное сообщение о событиях. Иными словами, на деле он возвращается к той проблематике, которую сам же отвел как нерелевантную для определения повествования; теперь, при непосредственном анализе нарратива, она оказывается более релевантной,*

стороны, даже и понятой исключительно интерналистски, что почти полностью меняет облик самого понятия «референт». Но не подразумевается и инсценирование исключительно ноэтики: речь идет об инсценировании ноэтической ситуации, включающей как ноэтические, так и нозматические (семантические, референтные) компоненты. А также — в другой перспективе — как экспрессию (вчувствование), так и импрессию (проникновение). Конкретнее об особости подразумеваемых здесь форм взаимодействующего скрещения этих четырех (в общей совокупности) линий, при которых референтная и ноэтическая, а также экспрессивная и импрессивная стороны могут меняться местами, замещать и инсценировать друг друга, будет подробно говориться ниже (см. §§ «*Диапазон тональности по оси «экспрессия/импрессия»* и «*Предмет речи как свернутая точка говорения»*).

§ 27. Нозматический синтаксис и ноэтическая синтактика в языке.

Различного рода стяжения и опущения ноэтического и нозматического состава актов сознания, о которых шла речь выше, не покрывают все способы инсценирования языком индуцируемой последовательности актов сознания — они лишь открывают тему. В процессе говорения можно усматривать языковые аналоги большинства — если не всех — из тех понятий, которые использовались Гуссерлем для описания течения актов сознания: окружение, кругозор, фон, аттенциональные и интенциональные сдвиги и сцепления, ретенции, протенции и т. д. Само наличие в говорении аналогов ретенций (возвратов тем), протенций (предвосхищений), интенциональных сцеплений очевидно, но не всегда очевидно другое: что (если, напр., отождествлять смысл и язык) язык и здесь не изоморфно воспроизводит и дублирует, а — инсценирует эти явления из области сцеплений актов сознания. Непрямые формы передачи смысла также можно понять как осуществляемые в том числе путем инсценировки тех или иных особенностей в последовательном течении актов сознания. Такого рода способы инсценирования обычно направлены на репрезентацию основных обстоятельств ноэтической синтактики.

Разделение нозматического синтаксиса и ноэтической синтактики дается в плане обобщения и последующего развития сказанного выше. Бывают как разные типы сочленения, так и разные типы сочленяемого. Связываются в последовательность движения, цвета, слова и другие языковые единицы, сочленяются звуки, изображения, или — слова, звуки и изображения и т. д. Такая связь объективированно понимаемых компонентов — это по нашей терминологии *синтаксис*. Но связываются между собой и имеют свою типологию связей и свои закономерности сочленения не только объективированные компоненты, но и акты (акт связывания можно усмотреть и в моментах связи объективированно понимаемых компонентов⁴⁴) — назовем это *синтактикой*: синтактике для того и придается определение «ноэтическая», чтобы подчеркнуть установку на связь «ноэс» и тем самым обособить имеемое в виду и от синтаксиса (Мерло-Понти говорит о перцептивном синтаксисе — у нас это синтактика актов восприятия, говорят о синтаксисе созерцания, у нас это — синтактика актов созерцания), и от всех видов связи нозм, включая их гуссерлево понимание в сфере чистого

чем понятие “события”, послужившее лишь для формальной, к тому же не доведенной до конца, дефиниции предмета».

⁴⁴ Момент связи слов с точки зрения смысла — один из самых сложных для схватывающего понимания; во всяком случае речь здесь также вряд ли может идти о просто прямом наложении друг на друга семантических значений — смысл не в самих сочетаемых словах и в их сумме, а в акте их связывания, где-то «между» ними. См. замечание по этому поводу М. Мерло-Понти: «*смысл зарождается только в точке их <слов> соприкосновения, как бы в интервале между словами*» (Косвенный язык и голоса безмолвия // Мерло-Понти М. Знаки. М., 2001. С. 47).

сознания⁴⁵. Своей синтаксической стороной языковое высказывание непосредственно соприкасается с последовательностью актов сознания (в том числе «ритмически»: язык способен таким образом динамически — синтаксически — сцеплять избранные семантические единицы, чтобы ритм их связного движения совпал бы с ритмом движения выражаемых и коммуницируемых ноэтически-ноэматических структур потока актов сознания).

В языковом высказывании есть и синтаксис (последовательная связь семантических единиц разного уровня), и синтактика — последовательные сцепления актов говорения. *За счет инсценированной ноэтической синтактики смысл языкового высказывания всегда больше его семантизированного смысла* — интегральной суммы составляющих его синтаксическую структуру семантических единиц.

§ 28. Основные типы сцеплений между актами. Можно выделить пять основных видов «актового клея»: 1) единство «чистого Я» как источника исхождения всех актов; 2) связанная с этим однонаправленная непрерывность всегда текущего вперед феноменологического времени⁴⁶; «интенциональные сцепления» в двух смыслах: 3) по единству интенционального объекта и 4) по единству интенции; а также 5) формально-апофантические, т. е. семантические и/или языковые, сцепления. Все эти виды ноэтических сцеплений по-своему инсценируются и в сцеплениях актов говорения.

О чистом Я и его языковых модификатах в связи со сцеплениями языковых актов мы будем подробно говорить в своем месте. Скажем пока, что сцепления ноэс единством чистого Я — или *эгологические сцепления* — претерпевают в языке существенные модификации. От трансцендентального чистого Я, общего всем актам сознания, язык переходит к различающимся ипостасям Я, в том числе авторским, из которых исходят (могут исходить) разные языковые акты внутри одного высказывания. Здесь играет роль весь местоименный цикл — позиции Я, Ты,

⁴⁵ Мы здесь входим в частичное терминологическое противоречие с Гуссерлем, также использовавшим термин «синтактика» и также со- и противопоставлявшим ее синтаксису. Гуссерль применял термин синтактика для обозначения синтетических форм чистого сознания «по созвучию» и по противопоставлению с «синтаксисами грамматик» (§ 134). Частичность противоречия в том, что в чистом сознании все сцепления у Гуссерля — синтактичны, включая сцепления смыслов ноэм, например, аналитические. Это можно было бы назвать «ноэматической синтактикой». Акцентируемая нами связь актов в потоке сознания, т. е. ноэтическая синтактика, и у Гуссерля — не синтаксис, а синтактика. Так, «синтактично», а не «синтаксично», и гуссерлево конституирование (от лат. *constituere* — составлять, упорядочивать, организовывать), означающее не последовательность эксплицированных значений-смыслов (ноэм как таковых), а последовательность и совокупность актов, в которых сознание опредмечивает свои интенциональные объекты и наделяет их смыслом, продуцируя (конституируя) ноэмы. В конституировании как действии подчеркивается именно ноэтическая сторона. Отличия между синтактикой сознания и языковой синтактикой — те же, что и описанные выше отличия гуссерлевых внекоммуникативных актов логического выражения от актов говорения, включающих в себя коммуникативность и другие собственно языковые мотивы и цели и тем отличающихся, как минимум, телеологически.

⁴⁶ Это может быть как внутреннее феноменологическое время выражаемого потока актов, так и время, которое требуется для «потребления» высказывания — в смысле Женетта: *«Повествовательный текст, как и любой другой, не имеет никакой другой временной протяженности, нежели та, которую он берет метонимически из процесса чтения»* (Фигуры. Т. 2. С. 70).

Он, Мы, Все, Никто, Оно: высказывание может исходить, попеременно их чередуя, из разных таких источников смысла, сохраняя при этом свое единство.

Тема «однонаправленной непрерывности феноменологического времени» подчеркивает то обстоятельство, что в сознании сцепляются между собой не только одноинтенционально направленные частные нозы цельного переживания: феноменологическое время посредством скольжения «производящей точки-Теперь»⁴⁷ сцепляет между собой любые, самые разные по типу и направленности, акты, включая спонтанные («Сколь бы чужды одно другому ни были переживания в сущности, они в своей совокупности конституируются как один поток времени, как звенья одного феноменологического времени» — § 118). При отсутствии других форм сцепления актов, одно только феноменологическое время (как обратная сторона единства Я) может соединить любые, ни по каким другим параметрам между собой не связанные, акты и придать им тем самым некий (привнесенный) смысл. Хотя само по себе чисто временное и непрерывное сцепление актов сознания для языкового высказывания нерелевантно (речь идет не о потоке внутренней речи и не о спонтанных речеобразованиях, инициированных текущим моментом), язык в своих целях пользуется особенностями протекания и сцеплений актов в непрерывном феноменологическом времени.

Что касается «интенциональных сцеплений», то применительно к языку это одна из самых объемных и значимых тем. Здесь, в частности, вырисовываются две проблемы: сцепления по единству интенционального объекта (в лингвистике это проблема типов связи порядка течения высказывания с порядком референта) и сцепления по единству самой интенции. Единство интенции может связывать акты и при резких сменах интенционального объекта (референта), включая никак нозматически не мотивированные смены, — в лингвистике это дискуссионная зона, связанная с проблемами наличия/отсутствия или релевантности/нерелевантности авторской интенции, с проблемой ее единства и/или расщепления, с возможностью нереферентного, чисто тонального движения и наполнения высказывания и т. д.

§ 29. Вопрос о влиянии языковых форм сцеплений на течение актов сознания и о возможности обратного влияния. Роль формально-апофантических, т. е. семантических и синтаксических, собственно *языковых* сцеплений в последовательности актов чистого сознания — тема особая, имеющая отношение к проблеме степени расхождения или, что то же, степени взаимодиффузности инсценированной языковой и органичной нозтической синтактики, а в перспективе — языка и смысла и/или языка и сознания.

Уже говорилось, что последовательность языковых актов в высказывании всегда тем или иным образом организована. Присуще ли качество последовательной «организованности» и другим типам потока актов сознания или оно свойственно только языковым актам в высказываниях? Интерес этого очевидно упрощенно поставленного вопроса вот в чем: если организованность свойственна только языковым актам, то языковые акты должны быть признаны тем, что организует по природе вольный (спонтанный) поток актов сознания в некое оформленное движение. Ситуация, как представляется, не предполагает однозначного ответа.

Если понимать дело так, что без своего наименования нозма как смысл окончательно не конституируется, что факт завершения конституирования нозмы эксплицируется и закрепляется именно актом номинации, то этот акт эксплицирующей номинации надо непосредственно вводить в состав тех имманентных актов сознания, которые не направлены на создание выдаваемого вовне к другому высказывания. При таком понимании принято полагать, что язык

⁴⁷ Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. М., 1994. С. 27-28.

обладает наряду с другими *смыслообразующей* функцией в «чистом» сознании. В определенной мере (но не в абсолютной, так как возможно разведение ноэмы и ее имени — см. ниже) это так, видимо, и есть: движение «чистой» мысли, как бы ни толковать последнюю, невозможно без хотя бы выборочных, избранных или промежуточных — временных — номинаций (Гуссерль говорил в связи с этой темой о законе подпадаемости всех моментов потока актов сознания номинации; присовокупим сюда же внутреннюю речь с ее наполненностью предикатами). В этом плане сферу значений и язык как сущностно связанный с нею можно считать естественными (со)организаторами упорядоченности течения актов сознания: *это — черное; если черное, то не белое* и т. д.

Но означает ли это, что поток актов сознания не имеет иных источников своей организации, что он выстраивается в связную последовательность только в соответствии с закономерностями значений, языкового выражения и других языковых процессов, включая коммуникативные? Ведь при положительном ответе придется в том числе считать, что сам интенциональный объект, будь то смысловая предметность (ноэматический состав сознания) или объект чувственного восприятия, выступающий в языке в качестве референта, никакого влияния на процесс организации потока актов сознания не оказывает. Последнее вряд ли возможно: то, на что направлены акты, имеет свои формы как-данности (профили, рельефы, разные планы и т. д.), которые в значительной мере определяются соответствующими им ноэсами, однако, будучи именно так, а не иначе данными в отдельных ноэсах, эти формы как-данности интенциональных объектов уже и сами влияют тем самым на организацию последовательности актов сознания и на конституируемые в них целокупные ноэмы, а через ноэтические закономерности они оказывают влияние и на организацию соответствующих языковых актов в случае коммуникативного выражения данного интенционального переживания. Скажем, в потоке означивания: *это — черное; если черное, то не белое; это — чернильница* и т. д. появление значения 'чернильница' не связано со значением 'черное': для появления этой ноэмы был необходим дополнительный неязыковой акт восприятия, интенционально (без зависимости от языковых форм соединений актов) сцепленный с предыдущими по объекту интенции. Поясним это грубой иллюстрацией: осмотр *дерева* как целого проходит в том числе и по тому алгоритму, который задан качествами самого дерева как объекта чувственного восприятия, а не только в соответствии с семантическими закономерностями сцеплений актов языкового выражения, в которых параллельно может закрепляться и выражаться результат каждого отдельного акта созерцания. *Любой неаналитический «скачок», точнее, «неаналитическое сцепление» актов при становлении смысла — не может быть только языковой природы* (в противном случае надо будет считать, что связь потока актов сознания с его интенциональным объектом обеспечивает сам язык, т. е. что обеспечивают эту связь те самые формы организации, которые язык вносит в течение актов сознания; язык и сознание в таком случае сливаются в непрозрачно темное «одно»).

Кроме того, алгоритм сцепления в последовательность актов сознания, в том числе и направленных на общий интенциональный объект, определяется не только зависимостью от объекта интенции и от «уже» эксплицированных значений, но и самой интенцией чистого Я: акты могут соединяться в последовательность, синтезироваться, разделяться, налагаться, рефлексироваться, оцениваться, переходить друг в друга, подвергаться негации, аннигилироваться, отстраняться и т. д. в *вольнo-спонтанной интенциональности Я*. Это — зона собственно ноэтической синтактики актов сознания, которая всегда «участвует» в создании высказывания и типологические формы сцепления которой должны для их понимания инсценироваться языковым высказыванием.

Разумеется, далеко не очевидно, что возможен абсолютно ничем, кроме вольной интенции Я, не управляемый, в полном смысле субъективно спонтанный, поток актов сознания. Ведь даже когда нет отрефлексированной и заданной цели (из будущего влекущей акты к себе в определенной последовательности), а значит нет и конституирующих промежуточных и финальных номинаций, когда у сменяющих друг друга актов нет ни единого объекта интенции, ни единой интенции, спонтанный поток сознания тем не менее может быть ведомым (здесь может играть роль многое, начиная от подспудных настроений, физических состояний, напр., испытываемой фоновой боли, и т. п., — и кончая архетипами, «мифологемами» и сферой бессознательного, включая его языковую ипостась, или неосознанным влиянием извне, включая чужое языковое влияние). Нет никаких причин не признавать возможности скрытых бессознательных стимулов и организаторов в «вольном-спонтанном» потоке переживаний, в том числе — неосознанно и скрыто языковых. Не исключено даже, что свободное чувственное восприятие дерева тоже может скрыто управляться некими бессознательными языковыми архетипами, сопровождающими в сознании жизнь лексемы «дерево». В своем движении сознание и язык сущностно переплетены.

Однако в любом случае — и на этом, как представляется, есть причины настаивать — язык не может оцениваться как *единственный* организатор потока актов сознания; вряд ли стоит исключать также и то, что могут существовать и такие потоки актов сознания, где язык абсолютно не действует. Причина симметрична: как язык влияет на поток актов сознания, так и организация последовательности неязыковых актов сознания в свою очередь может влиять на организацию последовательности языковых актов. Не исключено, конечно, что существуют такие последовательности языковых актов, в которых абсолютно выключены закономерности сочетания актов неязыковой природы и действует исключительно сам язык, но, как и в предыдущем допущении, это несердцевинная крайность. Не только по этим крайним зонам, но и в целом ситуации здесь зеркальны: у потока актов сознания есть свои — внеязыковые — «механизмы» сцепления и вместе с тем — существенная зависимость от языка; у потока языковых актов тоже есть свои собственно языковые закономерности сочленения актов (семантические, грамматические, синтаксические), отличные от автономных закономерностей сочленений неязыковых актов сознания, но есть и существенная зависимость от них. Кроме того в обоих случаях наряду с собственными закономерностями, с закономерностями описываемых параллельных сфер, со сцеплениями, диктуемыми интенциональным объектом и/или референтом, а также детерминированными интенцией как таковой, могут действовать универсальные инвариантные структуры, в том числе бессознательные — и чисто смысловые, и языковые.

Из числа неязыковых инстанций, способных влиять на организацию последовательности актов говорения, мы остановимся на ноэтических закономерностях последовательности неязыковых актов сознания, на ноэтической синтактике и на фундаруемом ею ноэтическом смысле.

ГЛАВА 2. НОЭТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ

2. 1. НОЭТИЧЕСКИЙ И НОЭМАТИЧЕСКИЙ СМЫСЛЫ.

§ 30. Вопрос об объеме понятия «смысл». С точки зрения проблемы отношения «смысла» и языка, понятие «непрямое говорение» представляет собой оксюморон. *Непрямое* говорение — значит, есть некий смысл, который выражается лишь косвенно — непрямо; с другой стороны, это *непрямое говорение* — значит, эта косвенная, небуквальная ипостась смысла передается именно и только через говорение, т. е. языковой процесс. В феноменологии непрямого говорения тем самым предполагается наличие некоего «зазора» между языковой плотью выражения и выраженными в нем смыслами, или — *неизоморфности* высказывания и смысла. Гуссерль в частично схожем смысле говорил об *асимметричности*, в этом же ключе — при разных концептуальных обоснованиях — понимали ситуацию и Вяч. Иванов (символизм которого есть одновременно и признание асимметрии, и обоснование специальных форм ее преодоления), и А. Лосев (усматривающий асимметрично-модификационные границы между естественным и эйдетическим языком, заступившим в его концепции место эйдетики и послужившим концептуальным основанием для лосевской версии понимания «непрямоты» естественного языка), и М. Бахтин (подчеркивавший взаимосвязанность языка и предмета его интенции и одновременно «принципиальность границ» смысловой силы языка). Схожей по этому параметру точки зрения придерживаются М. Мерло-Понти, П. Рикер, Ж. Женетт и многие другие. Непрямой смысл имеет прямое отношение к этому по-разному понимаемому «зазору».

Понятно, что любая форма постановки проблемы непрямого смысла всегда будет находиться в зависимости от концептуального толкования смысла как такового. В этой проблемной зоне вряд ли возможен обряд «... тот пусть первый бросит в меня камень»: фактически каждая версия небуквальных форм выражения подразумевает или эксплицирует свои особенности в понимании смысла. Не исключение здесь и феноменология непрямого говорения. Естественно, что коли выше в ней были намечены в качестве общих пространствообразующих ноэтически-ноэматические параметры, то и конкретное наполнение понятия 'смысл' тоже предполагается напрямую увязать с ноэматикой и ноэтикой. Разумеется также, что понятие смысла будет интерпретироваться в направлении его неполной погруженности в семантически высказанное, его принципиальной неизоморфности с ним, а тем самым и в направлении неполной взаимопокрываемости смысла и ноэматики.

Оттолкнемся от противоположной точки зрения. Гипотеза смысла как того, что возникает и существует только посредством языка, всегда в нем или одновременно с ним и его семантикой, влечет за собой — при феноменологическом ракурсе — несколько следствий. Не надо ли будет при этом считать, напр., что смысл связан исключительно с ноэматическим составом, а не с ноэтически-ноэматическими структурами в целом, включая ноэтическую ситуацию, часть которой всегда погружена в невысказываемое подразумеваемое? Не надо ли будет при этом считать также, что ноэтика как таковая полностью выводится при таком понимании за пределы смысла? И значит, все те типы актов сознания, которые не требуют обязательного языкового участия, все те *осознавания*, которые не обязательно используют язык или не обязательно сопровождаются им, но которые могут «косвенно» использоваться языком в своих целях, не содержат в себе смысла?

§ 31. Ноэматический и ноэтический смыслы. Вряд ли может быть предметом оспаривания то, что при экспликации и семантическом облачении

интенциональных объектов и/или ноэм они становятся смыслом высказывания («По улице пробежала собака» или «все тела протяженны»). Назовем эту очевидную форму смысла — вслед за Гуссерлем¹ — «ноэматическим смыслом». Далее однако всплывает череда проблем, связанных с вопросом, покрывает ли — или всегда ли покрывает — собой семантизированный ноэматический смысл полный смысл высказывания в целом.

Отсрочив пока рассмотрение ноэтической стороны дела, отметим, что этот вопрос значим и относительно самой ноэматики, родственно сближенной с языковой семантикой. Что в ноэматике есть законная сфера смысла? Считать ли смыслом только полные ядра ноэм, сконституированные в соответствии с полным — многосоставным по актам и целенаправленным — переживанием интенциональных объектов и семантически означенные? Если — да, то как быть, напр., с тем, что может иметься в сознании в качестве семантически не эксплицированного, но сознаваемого ноэматического элемента конкретного акта чувственного восприятия — того же, в частности, ‘дерева’, которое в аналогичных случаях часто используется Гуссерлем как пример? «Ноэматический состав» в сознании при этом есть², а имени для него нет — смысл ли то, что есть в таких случаях, сознаваемо ли это ‘нечто’? По Гуссерлю — осознаваемо: *«Схватывать значит выхватывать, все воспринимание надделено неким задним планом опытного постижения. Вокруг листа бумаги лежат книги, карандаши, стоит чернильница и т. д., и все это тоже „воспринимается“ мною, все это перцептивно есть здесь, в „поле созерцания“, однако пока я обращаюсь в сторону листа бумаги, они лишены любого, хотя бы и вторичного обращения и схватывания, но не лишены созерцаемости... Они являлись, но не были выхвачены, не были положены для себя. Подобным образом любое восприятие вещи обладает ореолом фоновых созерцаний (или фоновых смотрений, если считать, что в созерцании уже заключается обращенность к предмету), и это тоже „переживание сознания“, или же, короче, „сознание“, это тоже сознание, причем сознание всего того, что на деле заключено в том предметном „заднем плане“, или „фоне“, какой созерцается вместе с созерцаемым в восприятии»* (§ 35). Всё, что осознаваемо в таких случаях, мы предлагаем считать для феноменологии говорения формой смысла³, причем по природе близкой к «ноэматическому».

¹ Понятие «ноэматического смысла» как «ядерного слоя» ноэмы есть и в ЛИ, и, подробнее, в «Идеях 1» (§ 90); ближе всего к имеющему здесь в виду он определен в § 124 — как «ноэматический смысл акта», что подразумевает и некий ‘не ноэматический’ смысл акта (мы уже приводили это значимое место: *«В ноэтическом аспекте рубрикой „выражающее“ будет обозначаться особый слой актов — такой, к какому возможно своеобразно приспособлять и с каким возможно замечательным образом сливать все прочие акты, именно так, что любой ноэматический смысл акта, а стало быть, заключающаяся в таковом сопряженность с предметностью отпечатлется в ноэматическом аспекте выражения „понятийно“ — § 124).*

² Речь идет не о физическом объекте, который, конечно, никак не есть сам-в-себе смысл, а о различных (у одного объекта, как говорит Ж Делез, может быть несколько ноэм) становящихся ноэматических коррелятах этого ‘дерева’ в актах сознания. См. также у Гуссерля: *«Само дерево, вещь природы, не имеет ничего общего с этой восприимчивостью дерева как таковой, каковая как смысл восприятия совершенно неотделима от соответствующего восприятия»,* и далее часто цитируемое: *«Само дерево может сгореть, разложиться на свои химические элементы и т. д. Смысл же — ...не может...»* (§ 89).

³ Тезис об обладании чувственных данных смыслом для феноменологии — в отличие от других направлений — органичен. См., напр., оценку Г. Шпигельберга

Ноэматическим смыслом становится, таким образом, всё, что *осознаваемо*, хотя не все, что осознаваемо (фоновое смотрение и осознание), семантизируется — значит, ноэматический смысл не только то, что облечено в язык. Для гуссерлевых целей (выявления условий истинностных логических высказываний) эти ореолы фоновых созерцаний и сознаваний не значимы, они принципиально отсекаются; для меняющей предмет феноменологии говорения — напротив: они становятся полноправными участниками смысла высказывания, компонентами его частично эксплицируемой, частично подразумеваемой ноэтической ситуации, вне зависимости от того, будут или нет они при этом семантически эксплицированы.

Есть и обратная сторона этой же проблемы: все ли ноэмы облачаются в актах сознания и в коммуникативной речи в семантику, даже если они обладают именами? Допустим, мы находимся в состоянии вспоминания забытого названия какой-то смысловой предметности — названия актуально 'еще' нет в сознании, а смысловая предметность как интенциональный объект вспоминания 'уже' есть — так что же насчет смысла: есть ли он в такой ситуации или нет? Мы можем разгадывать зашифрованные в речи имена, пользоваться непрямыми именами, иносказаниями, намеками, «ассоциативной символикой» и т. д. Это — простые заземленные случаи, формально объяснимые разного рода «игрой» с семантикой. Но этот вопрос может быть поставлен и принципиально: *все ли смысловые предметности или ноэмы могут быть облечены в семантику, быть именованными?* Все ли они обладают такой способностью — быть облачаемыми в семантику языка, и если нет, то являются ли эти именуемые ноэмы (не говорим: «неименуемые смысловые предметности» — только из-за явно проскальзывающего в прилагательном ответа) смыслами? Мы можем быть интенционально направлены на нечто, что не имеет (или для нас «пока», или вообще) семантического обличья — является ли это нечто, в случае, напр., решения некой мыслительной задачи, полностью тем самым не смысловой природы? Не смысловой предметностью? С предлагаемой точки зрения, повторимся, все это — смыслы.

С тем, что у Гуссерля называется «душевными актами» и актами «воления», дело обстоит еще сложнее. Так, если считать, как это принято в ортодоксальной гуссерлевой феноменологии, что всякий акт радости имеет свой интенциональный объект, свою ноэму — а значит, имеет и смысл, то ведь такая ноэма лишь в редких случаях облачается в высказывании в свое прямое семантическое языковое имя, а часто может и вовсе не иметь такового (напр., при каком-либо нестандартном радовании). Имеется ли в сознании при таких актах радости смысл или же то, что имеется тогда в сознании — а в сознании всегда в таких случаях имеется нечто, — иной природы и это «что-то» следует именовать иначе, нежели смысл? То же с оцениванием. Само по себе оценивание — явление ноэтической природы, причем вторично-наслаивающейся: этот акт обычно присоединяется к другим актам, в которых 'уже' могут быть именованные ноэмы. Но могут и не быть: ноэмы первичных актов, фундирующих оценивание, тоже не всегда именованы, да и в случае именованных ноэм первичных актов сама-то ведь оценка, ее смысловое

(Шпигельберг Г. Феноменологическое движение. М., 2002. С. 555): «Для Мерло-Понти не существует таких вещей, как не обладающие смыслом чувственные данные Прайса» (имеется в виду Х. Х. Прайс и его книга «Perception», 1933). В принципе — это вопрос не столько «реальный», сколько стратегически-терминологический: признание наличия или отсутствия смысла у такого рода ощущений (и в сфере телесности в целом) зависит от стратегической нацеленности в толковании термина 'смысл'.

наполнение, может при этом не получать семантически-языкового обличья. Мы можем чувствовать радость по конкретному ноэматическому поводу, никак не привлекая для этого ощущения язык. И аналогично: мы можем чувствовать тональность фразы, не имея на то прямых семантических и вообще языковых указателей. Смыслы ли — ноэмы этой радости и этой оценки?

Последние вопросы выводят ко второй, более существенной стороне дела: признавать ли смыслом только то, что соответствует или близко по положению к ноэматическому составу актов сознания, будучи или не будучи семантически означено, — или ноэсы сами по себе (без ноэм) также могут рассматриваться как смыслы? Понятно, что если ноэса семантизуется ('*печален я...*'), то она фактически становится ноэмой и тем самым входит в никем не оспариваемый «ноэматический» смысл, но если ноэса не переводится в статус эксплицированной и означенной ноэмы, если она не семантизована в высказывании или не семантизуема вовсе — сохраняет ли она статус смысла?

Вопрос не периферийный. В своих разных вариациях он ставится и обсуждается без общего разрешения и во всех версиях феноменологии языка после Гуссерля, и в аналитике, получая в разные стороны расширяемое содержание. Поток актов сознания всегда модально насыщен — являются ли смыслами семантически не означенные модальности выражаемых в языке актов, их тетические характеристики? Поток актов сознания всегда и тонально (эмоционально, ценностно) насыщен. В поток актов сознания всегда в той или иной форме вовлечен «другой». Является ли смыслом «тональность» сознания, его оценочность, его внутренняя расслоенность на свой и чужие «голоса»? Чем являются сами в себе оговоренные выше безъязыковое ощущение радости в сознании и ощущаемая во фразе, но не семантизированная тональность — смыслами или нет? С языковой стороны можно задать схожий вопрос в «простой» форме: является ли смыслом интонация? И при заострении: является ли смыслом ирония? Благоговение? Все ли из этого возможно облечь в семантику, сделав тем самым «ноэматическим смыслом»? Обобщим проблему: *составляют ли смысловые компоненты высказывания сами акты (ноэсы) или смыслом наделяются (обладают, являются) только его ноэмы?*

С точки зрения феноменологии говорения ноэтические аспекты, как понятно, должны быть включены в объем понятия «смысл» (наряду, конечно, с ноэматическими). Считая, что проблема поля применимости понятия «смысл» в значительной степени терминологическая и что настоящие проблемы скрываются за борющимися за спиной этого термина концептуальными направлениями, мы примем чисто терминологическое решение, что здесь — в контексте феноменологии говорения — все будет называться смыслом: и прямо поименованные специально конституированные ноэмы (вроде понятий 'тело' или 'заблуждение' и т. д.), и необлекаемый в семантику ноэматический состав, и безымянные неименуемые ноэмы символов, и вспоминаемые смысловые предметности, и т. д., и — *все то, что несут с собой языковые ноэсы*: модальность, тональность, оценка, чужие «голоса», угадываемые волевые импульсы и т. д. (некоторые концептуальные обоснования этого формального решения будут даваться по ходу дела, в частности, в эгологическом разделе и в параграфах, связанных с тропами).

Вместе с тем очевидно, что эти вовлекаемые нами в ограду смысла явления — иной природы: не семантически-языковой или — в принятых нами терминологических координатах — не ноэматической. Назовем их «*ноэтическими*» — ноэтическим смыслом или ноэтическими компонентами смысла (в придачу, а не в противовес к ноэматическим). Все, что связано с ноэтической сферой сознания, или является или может стать в высказывании

ноэтическим смыслом. Понятие смысла расширяется тем самым, выходясь за пределы семантики: и ноэмы, и ноэсы будут считаться обладающими им вне зависимости от того, получил этот смысл свое семантическое или какое-либо иное языковое обличье или нет. Именно такой смысл — связанный с разного рода ноэтическими моментами и обстоятельствами, получивший опосредованное семантическое выражение или не получивший такового вообще — играет существенную роль в непрямом говорении. Смысл в языке — это все то, что осознаваемо; осознается же и понимается всегда больше, чем выражено семантикой.

§ 32. Заостренные и нейтральные версии ноэтического смысла. Хайдеггер и Бахтин. Существуют как заостренно ноэматические версии смысла (в частности, у Г. Шпета, к концепции которого мы обратимся позже), так и заостренно ноэтические версии.

Ничего принципиально нового, кроме терминологического обозначения, в самой идее ноэтического смысла или ноэтических компонентов смысла нет⁴. Напротив, эта идея была у Гуссерля — в равновесной (или, возможно, чуть сниженной) по сравнению с ноэматикой подаче (подробнее см. Экскурс 3); в значительной же части «корректирующих» Гуссерля неофеноменологических течений модально-тональная (ноэтическая) сторона сознания и смысла часто выдвигается — иногда в противовес именно Гуссерлю — на первый план, отодвигая семантику и ноэматику на вторые роли, и оценивается как если не единоличный, то как фундирующий ноэматику слой смысла.

Один из самых концептуально фундированных, разнообразно оркестрированных и потому громко прозвучавших, голосов против господства ноэматики в области смысла — хайдеггеровский. В работах *М. Хайдеггера* конца 20-х — начала 30-х гг. обосновывалась среди других фундаментальных тем и идея восстановления в смысловых правах ноэтической сферы (в другой, конечно, терминологической и концептуальной обработке), однако амплитуда решительного хайдеггеровского перезахвата и переконфигурации концептуального поля понятия «смысл» для феноменологии говорения не просто излишне широка, она — в конечном счете неплодотворна. Хайдеггер, одновременно с господствующей ноэматикой, широким философским жестом смахнул с феноменологического поля, смешав тем конфигурацию оставшихся, и те феноменологические параметры, которые необходимы для феноменологии говорения на своем исконном месте (подробнее о хайдеггеровском антиноэматическом проекте в соответствующей замыслу феноменологии говорения интерпретации см. Экскурс 4 «Доминирование ноэтического смысла над ноэматическим у *М. Хайдеггера*»). Топография производимого высказыванием инсценирования последовательности актов сознания немислима, в частности, без актовой и интенциональной составляющих и, в целом, без Я-позиции, которая, безусловно, подпадает под влияние модально-экзистенциальных сил (формы этого влияния и составляют интерес феноменологии говорения), но вместе с тем не порождается этими силами, не наследует им в их бессубъектных и безноэмных *праноэсах*. Для феноменологии говорения отказ от смыслового доминирования ноэматики не означает абсолютного доминирования тональной праноэтики и, тем более, абсолютной

⁴ В инотерминологической отдаленной перспективе различие ноэматического и ноэтического смысла имеет — как, по-видимому, понятно — косвенное отношение к проблеме оппозиции аполлонийства и дионисийства (этот разворот темы подробно обсуждается в наст. изд. в статье «Символизм Вяч. Иванова на фоне имяславия»).

«ноэмоктомии»⁵, как — при определенном, разумеется, заострении — проинтерпретирована позиция Хайдеггера в посвященном ему Экскурсе 4.

Могут быть, по всей видимости, отнесены к теориям, акцентирующим ноэтический смысл, и те неофеноменологические версии, в которых на первый план выдвигаются *чувственное восприятие и телесность*. Перцептивный опыт во многом — источник прежде всего ноэтического смысла, так, в частности, понимается ситуация в «Феноменологии восприятия» М. Мерло-Понти⁶. Перцептивная и «телесная» доминанта не заглушает в феноменологии Мерло-Понти интенционального и эгологического мотивов, не мешает языку занимать свое особое место и быть предметом намеченной им «феноменологии говорения»: единичный перцептивный акт, напр., взгляд, *«всегда полагает только одну сторону объекта, хотя при посредстве горизонтов он имеет в виду и все остальные. Он никак не может быть совмещен с моими предшествующими видениями или видениями других людей — для этого потребуется помощь времени и языка»* (там же, 104)⁷.

⁵ См. у Дж. Драммонда в «The Phenomenology of the Noema»: не лучше ли «совершить то, что John Braugh с хирургической точностью назвал 'ноэмоктомией', навсегда удалив из тела нашего феноменологического пациента этот онтологически и эпистемологически бесполезный аппендикс» (цит. по: Мотрошилова, 418).

⁶ «... объективное (в кьеркегоровском смысле) мышление — мышление здравого смысла, мышление науки... в итоге приводит нас к утрате контакта с перцептивным опытом, являясь между тем его следствием и естественным продолжением... Мы не можем удовлетвориться этой альтернативой: либо ничего не включать в субъект, либо ничего не включать в объект. Необходимо отыскать источник объекта в самой сердцевине нашего опыта... Мы увидим, что собственное тело ускользает — в той же науке — от режима, который ему хотят навязать. И поскольку генезис объективного тела — это всего лишь момент в конституировании объекта, покидая объективный мир, тело увлекает за собой интенциональные нити, которые связывают его с его окружением, и в итоге являет нам как воспринимающего субъекта, так и воспринимаемый мир» (Феноменология восприятия. СПб., 1999. С. 106-107). Тема соотношения телесности и смысла разрабатывалась — в своем особом ракурсе — и Бахтиным. См., в частности, из АГ: «Самые смутные органические ощущения как-то вплетены <в> ценностно-смысловой контекст моей жизни, занимают в нем место, начинают значить в нем, и в них я как-то устанавливаю себя по отношению к ценностям, занимаю позицию».

⁷ В аналогичном, как представляется, направлении (в сторону ноэтического смысла) может быть понята и топологическая теория В. Подороги, утверждающего «наличие некоторой реальности, обладающей своей имманентной логикой, которая не сводима к языку»; эта «'до' или 'за' языковая реальность» связывается с «пространственными образами», с «той топологической тоской, которая существует в отечественной культуре и не дает себя нейтрализовать языку, уничтожить... Литературная интерпретация языка идет из пространственных, топологических образов, уже как бы данных, видимых, ощущаемых...»; «в пределах нашей чувственной восприимчивости существует некоторая ее нейтральная модальность, через которую мир впервые входит в нас, где мы не отделены от него, и сколько бы мы ни пытались ее объективировать, она ускользает, ибо она есть нечто большее, чем просто предел чувственности. Через нее поступает вся та информация, которая делает нас живыми организмами, но вместе с тем мы не можем ею распоряжаться по своему усмотрению. Мы в ней, а не она в нас...». (Подорога В. Из Беседы с Жаком Деррида // Жак Деррида в Москве. М., 1993. С. 152 – 153; 176). Вместе с тем общее понимание ситуации здесь отлично от развиваемого Мерло-Понти, в том

Точнее для целей феноменологии говорения оценивают ситуацию, как представляется, те концепции, в которых ноэтика получает более высокий статус, чем в ортодоксальной гуссерлевой феноменологии (за счет, прежде всего, перемещения интереса к нередуцированной живой речи), но в которых пуповина между ноэматикой и ноэтикой, как и в феноменологии Гуссерля, не

числе и по трем интересующим нас параметрам: по включению/выключению интенциональности и эгологии и, третий параметр, по интерпретации языка. Подорога акцентирует параллельно с феноменологическим топологический анализ, оттесняющий интенциональность и эгологию на вторые подсобные или — противоборствующие — роли: *«Топологический анализ телесных практик, отказываясь от опоры на нормативные ценности восприятия, пытается в своем описании того или иного телесного феномена учесть его перцептивную непредопределенность (А. Бергсон), т. е. именно то, что феноменологический субъект не принимает во внимание с самого начала. Феномены тела в таком случае описываются не столько с точки зрения их возможной включенности или невключенности в интенциональный горизонт субъектного сознания, а с точки зрения их имманентного, неинтенционального строения, где функция субъекта сведена к минимуму (Подорога В. А. Феноменология тела. М., 1995. Предисловие). Язык понимается в некоторой степени как агрессивная по отношению к «живому телу» инстанция, поскольку язык всегда объективирует: «Иначе говоря, живое тело существует до того момента, пока в действие не вступает объективирующий дискурс, т.е. набор необходимых высказываний, устанавливающих правила ограниченного существования тела. Это может быть биологический, физический, физиологический, лингвистический, анатомический дискурс; и каждому из них требуется некое идеальное состояние тела, которое не имеет ничего общего с целостными, я бы сказал, "субъективными" переживаниями телесного опыта... Если человеческое тело и обладает редким по своему многообразию собранием степеней свободы, то объективирующие дискурсы ставят своей задачей их ограничивать и упразднять... Более того, оно <тело> полностью находится во власти языка, объективирующего его. Тело, которое не может быть телесно пережито, в сущности, и не может быть телом, подобное тело не существует» (там же). «Мое тело» существует в «хрупком языковом зазоре», образуемом между телесным чувством и всегда «запаздывающим телом Другого». Телесность заранее 'застает' и чувство «я» ('я ощупываю предмет'), и язык для оформления этого телесного чувства: «...мы не только "застаем" язык, мы застаем и наше Я, которое является прежде всего лингвистическим телом <лингвистическое тело, надо понимать, отлично от тела подлинного>. Вот эта тончайшая грань, отделяющая наши внутренние переживания телесного опыта ("Я-чувство") от Я, понимаемого в качестве лингвистического тела, все время стирается: мы все время путаем наше Я, которое производит высказывание, с нашим Я, которое молчит, у которого нет и не может быть дара речи, ибо его форма не определяется лингвистически, поскольку она действительно телесна и не может быть переведена в формальный порядок высказанного».*

Если ориентировать такую позицию относительно нашего контекста, то, поскольку здесь говорится о наличии некоей за-языковой реальности и эта реальность ищется в том числе в литературе, можно было бы ее оценить как своеобразную часть феноменологии непрямого говорения, направленную на преодоление объективирующей агрессии языка (его всегда объективирующего ноэматического семантического смысла). В литературе (Гоголь, Достоевский, Белый, Платонов) язык толкуется Подорогой как «вспомогательное средство» для обнаружения этой за-языковой телесной реальности или как «противник»: в литературе *«не прекращается борьба с языком ради демонстрации ряда особых идей, которые не могут найти адекватного выражения в языке, 'не вписываются в него'».* (Беседа с Жаком Деррида, с. 151, 152).

только не разрывается полностью, но и сохраняет свою значимость, и в которых вместе с ноэтически-актовой акцентированы также интенциональная и эгологическая идеи. К числу таких — относительно равновесных — концепций можно отнести и лосевскую, и ивановскую, и бахтинскую.

В статье «Двуголосие в его соотношении с монологизмом и полифонией» (см. наст. изд.) повышение роли ноэтики в бахтинской концепции описывалось как повышение роли «тональности», ноэматическому же аспекту соответствовала «тематичность». Тональность и тематичность понимались Бахтиным как находящиеся в состоянии неустойчивого, перетягивающего смысл то в одну, то в другую сторону, но в конечном счете все же равновесия (и взаимозависимости). Так, наряду с обычной тематической предикацией в двуголосом слове «действует» тональная предикация, которая может «работать» как в том же направлении, что тематическая, так и в противоречии с нею. Результирующий смысл порождается обеими составляющими, не будучи ясен в своей полноте без какой-либо из них. По Бахтину, такое гипотетическое явление, как тематический (ноэматический) смысл без смысла тонального (ноэтического), в принципе невозможно. Но это у Бахтина обоюдоострая идея: как невозможно безоценочное (нетональное) высказывание, так равно невозможен и исключительно тональный (ноэтический) смысл, хотя бы он и передавался без семантизованного тематического смысла, напр., только через интонацию. Если в концепциях, следующих хайдеггеровскому замыслу, экзистенциальное «настроение» может мыслиться как праоснова — порождающий источник — всякого смысла (см. о 'пранозе' *ужаса* в Экскурсе о Хайдеггере), в результате чего смысл может лишаться своего «синтаксического субъекта»⁸ и вообще «ноэматического» и «эгологического» пластов, выступая в качестве субстанции самого бессубъектно понятого языка, то для Бахтина *тональность всегда эгологической природы* (другое дело, что эгология претерпевает у Бахтина по сравнению с гуссерлевой серьезные преобразования, о чем подробно будет говориться ниже). На место бессубъектного и беспредметного страха Бахтин ставит в ноэтике субъектный и предметный *смех* и — субъектные и предметные *страх, серьезность, благоговение, иронию* и т. д.⁹ Предмет или «герой» (аналог ноэматического состава) никогда не исключается из тональности, напротив: тональность не только всегда «направлена» именно на предмет в любом его понимании, включая такую форму предметности, как «чужая речь», но тональность всегда, по Бахтину, присуща и самому «предмету речи». При чистом интонировании несемантизованных звуков или даже полноценного семантического сочетания, которое перечеркивается интонацией в своем ноэматическом смысле, предмет тоже, по Бахтину, всегда имеется в наличии и всегда тонально насыщен — в подразумеваемом пласте ноэтической ситуации, сопровождающей любое высказывание (предмет в таком случае относится к одному из

⁸ См. в статье Бибикина В. В. «Витгенштейн и Хайдеггер. Один эпизод» («Историко-философский ежегодник. 2003): «субъект-предикатной формы» строго говоря «не существует»; «ясно, что где нет субъект-предикатной формы, там нельзя в этом смысле говорить и о предметах». Оценка Бибикиным бахтинского проекта с позиций хайдеггеровского языкового проекта как снижающего онтологический статус языка точно отражает соотношение между этими двумя проектами (Бибикин В. В. Слово и событие. М., 2001).

⁹ Подробно о смехе и серьезности у Бахтина см. §§ «Разновидности тональности по оси «смех/страх» и «Диапазон тональности»; см. также «Двуголосие в его соотношении с монологизмом и полифонией»; об иронии, благоговении и др. — см. наши комментарии к шестому тому Собр. соч. Бахтина.

несемантизируемых компонентов этой подразумеваемой ноэтической ситуации). Если не бояться терминологических гибридов, то можно сказать, что ноэтически-ноэматические отношения понимаются Бахтиным как амбивалентные: тональность формирует предмет, предмет — тональность. Не ноэма и не ноэса — в истоке языка, а их неизоморфное взаимоналожение.

Подробнее смысл этих бахтинских идей будет обсуждаться в разделах о «тональности», «модальности» и в интересубъективно-эгологическом разделе.

Во всем этом имеются, как кажется, два сложных проблемных узла — тема взаимоотношений бахтинской *тональности* (ее оси смех/серьезность) со специфически языковыми *модальностями* (изображение/рассказ/описание): разновидности ли это одного явления или два разных типа явлений? Мы частично обсудим эту тему в параграфах, связанных с тональностью.

Второй узел — тема соотношения *кругозора* и *окружения*. Это противопоставление имеет отношение к двум темам: к фокусам внимания и их сменам (см. раздел «Фокус внимания») и к эгологии (см. § «Предмет речи как свернутая точка говорения»).

§ 33. Преимущественная феноменологическая локализация ноэтического смысла. Ноэтический смысл часто локализован в ноэтической ситуации. Либо — в текущей, инсценируемой каждым данным фрагментом высказывания и определяемой семантическим, ноэматическим, ценностным, тональным, модальным кругозором и фоном текущих актов говорения. Либо — в фоновой: фоновые ноэтические ситуации имеют типологические свойства, воспроизводимые в разных конкретных случаях: понятно, что при восприятии, напр., политического текста возникает настрой на один предзаданный жанром тип ноэтической ситуации, при восприятии поэтического текста — на принципиально иной. Зная, какой тип жанровой или стилистической ноэтической ситуации должен быть «включен» при восприятии сейчас имеющего начаться высказывания, слушатель и в случае, если два высказывания начинаются с одного и того же слова, «подключится» к разным фоновым ноэтическим ситуациям и ассоциациям (одно дело, если со слова «Послушайте!» начинается политическая речь, и совсем другое — если речь поэтическая).

Детали наполнения и способы влияния ноэтической ситуации на смысл высказывания будут проясняться по ходу дела, здесь лишь подчеркнем обстоятельство, принципиальное для понимания ноэтического смысла: значительная доля смыслов ноэтической ситуации остается в зоне подразумеваемого, т. е. не нуждающегося в выведении на семантическую поверхность высказывания, понятного и без этого. Диапазон такого не требующего семантизации смысла подвижен: начиная от очевидного и осознаваемого и говорящим, и слушающим и кончая неочевидным и не осознаваемым либо говорящим, либо слушающим, либо обоими. Создание непрямого ноэтического смысла опирается на этот невысказываемый диапазон, не прямые высказывания обладают той особенностью, что, используя типологически общие параметры фоновых ноэтических ситуаций, они строят из них характерно единичные текущие ноэтически-ноэматические конфигурации (переводя взгляд на ранее осознанно не усматривавшееся в этой ситуации, показывая с необычной стороны ранее известное, меняя точку освещения ситуации, ее стандартную модальность или тональность, населяя ее новыми голосами и т. д.). Опираясь в этих нестандартных актах выражения на стандартные декорации ноэтической ситуации, ноэтический смысл может оставаться семантически невоплощенным и тем самым непрямым.

§ 34. Семантизированные формы передачи поэтического смысла. Феноменологическая инверсия. С введением понятия поэтических смыслов как элементов подразумеваемой поэтической ситуации или их нестандартной (в случае непрямого смысла) переконфигурации появляется и особая тема — *об отношениях между поэтическим и поэтическим смыслом*, между поэтическим смыслом и семантикой (о формах их сосуществования, слияния, доминирования, разведения, инсценирования, инверсии и т. д.).

Поэтический смысл не отделяется непроницаемой пеленой от семантики и поэтического смысла. Как и поэтический, поэтический смысл может — это уже бегло отмечалось выше — передаваться прямо семантически: в «*Печален я: со мною друга нет*» отдельно семантизированы и тетический характер акта, и его нозма (именно эта принципиальная возможность перевода нозс в нозмы и была зафиксирована Гуссерлем в приеме семантического обособления модальности: «это должно быть так, чтобы X был Y»).

Возможность семантической передачи поэтического смысла опирается на то, что можно назвать *феноменологической инверсией*: то, что во внутреннем пространстве сознания, в его текущей поэтической ситуации является нозсой, в речи может передаваться как нозма акта говорения, становится выражаемой смысловой предметностью. Нозса ‘испытывать печаль’, т. е. акт сознания, транспонируется в то, что для воспринимающего сознания является семантизированной нозмой акта говорения — ‘печален я’; нозма этого акта сознания (‘отсутствие друга’) также передана семантически.

Возможна и обратная инверсия нозм в нозсы, но это особый механизм и особая тема, напрямую связанная с тропами, о чем будет подробно говориться в соответствующем разделе. Но уже и эта стандартная и обычная для языка инверсия нозс в нозмы есть проявление инсценирующей манеры языка в обращении со смыслом. Казалось бы, «*Печален я: со мною друга нет*» — не только полное, но и прямое выражение акта сознания, тем не менее «прямота» (наличие у всех компонентов выражаемого своих компонентов выражения) здесь относительная: она достигается за счет инсценировочного ‘приема’ — увеличения компонентного состава выражения по сравнению с выражаемым (нозма и нозса *одного* акта сознания распределены в высказывании по двум отдельным языковым актам).

§ 35. Несемантизированные формы передачи поэтического смысла. Интонация. Транспонирование (инверсия) поэтического смысла в поэтический путем его семантизации — основной языковой «механизм» его выражения, но далеко не единственный. Имеются — и это для нас представляет особый интерес — *несемантизированные* (и тем самым *непрямые*) формы передачи поэтического смысла. В качестве простой иллюстрации приведем модификацию того же пушкинского примера: легко представить, что вместо его полной формы прозвучит только вторая часть «*Со мною друга нет*», тем не менее тетический характер выражаемого акта (‘акта печали’) и здесь тоже может быть передан и воспринят — через интонацию. *Интонация* — иллюстративно-показательная форма из широкого арсенала несемантических языковых форм выражения поэтического смысла, т. е. модальности, тональности, оценки, волеия и других тетических характеристик акта сознания. При этом — форма настолько сильная, что она может в смысловом отношении «перебороть» прямую семантику: то же сочетание ‘*со мною друга нет*’ или словосочетание ‘*он умер*’ (бахтинский пример) могут быть сказаны и с горестной, и с нейтрально-констатирующей, и с радостной интонацией: ни одна из них не меняет поэтическую фактичность (именованность) выражаемого — его поэтический смысл, но

принципиально изменяет ноэтические характеристики выражаемого акта, *а тем самым меняет и смысл высказывания*. Понятно, как это происходит: интонация действует в качестве вторичного наслаивающегося акта, вместе же с наслаиванием новой ноэсы с другим тетическим характером меняется и смысл фразы: с (условно) 'горестного' по собственно семантическому составу фразы и стандартной для нее ноэтической ситуации восприятия (или — с 'нейтральной') — на 'радостную' и пр. Это изменение смысла осуществляется при сохранении того же ноэматического (семантического) смысла. С некоторым опережением можно сказать, что *ноэтический смысл, будь он семантически выражен или нет, может оказываться значимей ноэматического смысла*.

Существенный момент здесь в том, что интонирование ноэматического смысла (семантического состава речи) может быть любым, но оно *должно быть* — аналогично тому, как при любой ноэме всегда есть ноэса (нейтральная интонация — тоже интонация, тоже оценка, тоже модальность). Но и обратное — что важно для понимания непрямого говорения — тоже верно: как при любой ноэсе есть ноэма, так у любой интонации есть собственный ноэматический состав, «смысл». Этот смысл может быть связан с семантическим наполнением речи, как в случаях, типа 'он умер', где интонация относится именно к семантике фразы, даже если она радостная, а может быть и никак не связан с семантическим наполнением фразы: он может передаваться поверх, сквозь и независимо от семантики (опираясь на подразумеваемую часть ноэтической ситуации). Так происходит, в частности, в известном (оговаривавшемся Бахтиным) примере из Достоевского, где мужики, по-разному интонируя *одно и то же* непубличное выражение, передают *разный* смысл. Каждый раз они инсценируют при одной и той же семантике фразы разные — в соответствии с интонацией — акты с разными коррелятивными им ноэтическими смыслами и ноэтическими ситуациями. Эти разные смыслы не получают семантического облачения, а иногда — и не могут его иметь. Семантика языка в данном случае — лишь «материальный носитель» интонации (Бахтин) и смысла ноэсы, а не ее ноэма. Эта функционально аналогичная музыкальной «фразе» разновидность инсценировки, при которой семантика привлекается как посторонний сподручный материал, не имеющий отношения к выражаемому ноэтическому смыслу, иллюстрирует само существо концепта «ноэтический смысл», преимущественно не получающего прямого семантического выражения. Вместе с тем она отчетливо эксплицирует одну из самых остро обсуждаемых и по-разному концептуально разрешаемых проблем в области смысла — проблему *соотношения семантики и тональности сознания*.

2. 2. НОЭТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ И ТРОПОЛОГИЯ.

§ 36. Статус не прямых ноэтических смыслов и тропология.

Тропология, естественно, мыслится феноменологией говорения как один из главных поставщиков непрямого смысла в языке. Но на пути такого понимания встает вопрос, действительно ли то, что непрямо выражается в тропах, является «смыслом»? Вопрос не праздный: не только скептически относящиеся к смысловой силе тропов, но и высоко их оценивающие авторы с опаской применяют к ним слово «смысл». Так, в метафоре может усматриваться случай непривычного использования известных слов и считаться, что она не несет в себе никакого «*когнитивного содержания, которое автор хочет передать, а*

получатель должен уловить»¹⁰, из чего можно заключить, что смысл понимается как сугубо когнитивное, связанное с мыслью (с *cogito*), явление. При такой постановке вопроса получается, что утверждаемый нами «ноэтический смысл», который к тому же мыслится как не всегда семантически облекаемый, смыслом не является, ибо не когнитивен.

В качестве смысла в таких версиях понимается то, что семантизировано или, в мягком варианте, семантизуемо при перефразировании — то, следовательно, что прямо выражимо в языке. Имеющиеся вариации этой точки зрения часто дифференцируются в зависимости от состава того, что исключается из смысла: если, в частности, Г. Шпет отсекал от смысла только то, что считал экспрессией, тропы же оценивал при этом как потенциально способные возрасти до особых логических форм смысла, то другие авторы отсекают от смысла и тропы¹¹. К метафоре принято, для подтверждения ее необладания собственным смыслом, применять прием перефразирования: считается, что все когнитивное и потому являющееся смыслом не может не поддаться перефразированию. Метафора перефразированию — по общему признанию — не поддается, значит — она лишена когнитивного смысла.

Иногда это понимание доводится до сильного утверждения, фактически постулата, покрывающего всю сферу тропов, согласно которому в метафоре, напр., по Дэвидсону, нет никакого собственного — отдельного от буквального — смысла: *«Я согласен с точкой зрения, что метафору нельзя перефразировать, но думаю, что это происходит не потому, что метафоры добавляют что-нибудь совершенно новое к буквальному выражению, а потому, что просто нечего перефразировать»; «метафора не сообщает ничего, помимо своего буквального смысла». («Что означают метафоры?», выше цит., с. 174).* Те теоретики, говорит Дэвидсон, которые стремятся приписать метафоре некоторый особый (не-буквальный) смысл, *«выдают за метод расшифровки скрытого содержания метафоры то воздействие, которое она оказывает на нас. Их ошибка состоит в том, чтобы делать упор на содержании мыслей, которые вызывает метафора, и вкладывать это содержание в саму метафору».* (Там же, с. 189).

Парадоксальная идея. Да, конечно, смысл не «в самой метафоре», а в тех ноэтически-ноэматических структурах и ноэтических ситуациях сознания, с которыми она связана, в том числе с теми, которые она индуцирует и инсценирует. *Но разве в этом отношении метафора чем-нибудь отличается от неметафорической речи? Разве тот смысл, который передается разворачивающейся сейчас перед глазами читателя фразы, находится в самой фразе? А не в сознании пишущего и читающего? Со всей серьезностью: где еще, кроме сознания, может находиться или вспыхивать смысл — то, что, по определению самого когнитивного подхода, связано с мыслью? В вещах? В*

¹⁰ Дэвидсон Д. Что означают метафоры // Теория метафоры. М., 1990. С. 173-193.

¹¹ См. емкое описание этой позиции у Ж. Женетта: *«В наши дни буквальность языка представляется как подлинная сущность поэзии, и ничто так не противоречит подобному ее восприятию, как идея возможного толкования текста, допущение какого-либо зазора между буквой и смыслом... Так же воспринимается и знаменитая гневная реплика Бретона по поводу чьей-то перифразы Сен-Поля-Ру: 'Нет, сударь, Сен-Поль-Ру ничего не хотел сказать. Если бы он хотел, то и сказал бы'... Бретон пишет: 'Роса с кошачьей головой качалась', — под этим он понимает, что у росы кошачья голова и что она качалась. Элюар пишет: 'Кружащееся солнце блещет под корой', и он хочет сказать, что кружащееся солнце блещет под корой»* (Фигуры. Т. 1. С. 205).

сущностях? В языке? В тексте? Что вообще может означать то распространенное, но, как представляется, таинственное положение, что смысл находится в самой речи, в предложении, в тексте?

Точнее, впрочем, было бы сказать, что это не «таинственное», а метафорическое (или опирающееся на какой-либо другой троп) положение, неожиданное в устах адептов позиции, отрицающей в метафоре наличие смысла, выходящего за рамки буквальная семантики. Ведь что на деле, скорее всего, имеется в виду? То, что высказывание «смысл находится в самом тексте» вызовет в читателе то содержание, что смысл, который сейчас в нем возникает, *индуцирован* именно текстом (а не, скажем, создателем этого текста, ситуацией, психологическим состоянием воспринимающего, атмосферными влияниями, внутренним голосом и пр. и пр.). Вряд ли ведь под этой научной — т. е. по строгому самоограничению ‘нетропированной’ — фразой имеется в виду буквальное: что этот смысл находится в тексте, а слушающий/читающий его там — в тексте — извне и наблюдает, подобно тому, как видят снег за окном. Положим, понятно, как можно извне наблюдать чувственно воспринимаемое — в том числе знаковое, но любое понимание этого извне наблюдаемого, а не просто наблюдение уже есть наделение его смыслом или реанимация его смысла изнутри наблюдающего сознания. Самый что ни на есть логический смысл ($2 \times 2 = 4$) тоже не в тексте этой формулы, а в сознании. Чем же этот логический смысл отличается тогда от метафорического: оба есть то содержание, которое *вызывает* в сознании, воздействуя на него, определенный текст. По этой логике получается, что смысл фразы «*все тела протяженны*» мы можем понимать как содержащийся в самой фразе, а смысл фразы «*земля — космический корабль*» (показательный пример метафоры у Анкерсмита) мы должны понимать как порождаемый под воздействием этой фразы самими нами в себе и как затем ошибочно вкладываемый в саму фразу (если считаем метафору имеющей смысл), или — не вкладываемый (если считаем метафору своего смысла не имеющей) и, соответственно, должны считать эту фразу лишенной непрямого метафорического смысла.

Разумеется, мы заострили проблему, и понятно, конечно, что на самом деле подразумевается или таится за этими метафорическими положениями: имеется в виду семантика в ее аналитических потенциях. Смысл ‘протяженность’ находится в понятии ‘тело’, а значит — через синекдоху — смысл ‘протяженность’ находится в смысловом составе слова ‘тело’, а потому и — через метафорический перенос — в содержащем это слово тексте. Вероятный стимул для понимания смысла как содержащегося в самом тексте — стремление отсечь от смысла высказывания авторскую интенцию с тем, чтобы гарантировать освобождение смысла от субъективности и психологии вообще (как автора, так и читателя), но вместе с авторской интенцией (целенаправленно или нет) отсекаются интенциональность и актовость процесса понимания в воспринимающем сознании. Ведь если снять синекдоху и метафору, то обнажится, что и аналитический смысл находится не в тексте, а в сознании (как ни крути, без сознания и его интенционально нацеленных актов при толковании понятия «смысл» не обойтись, если, конечно, заранее не быть готовым на его сближение с платоновскими идеями). Даже когда Гуссерль, которого часто записывают в круг вдохновителей такого подхода, настаивал на такой экстравагантной вещи, как «предложение в себе», он отнюдь не имел в виду, что смысл таких предложений находится в них безотносительно к сознанию вообще, а только то, что смысл «предложений в себе» понятен (осваиваем) любому сознанию без обращения к ситуации общения и к особенностям сознаний говорящего и слушающего. Так что

положение «смысл находится в тексте» — это метафорическая перелицовка обычного традиционного аналитизма, не более того. Это — научная форма стандартной стилистической игры языковой двусмысленностью, фундируемой гибридными смешениями ноэтических и ноэматических сторон в сфере семантики.

Если иметь в виду эту аналитическую подоплеку, становится понятно и объяснение Дэвидсоном метафоры. При толковании смысла как только того, что находится и извлекается из самого текста, имеется в виду «узкая», аналитическая по своему генезису концепция смысла, связывающая смысл исключительно с семантикой и ее прямыми значениями — в качестве гарантии невовлекаемости в дебри субъективности. В таких целевых рамках, замкнутых на аналитическую семантику, понимание метафоры как самой смысла не содержащей закономерно. Дэвидсон в этих терминах и фиксирует ситуацию: метафора «*пользуется в дополнение к обычным языковым механизмам несемантическими ресурсами*» (173). Да, действительно: ноэтические способы создания и передачи не прямых смыслов, к которым принадлежит и метафора, — это «несемантические» ресурсы, но от этого передаваемое с их помощью не теряет смысловой природы в широком значении этого понятия: смысл — это все то, что осознается, безотносительно к тому, облечено оно или нет в языковую семантику: все то, что индуцируется, инсценируется, протекает, порождается, воспринимается и, главное, понимается сознанием. Такой смысл тоже не погружается при этом в пучину субъективности: опирающийся на общие закономерности ноэтической ситуации сознания, порождаемой использованной во фразе прямой семантикой, не прямой смысл метафоры, как и смысл гуссерлевых «предложений в себе», понятен (осваиваем любым сознанием одинаково) без обращения к ситуации общения и к особенностям сознаний говорящего и слушающего. Возьмем, напр., двойной с наращиванием ноэсы смысл одного из словосочетаний в строчках Мандельштама: «*Слепая ласточка в чертог теней вернется / На крыльях срезанных, с прозрачными играть*». «На крыльях срезанных» несет в себе двойной смысл с наращиванием: здесь и прямая зрительная образность (образ того момента полета ласточки, когда она летит как бы без крыльев), и метафорически наращенная вторая ноэса, родом из первой строки (*забыл слово — ослепшая ласточка — ласточка со срезанными крыльями*). Все это понятно без всякого обращения к ситуации общения или к особенностям сознания говорящего и слушающего.

Смысл и семантику поэтому стоит трактовать не как тождественные категории, а как понятия, находящиеся в родо-видовых отношениях: *смысл шире и больше прямой семантики*. Смысл больше и *когнитивности*, также включая ее в себя как видовое понятие.

Для феноменологии говорения смысл в качестве родового понятия важен, таким образом, и в плане своего неполного совпадения, а потому и возможности противопоставления «значению» (семантике), и в плане своего непротивопоставления экспрессии, оценке, тональности, голосу и т. д. — всему тому, что, как и прямые значения, может функционировать в речи безотносительно к субъективным коннотациям — в качестве «общезначимых» не прямых компонентов смысла порождаемой высказыванием подразумеваемой «ноэтической ситуации».

§ 37. Смысл и значение. Гуссерль и Деррида. Феноменологическое содержание предполагаемой родо-видовой развилки между смыслом и семантикой можно проиллюстрировать, как уже говорилось, по «Идеям 1». Номинация, т. е. акт *семантической* экспликации ноэмы, понималась

Гуссерлем (даже на уровне внекоммуникативного логоса) как вторичная и «непродуктивная» по отношению к конституированию *смысловой предметности*; наделение смыслом направлено от соответствующего акта к языковому значению (семантике) и далее — к чувственному знаку, а не наоборот, т. е. не от значения как якобы абсолютной формы смысла к ноэме и смысловой предметности сознания. Именно при толковании вектора этого направления по второму варианту от смысла обычно отсекается все, что не есть семантика; в перспективе этот вектор выводит к слиянию смысла как мысли и языка как семантики. В гуссерлевой феноменологии языковая семантика (сфера прямых значений) понимается как способствующая смыслостановлению в качестве субстанциального сопровождения этого процесса, в качестве идеальной фиксации его осуществленного результата, но не как являющаяся самим смыслостановлением и самим смыслом в его полной родовой сущности.

Ж. Деррида толкует этот аспект гуссерлевой феноменологии аналогично: *«...смысловой аспект языка, его смысловой и нематериальный аспект, который можно было бы назвать оживленным «собственным телом» (Leib) языка, выводится <Гуссерлем> из игры. Так как для Гуссерля выражение предполагает интенцию значения..., его сущностным условием, следовательно, является чистый <т. е., как надо, видимо, понимать, неязыковой> акт оживляющей интенции, а не тело <не семантика языка>, к которому она таинственным образом присоединяется и дает жизнь»*¹². Но при этом Деррида оценивает ситуацию иначе: Гуссерль необоснованно, говорит он, *«предоставил себе право диссоциировать»* это *«загадочное единство одушевляющей интенции и одушевленной материи»*, откладывая, *«похоже, навсегда, проблему единства двух аспектов»*.

Здесь — одно из отчетливых проявлений корня разногласий, о котором мы уже говорили в конце раздела об элементах непрямого говорения у Гуссерля: Деррида — «за» единство акта «оживляющей интенции» и языка, Гуссерль же их, действительно, разделял. Содержание этого спора, подхваченного многими голосами, настолько разрослось тематически и утончилось нюансировками, что входить в его детали равнозначно вхождению в лабиринт без надежды на скорое возвращение. Мы вытянем только одну интересующую нас здесь ниточку этого спора — проблему соотношения смысла и семантики, обострив ради отчетливости ее границы.

И здесь Деррида интерпретирует гуссерлево понимание этой проблемы схожим образом, толкуя смысл как связываемый Гуссерлем с ноэматической стороной, а значение или семантику — как связываемые с актами выражения и речью как ноэтикой: *«Эта проблема, конечно, всегда ставилась, особенно в начале шестого логического исследования. Но пути, которые к ней ведут, здесь <в «Идеях 1»> различны не только в силу самых общих оснований (подход к открыто трансцендентальной проблеме, обращение к понятию ноэмы, признанное главенство ноэтико-ноэматической структуры), но особенно благодаря различию, которое вводится между тем для объединения понятий Sinn и Bedeutung. Не то чтобы Гуссерль теперь признавал различие, предложенное Фреге, которое он опроверг в Исследованиях 6, он просто находит его пригодным, чтобы приберечь термины bedeuten – Bedeutung для уровня выражающего значения, для речи в строгом смысле <т. е. для отнесения значения только к языковой сфере> и чтобы расширить понятие*

¹² Деррида Ж. Голос и феномен (раздел «Форма и значение, замечание по поводу феноменологии языка»).

смысла (*Sinn*) до всей ноэматической стороны опыта, связанного с выражением или нет». Деррида фактически констатирует, таким образом, что в ноэматике Гуссерль признавал наличие и языкового (семантического), и не семантического (ноэтического) смысла: здесь, в зоне интерферирующего слияния языкового и неязыкового, у Гуссерля действует именно смысл, а не значение, последнее действует только в языковых актах, в речи.

Но и в этом случае, точно и емко реконструируя гуссерлево разведение смысла и значения, Деррида не соглашается с ним. В «Голосе, который хранит молчание» (это раздел 6 «Голоса и феномена») Деррида оспаривает гуссерлев «предвыразительный» — т. е. предъязыковой, внеязыковой — слой смысла и гуссерлево разведение актов выражения и коммуникативных актов (актов извещения). В общем смысле Деррида сближает голос через языковые значения с сознанием в целом, толкуя второе как невысказанное без первого. *«Именно всеобщность, говорит Деррида, — de jure и в силу своей структуры диктует то, что никакое сознание невозможно без голоса»*. Надо думать, что в этом тезисе имеется в виду та гуссерлева «всеобщность» значения, о которой мы уже говорили, а тогда Деррида фактически надо понимать так, что никакое сознание невозможно без языковых значений. Сознание возникает и существует как самоотношение, субстанцией которого является извне «приходящий» или «пришедший» язык. Или иначе: язык — само бытие сознания: *«Голос есть бытие, которое обнаруживает свое самоприсутствие в форме всеобщности, как со-знание»*. Острый вывод, что *«голос есть сознание»*, допускает у Деррида свое преобразование в форму «сознание есть голос» или, как сказано у Деррида в другом месте, *«сознание есть речь»*, гесп. — смысл есть язык. Всеобщие значения порождают сознание как форму самоотношения, самоотношение же есть то, что порождает трансцендентальное Я. Без языка, следовательно, невозможно самоотношение, а значит, без языка невозможно — и сознание как таковое, и чистое Я как участник самоотношения. Основанность сознания на самоотношении и других типах отношений *«в корне предотвращает»*, говорит Деррида, ту редукцию языка, которую Гуссерль полагал возможной, а значит, самоотношение в корне предотвращает, по Деррида, и ноэтические не прямые смыслы.

Среди различных толкований этого несогласия Деррида с Гуссерлем есть и такое, которое хорошо ложится на разворот этой темы в нашем контексте. В качестве общего вывода к своей оценке гуссерлевых описаний процессов ноэтически-ноэматических стяжений и опущений Деррида предлагает следующие интерпретирующие формулировки гуссерлевой идеи — общую: *смыслу не нужно сопровождаться речью для того, чтобы быть тем, что он есть, речь же способна только как-то повторять или репродуцировать смысл*, и частную: *как только протяжение смысла превзойдет протяжение значения, речь всегда будет искажать смысл* (имеется в виду, в частности, стяжение, когда ноэсы имплантированы внутрь ноэматического состава фразы).

Не будем здесь вдаваться в общий вывод, обратимся к частному. Да, Гуссерль говорил о сущностной двусмысленности языка и его склонности искажать смысл, но он говорил не вообще, а именно о двусмысленности языка по отношению к ноэтической и ноэматической сторонам смысла — о гибридной сращенности этих сторон в семантике языка и, соответственно, о необходимости — в целях преодоления искажений смысла — всякий раз осознавать, к какой из этих сторон примыкает выражение. Дело здесь не в большей *протяженности* смысла и не в необходимости соответствия ему протяженности речи, Гуссерль говорил о другом параметре — о поэлементной

и синтаксической *несимметричности* смыслов сознания и семантики языка. 'Протяжение языковых значений' может быть длительней и многосоставней протяжения смысла — и не выразить его; и наоборот: 'протяжение языковых значений' может быть короче — и выразить смысл (что можно видеть на примере анализа начала бунинской «Сказки о козе» в параграфе про «опущения»). Нельзя забывать и того, что Гуссерль — эксплицируя и обосновывая всё это — искал в противовес «двусмысленности» языка форм полного и прямого выражения *не для живой речи*, а для логических значений, направленных на выражение априорной истинности, вне всякой их связи с коммуникативностью. У Деррида же речь, насколько можно судить, идет, как и в феноменологии говорения, именно о живом языке. Распространять суждения Гуссерля о логических значениях и эйдетических выражениях на живую речь все равно, что распространять на поэзию формальные законы, напр., арифметической речи. Ведь когда Гуссерль приводит в пример «Карета! Гости!», он никак не имеет при этом в виду, что живая речь здесь не адекватна смыслу и что эти восклицания в целях достижения адекватного выражения смысла необходимо в речи всегда 'продлевать', восстанавливая все обстояние ситуации (по типу: *Гостей долго ждали. Въехала карета, кто-то воскликнул, что, наверное, это они, гости.*'). Гуссерлевы реконструкции стяжений и опущений в логической речи — не перефразирование литературоведения, а логические процедуры. Относительно живой речи Гуссерль считал, что хотя между смыслом и значением принципиально нет изоморфности, речь тем не менее может выражать смысл адекватно — причем не столько вопреки неизоморфности, сколько ее же силами. Нельзя забывать и того, что, ища пути в противовес «двусмысленности» языка к формам полного и прямого выражения, Гуссерль недвусмысленно высказался в конце рассуждений на эту тему и насчет того, что двусмысленность — не помеха для живого языка, поскольку он всегда может применить непрямые формы для передачи смысла, выходящего за рамки всеобщих значений и опирающегося на подразумеваемую поэтическую ситуацию высказывания.

§ 38. Ноэма и имя. Функциональный аргумент 'за' разделение смысла и семантики. В качестве аргумента в пользу того, что ноэма и ее эксплицированное имя, а значит, в некотором отношении, смысл и семантика — это не 'одно и то же' (что сознание *не* «есть речь», resp. — смысл не есть язык), можно привести функциональное сравнение сферы актов сознания и языка. В живой речи ноэма и ее языковое имя, которые были соединены в акте номинации при логическом выражении, могут быть в любой момент разведены без смысловых потерь, в то время как ноэма и ноэса акта сознания разведены быть не могут вследствие их всегда только совместного, по образу двух сторон монеты, существования. *Высказывание может разводиться в речи ноэсу и ноэму одного акта именно потому, что оно может разводиться имя (семантику) и ноэму (смысл), т. е. именно потому, что они разводимы и раздельны.* Другая сторона того же: именно потому, что высказывание может разводиться ноэсу и ноэму одного акта, оно может адекватно выразить смысл.

О том, что имя и ноэма действительно могут быть разведены живой речью в любой момент, свидетельствуют не только тропы, но и, собственно говоря, любая загадка или даже любой фразеологизм. Можно, конечно, возразить, что это разведение условное, что, напр., в метонимии исходное имя остается тем же, пусть и не называемым, но подразумеваемым, и что поэтому это имя 'в действительности' не разводится со своей смысловой предметностью. В метонимии, как по сути *не протяженном* синтаксическом тропе, не требующем переконфигурации ноэс и ноэм, наверное, так и есть (хотя факт разведения,

пусть и условного, тем не менее и здесь налицо). Но не прямое говорение ведь может пониматься и без того, чтобы при этом активировалось опускаемое имя. Непрямое говорение вообще может передавать такой смысл, который не имеет 'за' собой прямого имени, т. е. передавать смысл, в принципе не поддающийся облачению в семантику.

§ 39. Вопрос о необлекаемых в семантику смыслах. Случай их «символической неименующей референции». В противоположность описанной выше позиции, согласно которой считается, что невозможность дать или восстановить при перефразировании прямое семантическое облачение имеющему в виду смыслу — это сигнал отсутствия во фразе какого-либо дополнительного (непрямого) смысла или что (оборотная сторона той же идеи) в метафоре, напр., выражается именно то, что в ней семантически (буквально) выражено, здесь — как уже понятно — принимается другая известная версия, согласно которой возможны смыслы, которые никогда не могут получить прямого семантического облачения или прямого выражения, но которые тем не менее остаются смыслами и остаются сообщимыми — через не прямое говорение (через фигуры и тропы, иронию, пародию, двуголосие, антиномические конструкции и т. д.)¹³. Идея в том, что — да, не прямые смыслы не могут становиться предметом прямой семантической экспликации и номинации, но это не лишает их статуса смысла, поскольку они и в такой ипостаси могут быть выражены как непосредственные участники подразумеваемой нозтической ситуации. Так, при разборе двуголосых конструкций мы видели, что смысловой эффект от наложения двух голосов не может быть выражен в одноголосом сколь бы то ни было развернутом перефразировании без ущерба — эта разновидность неподдающегося семантизации смысла чисто нозтической природы (получаемой от наложения двух разных голосов на одну и ту же семантическую конструкцию).

При описании символических конструкций Вяч. Иванова мы видели особую языковую стратегию, направленную на погашение именовательных потенций языка, фактически — на погашение семантического смысла и на превращение семантики из непосредственного «дома смысла» в средство передачи не прямых смыслов нозтической ситуации. Напомним: в ивановских антиномических конструкциях у их «референтов» нет (и не может быть) исходного прямого имени; более того — в них намеренно гасятся именовательные потенции всей использованной лексической семантики. При такой символически-непрямой стратегии между собой сочленяются только нозсы (раньше это обозначалось нами как «чередование и мена предикатов без объективированных гнезд»), и эта скрещенная комбинаторика нозс создает эффект осознания (понимания) семантически не именуемого смысла, не только способного входить в «общую» подразумеваемую нозтическую ситуацию, но способного занимать в ней центральное место интенционального объекта.

Тонкость при выражении и передаче «сквозь» семантику не имеющих прямого семантического облачения смыслов в том, что хотя форма языковой передачи такого рода поставляемых в позицию интенционального объекта не прямых смыслов синтаксическая (*синтактико-нозтическая*), сами эти смыслы схватываются и осознаются на пересечении нозтических трасс в

¹³ Эта позиция поддерживается многими, в частности, П. Рикером, говорящим фактически то же — с той, правда, разницей (причины которой не место здесь определять), что в качестве несемантизуемого, не поддающегося «непосредственному выражению», но — только косвенному, понимается не 'смысл', как предлагается здесь, а некоторые «аспекты нашего бытия-в-мире» (Время и рассказ. Т. 1. М.-СПб., 2000. С. 98).

качестве интенционального объекта фразы, получая тем самым статус *ноэматического* смысла и — в пределе — «референта». В точке скрещения по-особому соотносимых между собой семантизованных ноэс (антонимов и голосов) вспыхивает для понимания семантически необлаченный ноэматический смысл — это не именуемое выражение ноэматического смысла, а его «*косвенный показ*» через «монтаж ноэс» (разновидность инсценировки). У Вяч. Иванова это описывается как случай *символической неименующей референции*, когда *что* речи (несемантизуемый интенциональный объект или ноэма) инсценируется через сочленение разных *как* (ноэс): ноэма или интенциональный объект вспыхивают как осознаваемый смысл на скрещении лучей этих разных *как*. Так, в ивановских строчках «*ложь истины твоей змеиной или истина змеиной лжи*» их символический смысл-референт осознается (понимается), оставаясь при этом и не семантизованным, и несемантизуемым в принципе — и необъективируемым. Высказывание здесь одновременно и семантически говорит, и несемантически инсценирует понимание ноэматического смысла. Референциальная направленность высказывания в антиномических конструкциях как минимум раздвоена или (что то же) — два референциальных луча от разных ноэс наложены друг на друга. В терминах феноменологии это значит, что в таких случаях внутренне расщепляется единая интенция, но за счет антиномического контраста расщепивших ее ноэс она тем не менее сохраняет референциальную силу, сохраняет ноэматическое «зрение» (в статье «Антиномический принцип Вяч. Иванова» можно найти описание и других способов неименующей символической референции).

§ 40. Случай наслаивания разнотипных ноэс. Наслоение ноэс свойственно не только символической референции, направленной на не имеющие семантического облика ноэмы, но и несимволическим тропам. Тропы часто определяют как чувственные транспозиции — приписывание чувственных качеств, свойственных одному типу ощущений, другим по типу чувственности ощущениям — напр., приписывание зрительных свойств осязательным или звуковым ощущениям. Так, в частности, интерпретируется известный пример из Пруста: «*овальное и позолоченное*» *позвякивание колокольчика садовой калитки*¹⁴. В терминологии феноменологии говорения это даваемое через понятие транспозиции объяснение ‘овального позвякивания колокольчика’ можно было бы сформулировать как *перенос зрительной ноэсы на слуховую ноэму*.

Однако ситуация сложнее и гораздо интереснее: здесь следовало бы говорить не о переносе, а о *наслаивании* зрительной и слуховой ноэс. Ведь здесь не только перераспределение ноэс, здесь — объемное ноэтическое изображение: когда колокольчик позвякивает, это не только слышимо, но и видимо — колокольчик подрагивает, будучи при этом овальным и позолоченным¹⁵. Наслоение зрительного и слухового дает объемное изображение и выражает особый смысл, ускользающий от возможной ноэтически однотипной нарративной перефразировки вроде: «позолоченный и овальный колокольчик садовой калитки позвякивал». Объемная ноэтическая

¹⁴ Женетт Ж. Фигуры. Т. 2. С. 37.

¹⁵ Здесь намечена вполне определенная подразумеваемая ноэтическая ситуация непосредственного чувственного восприятия; если же наблюдатель вдали и не видит звенящего колокольчика, он и не назовет его позвякивание овальным. Но и он тоже может назвать его не только тихим или приглушенным, но и ‘стрекозиным’ или ‘чайным’ позвякиванием, и это тоже будет наложение двух ноэс — но двух разных слуховых ноэс при опущении одной из ноэм.

изобразительность, порождаемая наложением разнотипных нозс, не семантизуема в прямом логическом виде, естественная природная взаимосвязь зрения и слуха выражена здесь непрямо — через наложение разнотипных нозс на одну нозму (колокольчик)¹⁶.

Взаимонаслоения нозс характерны не только для чувственных восприятий, но и для ментальных движений сознания (Гуссерлем описывались схожего рода наложения разнотипных нозс в потоке актов чистого сознания). В самом простом случае речь может здесь идти о *взаимном наслаивании осмысления и оценивания* — точнее же: о естественной сращенности того и другого (аналогичной естественной сращенности зрения и слуха в восприятии овального позвякивания колокольчика). «Безоценочного высказывания» создать нельзя — мыслится ли оно таковым или нет. Кроме сращенности осмысления и оценивания можно говорить о *сращенности осмысления с оглядкой на другого*: слово другого всегда стоит рядом и наслаивает на наше слово свои обертоны (подробно об этом в эгологическом разделе).

§ 41. Опускание нозм, метафора и символ. Семантическое опускание нозс — явление, как мы видели, не просто распространенное, но входящее в естество языка. А как обстоят дела с гипотетически возможным — по параллельной аналогии — *опусканием нозм*?

Если вспомнить описанный ранее антиномический принцип Вяч. Иванова, именно такого рода случаи имелись в виду под стратегией «жертвования именованием». Как отправную точку возьмем поэтому предположение, что в символических высказываниях и тропах происходит нечто аналогичное опусканию нозм. Тогда можно говорить о нозтически-нозматических особенностях разных форм употребления языка: если опускание нозс — стандартная стратегия языка, то *опускание нозм* — его особые стратегии (*тропы и фигуры*).

Когда и если процессу «опускания» подвергаются нозмы, «работа» означивания (наделения смыслом, в определенном ракурсе и — референции) ложится в основном на плечи нозс: возможность косвенно усмотреть опущенную нозму дают их особые конфигурации (если же эта нозма не была сама финальной целью высказывания, то за ней в свою очередь может просматриваться и «референт»). В таких языковых случаях игра и инсценированные конфигурация нозтических (модальных, оценочных, тональных и др.) компонентов могут приводить не только к усмотрению того, какая именно нозма опущена, но и к прослеживанию того, как эта нозма сложена и как она рождается из окружающей нозтической пены — из свойств нозс, транспонированных в текущие нозмы фразы, заместивших тем опущенную нозму и способствующих ее усмотрению.

Опускание в семантической ткани высказывания нозмы, соответствующей интенциональному объекту, и транспонирование в нозмы соответствующих нозс — почти формульно прозрачная дефиниция непрямого говорения. Опускание нозм в большей степени, чем опускание нозс, способствует

¹⁶ Ср. интерпретацию Женетта: «*позвякивание может быть овальным и позолоченным, разумеется, только потому, что таковым является сам колокольчик, но здесь, как и везде, объяснение не несет за собой понимания; несмотря на свое происхождение предикат 'овальный' или 'позолоченный' относится к 'позвякиванию', и в силу неизбежного смешения эта характеристика интерпретируется не как перенос, но как синэстезия*». И далее обобщающая фраза, имеющая для нас специальный интерес: «*Метонимический сдвиг не только 'скрывается', но превосходно трансформируется в метафорическую предикацию*» (там же).

пониманию телеологии непрямого говорения: на фоне его других возможных толкований — как «экономии языка», как «украшения речи» и т. п. — здесь обнажается главное — *невозможность прямой «сказываемости» определенных типов смысла.*

Действительно: опущению могут подвергаться как имеющие семантический облик нозмы, так и в принципе не имеющие такового. В первом случае семантическое восстановление опущенного нозматического состава возможно, и оно может идти на пользу пониманию (как, напр., в стихотворении Анненского «Смычок и струны»¹⁷), однако эта «польза» неоспорна: поэзия небеспричинно — не без смысловой цели — оставляет опущенный нозматический состав несемантизированным. Во втором случае — как в антиномической поэзии Вяч. Иванова — семантизация опущенного невозможна (*Душа... / Единым и Вселиким — / Без имени — полна!* — Вяч. Иванов. 1, 749; примеры см. в статье о поэзии Вяч. Иванова), производимые же попытки «именовать» символический референт разрушают стихотворение и сам референт, т. е. создают на его месте новое высказывание с новым смыслом и/или референтом.

Свидетельством естественной настроенности поэзии на нозматическую инсценировку нозматического смысла является то, что некоторые поэтические произведения могут целиком строиться на приеме «опущения» нозм — как на своем общем композиционном принципе. Так построено, напр., стихотворение Мандельштама *«Я слово позабыл, что я хотел сказать»*. В таких случаях комментирующие усилия, если они сводятся к попыткам семантического восстановления опущенных нозм, безрезультатны и искажительны.

Если говорить формально, то нозма референцируется в таких случаях боковым «языковым зрением». Хотя смысл в принципе имеет необразную природу (что не мешает ему, конечно, в определенных условиях ее иметь), происходящие при опущении нозм смысловые эффекты непрямого говорения («умного видения») можно сравнить со зрительными эффектами непрямого видения (по типу, в частности, двойного или тройного отображения, обратной перспективы и т. д.). Если же искать конструктивно показательного сравнения, то передача опущенного нозматического состава через инсценированную конфигурацию нозм аналогична (как и другие типы языковых инсценировок) изобразительным приемам в кино. «Кинематографические нозмы» (или «кинеммы» — термин Пазолини) тоже часто опускаются¹⁸: главное «интенциональное событие» может при этом даваться через его сюжетные последствия, эмоциональную реакцию героев, наконец — через рассказ и т. д. Применение таких «опущений» часто диктуется тональным отношением к «опускаемому» (нежеланием, напр., передавать тонально «высокое» «в лоб»,

¹⁷ *«Какой тяжелый, темный бред! / Как эти выси мутно-лунны! / Касаться скрипки столько лет / И не узнать при свете струны! / Кому ж нас надо? Кто зажег / Два желтых лика, два унылых... / И вдруг почувствовал смычок, / Что кто-то взял и кто-то слил их. / "О, как давно! Сквозь эту тьму / Скажи одно: ты та ли, та ли?" / И струны ластились к нему, / Звеня, но, ластясь, трепетали. / "Не правда ль, больше никогда / Мы не расстанемся? довольно?.." / И скрипка отвечала да, / Но сердцу скрипки было больно. / Смычок все понял, он затих, / А в скрипке эхо все держалось... / И было мукою для них, / Что людям музыкой казалось. / Но человек не погасил / До утра свеч... И струны пели... / Лишь солнце их нашло без сил / На черном бархате постели.»*

¹⁸ См. у Делеза: *«Монтаж проходит через соединения, купюры <т. е. опущения> и ложные соединения <т. е. сращения>...»* — Делез Ж. Кино. М., 2004. С. 74.

несоответствием изобразительных потенций материала и приемов изображения — тому, что должно изобразить и т. д., т. е. невозможностью «прямого киноизображения»). Если перефразировать фразу С. Эйзенштейна о том, что принцип искусства есть «метафора как перенос (во всех оттенках — от усмотрения до образа, т. е. от усмотрения сходства до сплава в новое представление)... на материал искусства (сюжет, цвет, композиция...) того, что в жизни несказуемо»¹⁹, можно говорить, что языковая метафора в стратегически усложненных случаях (в поэзии) — это перенос на ноэтический материал того ноэматического состава, который семантически несказуем в своей полноте. Сюжет и композиция при этом столь же в компетенции языка, сколь и искусства; в его силах и уклонение от прямоты через временные метонимию и синекдоху, иносказание, псевдоинтригообразование и т. д. Слепая ласточка в чертог теней вернется / На крыльях срезанных, с прозрачными играть — это ноэтическое инсценированное через псевдвременной сюжет означение ‘забытого’ («опущенной» в гуссерлевом смысле главной ноэмы первой строки — см. об этом же в другом аспекте в § «Неустрашимость речевого центра «я». Трехголосие, ирония и метафора»), т. е. его не прямое изображение через псевдонарративную интригу: здесь все полновесные семантические участники, т. е. формально ноэмы, являются по своей означающей сути ноэсами, здесь нет ни одной прямой ноэмы; все в целом — ноэтическое иносказание. Только в четвертой строке вместе с интонацией сентенции (а значит, и вместе со сменой точки говорения по оси я/мы — см. «Диапазон причастности») появится полноценная ноэма (‘ночная песнь’), но и она не самодовлеюща — относительно нее опущенная выше и составляющая истинный интенциональный объект ноэма сама становится не прямой ноэмой (‘в беспамятстве’).

Хотя, таким образом, не прямое выражение семантически опущенных ноэм — особая стратегия выражения не прямых смыслов, ситуация «говорения через не говорение», как она оценивалась выше при обсуждении различных модификаций, происходящих с опущенными ноэсами, «сдвинулась», но не изменилась в принципе: в случаях опущения ноэм не прямо выражается не ноэтический, а ноэматический смысл, тем не менее и он выражается ноэтическими способами.

§ 42. Миражи и не прямые смыслы. Изображение (выражение, референция и т. д.) опущенных ноэм — как в случаях неназывания имеющегося имени, так и в случаях ноэматического смысла, не имеющего семантического облачения (символического не прямого говорения), — аналогично, сказали мы выше, ноэтической игре семантических зеркал. Игра зеркалами в сфере реальной оптики может приводить, как известно, к созданию зрительных миражей — несуществующих ложновидимых объектов. А что в языковой сфере — в области умного видения и семантической словесной оптики? Не есть ли все не прямо говоримое в ноэматическом составе — мираж?

Миражей в говорении хоть отбавляй — да, но проблема ведь в том, что миражи могут возникать и без всякой тропологической и ноэтической оптики. Смысловые миражи широко распространены при самом что ни на есть прямом говорении, при целенаправленной до наивности установке на прямую семантику, и только введенное в сознание долгой жизнью языка антисемантическое противоядие помогает обычной речи пробиваться сквозь эти миражи — ‘направление предполагает’, ‘пить обжигающий чай’, ‘быт

¹⁹ Эйзенштейн С. Метод. Т. 2. М., 2002. С. 386.

принимается за действительность' и т. д. Вот реальная фразы из авторитетного научного текста конца пятидесятых годов: «Метод, добытый Пушкиным в лирике и в драме 1820-х годов, применен им и в стихотворном романе: теперь он понимает человека не как метафизическую сущность, а как историко-национальное явление, как тип». Только зная условности прямой семантики, зная зелья и antidоты от ее миражей, можно понять эту фразу: *метод, добытый в лирике?* — разве в ней, а не при ее написании?; *человек мог быть понят как метафизическая сущность?* — а разве не «как», а по такой-то и такой-то аналогии с метафизическими сущностями (вневременность, внепространственность...)?; *человек может быть понят как историко-национальное явление?* — это вообще представить невозможно, можно, напр., как обладающий национальными и исторически обусловленными свойствами; *человек может быть понят как тип?* — может ли?; он может описываться через типические свойства. Очевидно, что и в примененных перефразировках есть свои семантические миражи. Перефразирование не имеет дна.

Семантика вообще по способам своего действия двусмысленна и иллюзорна — тем не менее она, по общей оценке, может передавать смысл, адекватно воспринимаемый. Но почему в таком случае в метафоре многие склонны видеть только мираж, особенно при ее движении в сторону символа (у поэмы или референта которого вообще не предполагается прямого семантического облика)? Да, если миражи неизбежны при самой «прямой» семантике, они бывают и при тропах, но — это и есть изюминка вопроса — и в тропах, значит, как и в прямой семантике, бывают не миражи.

Вопрос можно сформулировать и в крайней форме: либо признать семантику самой феноменологической предметностью (самим и всем смыслом), либо — всегда неизоморфным, в том числе порождающим миражи смысла, зеркалом. В первом случае семантика сама «станет» смыслом, но мы ничуть не защитимся от миражей, а лишь потеряем необходимую для их распознавания дистанцию. Во втором случае смыслом будет именно то, что не есть семантика, — то, что понимается через семантику, но не есть она сама, что облекается в нее, но не срастается с нею, что в своей неизоморфности семантике может оказаться и миражом, и реальным смыслом.

§ 43. Непротяженная динамичность смысла — протяженная статичность семантики. Смысл не срастается с семантикой и потому, что он часто не имеет статической, а потому и складывающейся из статических моментов протяженной формы существования. Это — уже не собственно языковая тема, тем не менее для проблемы непрямого говорения обозначение возможности такого аспекта смысла существенно. По преобладающему толкованию поэма есть смысл, а семантизация поэмы — это в определенном смысле финал ее конституирования, и значит: то, что не семантизировано, не поэма (или «еще» не полностью поэма, не смысл или не полностью смысл). Однако такое понимание не обязательно покрывает всю смысловую сферу. Один из возможных концептуальных «подступов» к непротяженно-динамическим аспектам смысла мы видели при интерпретации лосевского радикального концепта «эйдетического языка». Применительно к теме непрямого говорения главное в лосевской идее эйдетического языка — толкование онтологического зазора между ним и естественным языком (а значит, и между смыслом и семантикой) в качестве связанного с различием форм их существования. Непротяженно-динамический смысл уклоняется от прямой фиксирующей семантической формы. «Уклоняется» не в том смысле, что никакое выражение такого смысла вообще невозможно, а в том, что статическое семантическое облачение во всех случаях искажает — урезает или

увеличивает — объем непротяженного и динамического смысла, т. е. семантическое облачение толкуется Лосевым как *не органичный для смысла акт* — как извне привходящий, «наильно» останавливающий и потому инородный акт, формующий смысл по-своему (как минимум, сужая или расширяя, или — в целом — инсценируя его). При сужении часть смысла остается «опущенной» (о чем говорилось), при расширении — на смысл «наращиваются» инородные семантические компоненты (напр., при логической трансформации бессоюзных предложений в союзные — см. § 82).

Разумеется, речь не идет о том, что язык не выражает динамического смысла, напротив; речь сама всегда динамична (не исключено, что динамичность обеих сторон — смысла и речи — способствовала возникновению теорий отождествления смысла с языком). В данном случае речь о другом: язык может выражать смысл и его динамическую природу, потому что сам динамичен, но это выражение всегда не изоморфно, потому что смысл и семантика — разные субстанции, а отсюда и формы динамичности того и другого — разной природы (развитие темы непротяженной динамичности смысла см. в § «О природе ноэтического смысла в связи с ФВ. Значимость непротяженности»).

2.3. НОЭТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ, ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ АКТЫ И МОДАЛЬНОСТЬ

§ 44. Версии доминирования «ноэматического» и/или «семантического» смысла. Экспрессивная теория Г. Шпета. По сути дела такими версиями в той или иной мере являются, как понятно, все концепции, акцентирующие логику, напр., «логический атомизм», или логическую семантику, включая соответствующие аналитические теории. Но здесь, конечно, гораздо перспективней были бы сравнения с феноменологически ориентированными концепциями такого рода. Одним из наиболее интересно для нашего контекста ставивших эту проблему принципиальных сторонников доминирования в высказывании предметного (в нашей терминологии — ноэматического) смысла, был Г. Шпет²⁰. Будучи заинтересован в феноменологии Гуссерля, Шпет тем не менее сразу же обозначил пункты своего несогласия с ним и подверг в дальнейшем ревизии не только частные, но и опорные постулаты Гуссерля. В наиболее, как кажется, ярком виде интересующий нас аспект концепции Шпета проявился в его теории *экспрессивности* в языке: в ней, как представляется, смысловой статус ноэтики

²⁰ Вместе с тем по другим параметрам идеи Шпета были близки тому направлению, которое связано с именами Вяч. Иванова, А. Лосева и М. Бахтина. Шпет, в частности, поддерживал *символизм*, причем в версии, близкой не только к А. Белому, который часто фигурирует в его текстах, но и к Вяч. Иванову: *«Символизм явился для формальной защиты и для восстановления прав искусства... Новое рождение поджидает ветхую смерть. Смерть — взрыв, революция, разрушение. Рождение — тишина, покой, единственный и неустойчивый миг равновесия, после которого начинается рост, напряжение, конденсация. Муки родов — образ, как "восхождение солнца", также — propter hoc ergo post hoc. А в действительности — муки смерти, движение земли вокруг солнца, post mortem ergo propter mortem. В матернем чреве — смерть, ничто — там, где была жизнь; в солнечном мире — новое рождение, нечто из ничего... Видение — первое, значит, разумение — первое. Начинают видеть разумом: начинают видеть уши (ср. немецкое *vernehmen* - *Vernunft*) и слышать глаза»* (Эстетические фрагменты).

снижается в показательной-строгой логической последовательности за счет обособления (фактически — «освобождения») от нее «предметной» (ноэматиической) стороны смысла.

Собственно говоря, Шпет освобождал предметный смысл и от «ноэматики», так что отнесение его теории к составу акцентирующих ноэматиический смысл имеет «гиперболизирующе-иллюстрирующее» значение: Шпет возвел в куб ноэматиическую теорию, очистив смысл не только от ноэтики, но и от ноэматики, и сблизив его непосредственно с «предметом». Ноэматиика для Шпета — лишнее терминологическое звено между смыслом и предметом. Известно, что гуссерлевы ноэма и ноэматиика из «Идей 1» изначально не устраивали Шпета: вместо ноэмы как непосредственно связанной со смыслом и с означивающей семантикой, Шпет предпочитал сразу говорить о предмете: Шпет развивал теорию, согласно которой смысл есть «*sui generis предмет и бытие*» (там же) — то, что непосредственно «присуще самому предмету»²¹. В качестве компромиссного терминологического определения можно говорить, что Шпет поставил на место гуссерлева ноэматиического смысла *семантиическую* концепцию смысла — на том, напр., основании, что в качестве фундаментальной функции слова Шпет понимал «*семантиическую*»²². Это разногласие с Гуссерлем существенным образом сказалось, конечно, и на понимании языковых актов: если акцентировавший ноэматиикку Гуссерль говорил в сфере языка прежде всего о связанном с ноэмами логическом *выражении*, редуцировав всю коммуникативную сферу, то Шпет акцентирует извещение: смысл у Шпета по самому определению — то, что «*сообщается*»²³ (выразительная функция со всеми ее коннотациями отходит у Шпета на задний план — вместе с «экспрессией»). «Сообщаться», по Шпету, может только тот смысл, который содержится в *семантиическом* составе высказывания.

Хотя шпетовская позиция формально выходит за терминологические рамки означенного выше разделения ноэматиического и ноэтиического смысла, тем не менее она тем самым лишь более выпукло демонстрирует

²¹ См. комментарии В. И. Молчанова к письмам Гуссерля к Шпету (№ 3): «Речь идет о том, что, с точки зрения Шпета, анализ ноэмы не позволяет нам достигнуть “самого предмета”. Ноэма — это совокупность модусов данности предмета, это значение предмета, как оно конструируется сознанием, но не смысл, который, по Шпету, присущ самому предмету. В этом отношении можно утверждать, что разъяснения Гуссерля не удовлетворили Шпета, который опубликовал свою книгу (Шпет Г. Явление и смысл. М. 1914) спустя два месяца после написания Гуссерлем этого письма (неизвестно, впрочем, когда письмо получено). Предисловие к книге Шпета датировано 15-м мая 1914 года. ... О возражениях Шпета см. Явление и смысл, с. 185 — 214.»

²² Для краткости оставляем в стороне синсемантиическую функцию слова у Шпета. «Синсематиики» Шпета — это служебные формы слова, «потерявшие самостоятельный смысл, но “осмысленные” в другом значении: в значении примет, указывающих на отношения, так сказать, внутри смысла, внутри содержания и его собственных логических, синтаксических и онтологических форм. В интересах ясности различения и во избежание указанной эквивокации слова “смысл” <т. е. семантиики и синсемантиики> следует тщательно наблюдать за тем, идет речь о самодовлеющей звуковой форме самого значения (смысла) или о служебно-грамматическом значении (роли) этой формы» (Эстетические фрагменты).

²³ «Слово есть *prima facie* сообщение», «сообщение — условие общения», основная и фундаментальная функция слова — «семантиическая» (Эстетические фрагменты).

концептуальные особенности интересующего нас толкования ноэматического смысла как доминирующего над ноэтическим: ведь фактически все ноэматические версии смысла в той или иной форме и степени сращиваются с языковой или прямо логической семантикой. Естественно, что экспрессия — понимаемая при таких исходных постулатах как носящая на себе неотмысливаемые черты ноэтики в ее субъективном проявлении — принципиально рассматривалась Шпетом как не входящая ни в смысл высказывания, ни тем самым в сообщение. Экспрессия оценивалась Шпетом как по самой природе своей смыслом не являющаяся, как составляющая необязательный и несущественный субъективный привесок к смыслу²⁴. Так же — «вненоэтически», а значит и «антиэкспрессивно» — почти всегда настроены все семантические и логические концепции смысла.

Но действительно ли можно понимать смысл абсолютно вненоэтически — на основе одной только ноэматики и/или семантики? Как обстоят в этом отношении дела не только с экспрессией (относящейся в ее шпетовском понимании по гуссерлевой классификации к «актам душевного»), но и с модальностью? Можно ли вообще полностью разрывать ноэматику и ноэтику?

§ 45. Вопрос о степенях и возможности полного разрыва ноэм и ноэс. Бывает ли вообще смысл сообщения в реальной речи непроницаемо отделен от его той или иной ноэтической характеристики (тональности, оценки, иронии и т. д.)? Шпет дает положительный ответ, Бахтин и его единомышленники отвечали на этот вопрос — с разными усложняющими уточнениями — отрицательно²⁵.

Шпет разводит в две разные, не взаимосвязанные и не коррелирующие, стороны сообщаемый смысл (мысль, смысловую предметность) и — «личное понимание» этого смысла или мысли самим говорящим, связывая последнее с его личными «представлениями»²⁶, «психофизическими состояниями» или

²⁴ На фоне основной — «семантической» — функции, экспрессивная функция оценивается Шпетом как производная, вторичная, надстраиваемая и несущая то, что непосредственно для сообщения (смысла) не значимо: *«Нужно... всегда тщательно различать предметную природу фундирующего грунта от фундируемых наслоений, природу слова как выражения объективного смысла, мысли, как сообщения того, что в нем выполняет его прямое "назначение"... от экспрессивной роли слова, ... от субъективных реакций на объективный смысл...»* (Эстетические фрагменты).

²⁵ *«В русской литературе об оценке как о созначении слова говорит Г. Шпет. Для него характерно резкое разделение предметного значения и оценивающего созначения, которые он помещает в разные сферы действительности. Такой разрыв между предметным значением и оценкой совершенно недопустим и основан на том, что не замечаются более глубокие функции оценки в речи. Предметное значение формируется оценкой...»* (СЖСП, 117).

²⁶ *«Кстати, быть может, и философы тогда скорее прикончат свой спор о том, куда бы приткнуть "представления" в мышлении и познании. Ограничимся здесь заявлением, что если представление есть идея, мысль, то оно и есть мысль, т. е. то самое, что составляет мышление, и его второе имя есть только псевдоним... Если же представление не есть мысль, а что-то другое, то ему и не следует путаться там, где идет разговор о мысли. На этом основании, слушая сообщение N, пока мы не перестали и не хотим перестать интересоваться смыслом того, что он говорит, какие бы у него при этом ни возникали "представления", относящиеся к смыслу или не относящиеся, для нас они все остаются к смыслу не относящимися — если,*

разного рода другими субъективными обстоятельствами и называя все это в широком смысле «экспрессией». Если говорить в терминах Гуссерля, то такая никак не коррелирующая со смыслом «экспрессия» не может быть даже понята в тесном смысле как ноэса акта: ведь между последней и ноэмой (смыслом, семантикой) корреляция всегда есть по самому замыслу этих понятий. В этом *отрыве ноэсы от ноэмы*, или точнее: в «*ноэсоктомии*», т. е. в полном отсечении от зоны рассмотрения ноэс, можно усматривать одну из специфических особенностей позиции Шпета (в противоположность «*ноэмоктомии*» в описанных выше исключительно ноэтических версиях смысла). Конечно, «ноэсоктомия» — это некоторое заострение: не может вообще не быть ноэтики как хотя бы номенклатуры типов актовой связи там, где говорится о ‘логических формах’, которые всегда имеют свои ноэтические стороны и закономерности. Тем не менее это заострение имеет некоторые основания: ноэтическая составляющая логических форм понималась Шпетом как фундированная законами сочетания семантики или смысловой предметности, а не собственно ноэтикой и ноэсами. Для Гуссерля, как мы видели, наоборот, именно взаимная сущностная коррелятивность ноэмы и ноэсы составляла главный предмет внимания как насквозь пронизывающая все сферы и акты сознания, а значит и языка. Если эту корреляцию не признавать и отпускать ноэсу в свободное от всякой связи с ноэмой плавание, то она тем самым, действительно, превращается из ноэсы в нечто субъективное, никак не относящееся к «объективному» смыслу; и тогда нельзя будет это субъективно блуждающее ‘нечто’ считать смыслом — что Шпет, согласно своей логике, и предлагает делать.

Понятно, что феноменология непрямого говорения занимает здесь иную позицию, однако в поднимаемой Шпетом тематике имеется несколько весьма существенных для нее моментов (более подробно об аргументации экспрессивной теории Шпета и об эксплицировании в ней ряда концептуально значимых, но редко выносимых на обсуждение проблем см. в Экскурсе 5 «*Экспрессивная теория Г. Шпета как версия ‘аналитической феноменологии’*»). Один из них в том, что в феноменологии говорения (как и у Гуссерля) ноэсы и ноэмы тоже, о чем выше подробно говорилось, могут разводиться, разрываться и вступать в различные отличающиеся от исходных конфигурации. Разница — в том, что при всей инсценированности взаимоотношений ноэм и ноэс связь между ними феноменологией говорения именно *сохраняется*; все происходящие в языке ноэтически-ноэматические смещения «помнят» о своем исходном положении и как раз этой памятью и способствуют проникновению через конфигуративные инсценированные зазоры непрямого смысла.

§ 46. Постановка проблемы о соотношении в феноменологии говорения актов душевной и волевой сфер с модальностью. Шпетовский отказ включать экспрессию в смысл толковался выше как отказ от признания ноэтической формы смысла, но толковался так лишь в общем приближении, оставляющем существо проблемы неясным. Понятно, что не ради защиты самих по себе субъективных нюансов смысла обсуждалась шпетовская теория (хотя и они могут самолично входить в смысл высказывания), но ради типологически общих форм ноэтического смысла. Под широкое шпетовское понятие ‘экспрессивности’ подпадает, как мы видели, многое: оценка,

конечно, он не сообщает прямо именно об своих представлениях, а говорит о вещах действительного мира и идеальных отношениях между ними».

тональность, воление, аксиология и т. д., т. е., по сути, все гуссерлевы акты душевной и волевой сфер, имеющие свою ноэтическую типичность. Возможность «перехода» того, что Шпет оценивает как сугубо субъективные формы экспрессии, в интересующие нас типологические ноэтические смыслы связана с вопросом об общем смысловом статусе ноэтики и ноэс, фундирующих все формы того, что Шпет широко называл «экспрессией».

Как здесь предполагается, этот статус первоначально следует определять на фоне *модальности* (а затем и на фоне тональности сознания — см. след. раздел). В прямолинейной форме эта предполагаемая нами взаимосвязь звучит так: если то, что Шпет называл «экспрессией», имеет модальные корни или какое-либо родство с модальностью, то вместе с нею 'это' может входить в смысл, если не имеет — остается субъективным текущим настроением ноэсы. Модальность при этом понимается в гуссерлевом смысле — как „характеристика доксы“, или „верования“, т. е. ноэсы (модальность — это ноэтическая характеристика, коррелятивно сопряженная с модусами бытия, т. е. с модусом бытия своего «предмета» — как либо данного из первоисточника, либо воображенного, желаемого, предвосхищаемого, сфантазированного и т. д. — § 103.). Корреляция понятия «модальности» ноэс с понятием «модусов бытия» предмета имеет тот смысл, что разным типам доксы соответствуют различные модусы бытия смысловых предметностей (по своей модальности ноэсы могут быть соответственно — актами восприятия, воображения, предвосхищения, фантазии, мечты и т. д.).

По мере прояснения проблемы наличия или отсутствия у актов душевной и волевой сфер «родства» или «сходства» с модальностью будет, как предполагается, насыщаться конкретным содержанием и понятие «ноэтического смысла».

2. 4. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГУССЕРЛЕВЫХ ИДЕЙ О МОДАЛЬНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФЕНОМЕНОЛОГИИ НЕПРЯМОГО ГОВОРЕНИЯ.

§ 47. Ноэматическое предложение Гуссерля и идея опоры языка на праомодальную ноэсу. Гуссерль связывал свою изложенную в разделе 1. 2. теорию прадоксы, праомодальности и прапредикативности с 'ноэматическим предложением'. Этот в высшей степени примечательный концепт вынесен в заглавие § 133 «Идей 1», где ноэматическое предложение понимается как локализованное «до» акта логического выражения, «до» характерных для него аналитических предикативных синтезов и расчленений. Что имеется в виду?

При введении концепта ноэматического предложения Гуссерль краток — смысловые связи с другими разделами «Идей 1» мыслились им как саморазумеющиеся для читателя. Действительно: концептуальные связи ноэматического предложения с прадоксой понятны, и об этом мы уже говорили, но поскольку Гуссерль вводит понятие *предложение*, то для нашего контекста на авансцену выдвигаются прежде всего языковые параллели. Хотя в самом параграфе Гуссерль языковых примеров на ноэматическое предложение не приводит, можно на основании восстановления концептуальных переключек внутри «Идей 1» привести такие примеры на ноэматические предложения, которые скорее всего будут соответствовать их гуссерлеву пониманию. Такое возможно, если, в частности, держать в уме, что ноэматические предложения определены в § 133 как одночленные предложения, что ссылка — как на очевидно понятное — дается при этом на восприятие (а восприятие — элементарный пример на прадоксу) и что в других случаях к восприятию

приводятся примеры вроде «*Это — черное, это — чернильница*». Такие конструкции и понимались, следовательно, как «ноэматические предложения».

Но ведь это — имена.

Фактически получается, что ноэматическое предложение Гуссерля — это совокупность имени или именованья с утверждением существования именуемого. Имя или именованье ‘чернильница’ скрывает ноэматическое предложение: ‘это — чернильница’; ‘белое’ скрывает ‘это — белое’. ‘Это — белое’, как уже говорилось выше, содержит в себе не только ‘Это есть белое’, но и ‘То, что эксплицировано как белое, есть’ (‘действительно существует’ — в случае непосредственной данности в акте из первоисточника, или утверждено как обособленная нозма — в случае фикциональной модальности акта). К утвержденной действительности «белого» можно затем неограниченно синтетически присовокуплять обычные лингвистические предикаты: ‘*белое не есть черное, белое есть цвет, белое не есть вес*’ и т. д. Мы выходим на идею, что без прадокси с модальностью действительного существования и фундированного ею ноэматического предложения-именования все эти предикаты и все вообще языковые обособления не к чему было бы присовокуплять. Последние присоединяются к немодализированной (прамодальной) прадоксе (‘*Это — черное; если черное, значит не белое*’ и т. д.; или: ‘*Это — тело, если тело, значит протяженное*’ и т. д.), ноэматическое же предложение — это сфера самой прадокси, если не сама прадокса.

Применительно к языковой сфере Гуссерля здесь можно толковать в том плане, что ничему нельзя придать смысл, ничто невозможно именовать, ничему нельзя придавать статус существования *без опоры на прамодальную нозму*, пусть и глубоко скрытую в объективированной материи языка — в его семантических и синтаксических глубинах и кружевах. Реальные языковые акты — акты говорения — всегда модально фундированы. За концептом прамодальности усматривается знаменитый спор начала XX века об «экзистенциальных суждениях» (суждениях существования того, о чем суждение: в таких суждениях предикат утверждает лишь само существование субъекта) или экзистенциальных *предложениях* с присущей им (снова дадим название в параллель прадоксе) *прапредикативностью*.

§ 48. Модальная версия предикативного акта. Возможны ли немодализированные акты говорения? Понятно, что феноменологическая версия лингвистической тайны глагола ‘*быть*’ складывалась Гуссерлем аналогично идее «лестницы модальности». Глагол «*быть*» можно толковать в этом контексте как прапредикативное выражение прамодальности прадокси (ноэсы действительного существования коррелятивной нозмы). Во всяком случае сам Гуссерль связывал прамодальность с одним из наиболее интригующих концептов своей феноменологии — с ‘ноэматическим предложением’ (см. выше), т. е. с тем, что, будучи определено как *предложение*, понимается как по самой своей природе предикативное.

Феноменологическое разрешение проблемы глагола «*быть*» напрямую связано с описанной выше ключевой границей, проводившейся Гуссерлем на его как минимум двуступенчатой лестнице модальных модификаций между немодализированной (прамодальной) прадоксой и эксплицитно модализированными доксическими актами (утверждением, вопросом, сомнением и пр.). Все модализированные доксические акты содержат в себе обычно понимаемые предикативные двучлены («*X должен быть Y*», «*Это должно быть, чтобы X был Y*»), которые, по градационной логике Гуссерля, не первородны, но суть вторичные, третичные и т. д. предикации к исходному прапредикативному акту с его прамодальностью действительного

существования. Семантически эксплицированные предикаты суть вторичные предикации к глаголу 'быть': в основе всякого «*X есть Y*», тем более за «*X должен быть Y*» и т. д. лежит «*X есть*» (прамодалная прадокса с прапредикативностью). Именно такое понимание лежит в основе известной гуссерлевой формулировки, что все без исключения модализированные доксические акты, а значит и модализированные языковые акты, 'оглядываются назад' – на прадоксу.

Есть ли немодализированные доксические акты в 'гласящей' речи? В реальном речевом общении их как таковых нет (поскольку любое коммуникативное выражение вторично), но и речь тоже всегда 'оглядывается' на них или на их языковые модификаты. Так, в лингвистике имеется специальное понятие для обозначения немодализированного и некоммуникативного, или коммуникативно нейтрального, доксического языкового акта — *пропозиция*. Но языковая пропозиция отлична от прадоксы, она многосоставней за счет семантического насыщения валентностей предикативной зоны, в прадоксе в этом смысле пустых. Немодализированная лингвистическая пропозиция в наиболее простом виде — это прадокса плюс семантически насыщающий ее валентности аналитический предикат: «*трава зеленая*» (прадокса: 'трава есть'), «*птицы летают*» и т. д. В случае восприятия внеположного чувственного референта в качестве пропозиции рассматриваются более насыщенные — не только аналитически, но и синтетически — сочетания, типа «*Иван зарядил ружье*». Для их перевода в разряд пропозиции такого рода сочетания редуцируются лингвистикой от всего разнообразия возможных здесь модальностей (напр., приведенная пропозиция может быть констатацией, вопросом, предупреждением об опасности и т. д.). Подвергая затем аналитически и синтетически насыщенные пропозиции разнообразным коммуникативным превращениям (в вопрос, утверждение, описание и т. д.), лингвистика выявляет и фиксирует тем самым особенности различных речевых актов. Это чрезвычайно полезно, однако игра с модальными преобразованиями пропозиций часто оставляет висящим в воздухе вопрос о природе самой пропозиции.

Дело в том, что будучи предикативной конструкцией, пропозиция концептуально обособляется при таком подходе от предикативности речевых актов, вплоть до образования в некоторых лингвистических версиях терминологической непроходимости между предикативным двучленом пропозиции, абстрагированной от модальностей и коммуникативности, и предикативностью иллокутивных актов реальной речи. Термин «предикация» используется и там, и там, но концептуальное единство понятия предикации расплывается. Гуссерлева идея многоступенчатости, напротив, как раз тем и хороша, что упрочивает единство этого концепта: предикация у Гуссерля всегда есть та или иная ноэтическая характеристика, всегда есть та или иная степень модальности акта, включая и прадоксическую, и пропозициональную. Концептуальное единство обеспечивается тем, что предикат у Гуссерля везде и всегда — *ноэтической* природы, т. е. предикат всегда есть то, *что* или *как* говорится, а не то, *о чем* говорится. Тем самым гуссерлево толкование согласуется с традиционным и, главное, этимологически мотивированным пониманием термина предикативность, добавляя вместе с тем к этимологическому значению слова специфически феноменологический смысл, связанный с ноэтически-ноэматической корреляцией.

Если оглянуться на предыдущие разделы книги, то можно сказать, что гуссерлева теория предиката имеет родство и с лосевской версией предикативности как предикации предикации, и с бахтинским двуголосием как

наложением двух актов (с той разницей, что у Бахтина налагаются акты из разных инстанций говорения, о чем подробнее позднее). Более сложно соотносятся гуссерлева и ивановская версии, тем не менее и здесь — родство: отсутствие имени или погашение именованности производится у Иванова отнюдь не за счет погашения прадокси, ее ноэтической энергии, а за счет двух прадокс ('это — смерть' и 'это же — жизнь'), которые предикативно скрещиваются друг с другом ('смерть живит', 'жизнь умертвляет'). Ведь и у Гуссерля корень дела не в конкретном имени, употребленном в прадоксе на месте предиката, а в самом прапредикате-связке «есть», утверждающем действительное (или возможное, желательное и т. д.) существование X ('X есть'). Об аналогичной высокой значимости глагола 'быть' в ивановской версии символизма выше (в статье «Символизм Вяч. Иванова на фоне имяславия») говорилось подробно. Прототип предикативного акта во всех перечисленных концепциях один и тот же — *феноменологический*.

Для непрямого говорения здесь важно то, что референциальная нить к первофеномену, во-первых, может за счет нанизывания на прадоксу большого числа разных по типу вторичных предикатов до бесконечности удлиниться и утончаться, во-вторых, она всегда тем не менее наличествует как неотмысливаемая оглядка вторичных предикатов на исходный предикат, утверждающий действительное (желательное, вероятное и т. д.) существование *того, о чем* в прадоксе. На семантической поверхности речь может идти об одном (напр., о вторичном предикате, поставленном в позицию непосредственного языкового субъекта или интенционального объекта), а референция подразумеваться к другому (к первичному предикату-имени той же конструкции или вообще к исходному X, который 'есть' и который «подразумевается» данным высказыванием). Понятно, что здесь — в сфере скрещений, смещений, наложений, нанизываний и т. д. предикатов — можно усматривать не только истоки не прямых типов референции, но и объяснительные потенции механизма действия тропов и фигур речи.

§ 49. Особо о модальности и нейтральном сознании. Особо оговорим — во избежание недоразумений — чрезвычайно существенное для обсуждавшейся выше темы обстоятельство: сказанное распространяется и на *нейтральное* сознание, что имеет значение для решения вопроса о его возможных параллелях в языке.

Никак не меняется в своем формальном принципе (хотя и претерпевает модификации) ситуация с праомодальностью прадокси и тогда, когда речь заведомо ведется о 'не сущем' — о несуществующих 'недействительных' предметностях, о предметностях фикциональных, желаемых, предвосхищаемых и т. д. В прадоксической именовательной конструкции '*Это есть X*' под 'это' может подставляться любой тип смысловой предметности (предполагаемой, вымышленной, фантазируемой, не исключая, конечно, и реально утверждаемой в качестве существующей 'объективной действительности'), и любая предметность, будучи означена такой прадоксической конструкцией, получает статус утверждаемого существования, но здесь уже не в качестве внеположной 'действительно' сущей предметности, а в качестве той или иной — желаемой, предполагаемой, фиктивной и т. д. — смысловой предметности. Эта предметность дается здесь как утверждаемая в качестве обособленно и целостно взятой — взятой в ее отношении к самой себе — при любой модальности ее бытия (желаемой, фикциональной и пр.); и к такой предметности теми же синтетическими способами могут присовокупляться, разворачивая картину, многочисленные новые предикаты. Что бы ни именовалось чрез предикат в языковом прадоксическом акте, оно

получает статус обособленно взятого и как таковое «ноэматизированного» сознанием.

Ради терминологической связанности получаемой картины можно сказать и так: языковой прадоксический акт именованья с его модальностью существования всегда сигнализирует о переводе того или иного смысла в статус *ноэмы* акта (а не в статус 'сущего' или, что здесь то же, внеположного сознанию референта речи). В собственно лингвистической терминологии распространенным, но частным (не исключающим другие языковые формы) аналогом этого языкового действия являются категории именительного падежа и синтаксического субъекта²⁷, а также функциональные аналоги именительного падежа, формально приспособленные для помещения в соответствующие синтаксические позиции. Именительный падеж означает, говорил Лосев, что данная смысловая предметность берется «как таковая», безотносительно к ее смысловым зависимостям от других смысловых предметностей (такие зависимости отражаются в других падежах), что и значит: берется как ноэма данного смыслодающего интенционального и/или языкового акта. Как ноэма — и ничего в референциальном отношении больше.

Формально гуссерлева тема *нейтрализованного* сознания может быть воспринята как противоречащая тезису о ступенях насыщенной, слабеющей, редуцируемой, но никогда не исчезающей вовсе модальности, поскольку Гуссерль говорит о нейтральном сознании как о модификации сознания, которая «известным образом» полностью снимает любую модальность доксы (§ 109). Концептуально, однако, нейтрализованное сознание оставляется Гуссерлем в зоне модальности: оно «сопрягается» со сферой верования и определенным образом «относится» к полаганиям верования, которые в нем содержательно «остаются», никак «не перечеркиваются», а только нейтрализуются в действительной силе своей модальности²⁸.

По известной логике, что и несогласие, и согласие, и незаинтересованность, и невынесение ответного мнения — тоже вид диалогического отношения, гуссерлева нейтральность — тоже вид модальности. С той сущностной особенностью (фиксируем стержень нашей вольной интерпретации), что нейтрализация — это модальное отношение не к

²⁷ Подробно о феноменологическом толковании субъект-предикатной связи как составляющей частную, а не универсальную форму языкового выражения ноэтически-ноэматических структур сознания, см. в статье о Лосеве «Эйдетический язык» (§ 55. *Не универсализм, а логико-формальная «свобода» синтаксического субъекта от референта*).

²⁸ «Среди всех сопрягаемых со сферой верования модификаций нам остается отметить еще одну в высшей степени важную, которая занимает совершенно изолированное положение, следовательно, никак не может быть поставлена в один ряд с обсуждавшимися выше. Своеобразие ее отношения к полаганиям верований, а также то обстоятельство, что она вырисовывается в своем своеобразии лишь при более глубоком исследовании, — в качестве отнюдь не принадлежащей к сфере верования, а, скорее, в качестве в высшей степени значительной общей модификации сознания... Речь идет у нас сейчас о такой модификации, которая известным образом полностью снимает любую модальность доксы, с какой сопрягается, полностью отменяет таковую, — однако в совершенно в ином смысле, нежели негация, которая к тому же, как мы видели, заключает в своем негате некое позитивное совершение, такое небытие, которое в свою очередь тоже есть бытие. Наша же модификация ничего не перечеркивает, она ничего не „совершает“, в ней, по мере сознания, прямая противоположность любому совершению — нейтрализация такового» (§ 109).

бытию (resp. не к ноэме), а к модальности же (к ноэсе): *это снятие (нейтрализация) содержательности ноэсы, а не ноэмы*. Ведь в гуссерлевом описании сути дела принципиально то, что нейтральное — «незаинтересованное» — сознание все-таки в чем-то заинтересовано: в том, чтобы сохранить содержание (ноэму) полнокровной модальности. Гуссерлева нейтрализация заключается не только «*в любом воздержании от какого-либо делания, в переводе чего бы то ни было в бездействие, в заключении в скобки, и оставлении чего-либо без разрешения, не решенным*», но и в том, «*чтобы обладать чем-либо в таких состояниях оставленности и воздержания, и в том, чтобы вдумываться внутрь всякого совершения, или же, иначе, в том, чтобы „просто мыслить“ совершаемое, не „соучаствуя“ в совершении...*» (§ 109). Для внутренних процессов сознания такая ситуация не просто обычная, в определенном смысле она доминирующая. Это — и одна из значимых форм состояния сознания, и одна из главных модальностей языковых актов (см. § «Языковые модальности»).

Гуссерль фактически и сам говорит, что операция снятия модальности есть пусть и квази, но все же модальная операция. Верование и здесь остается, говорит Гуссерль, но только как нейтрализованное: «*Характер полагания выведен из действия. Теперь и отныне верование – это уж не всерьез какое-то верование, и допущение – это уж не всерьез какое-то допущение, и отрицание – это уже не всерьез какое-то отрицание. Теперь и отныне все это „нейтрализованное“ верование, допущение, отрицание и т. п.*». «Нейтрализованное» мнение — все же мнение, все же модальность, хоть и «не всерьез». Метода сначала жесткого обозначения независимо-обособленной специфики какой-либо сферы или состояния сознания, а затем — введения оговорки на поверхности компромиссного свойства столь часто применяется Гуссерлем, на наш взгляд, именно потому, что им в этих случаях выстраивается лестница требующих тщательных дистинкций модификаций соответствующего феномена, где каждая модификация имеет автономное значение, которое необходимо высветить, но где всё — разные ступени одной лестницы. Так же Гуссерль выстраивает и свою лестницу модификации модальностей, обозначая ее особую нейтральную ступень. Неслучайно в этом смысле, что в следующем параграфе (§ 110) появляется в связи с обсуждением нейтрализованного сознания и его соотношения с разумом понятие «*продосиса*» — очевидно, что в параллель «прадоксе» (описанной выше ступени прамодальности) и, возможно, в качестве ее пред-ступени, ее до-ступени.

§ 50. Нейтральное сознание и язык. Может ли язык выражать нейтральное сознание, делает ли он это и как, если да?

Понятно, что гуссерлева нейтрализация модальности сознания — это аналог феноменологической редукции, т. е. результат особой, отвлеченной от естественной, установки, настройки сознания, производимой в феноменологических целях; и понятно, что реальные коммуникативные языковые акты — феномены нередуцированного сознания и что как таковые они всегда не нейтральны, всегда включают модальность и доксичность (акт выражения является «*исключительно доксотетическим переживанием*» — § 109). Получается, что в его чистом, автономно-обособленном виде нейтральное сознание в области коммуникативного языка невозможно: все связанные с языком типы актов отличны от актов гуссерлева нейтрального сознания уже тем, что в них включены позициональность, воление, что они направлены на «выражение» (наррацию, изображение и т. д.), а значит всегда имеют то, что

выражается, описывается, изображается — имеют «положенное». Все дело тут именно в «положенном» — в его разных характерах.

При не нейтральных актах прадокси гуссерлево понимание положенности — выражаем спорное мнение — можно толковать применительно к языку как максимально возможную степень прямой *референции*, как остенсию. Прадокса в языке и ноэматическое предложение не нейтрализованного сознания — это «почти» прямая референция к ‘сущему как таковому’ (это «почти» — существенно: далее речь пойдет о неустранимой опосредованности характера референции и в модальном сознании). При нейтральном же сознании положенность имеет характер операции «просто думания себе» (одна из гуссерлевых характеристик нейтрального сознания). В языке, соответственно, выражение таких актов не имеет референциального прадоксического характера: но «не имеет» не в смысле, что референция здесь подвергается «негации», исключается как язык вообще не интересующая, а в смысле, что референция к ‘сущему’ здесь нейтрализована, не является целью высказывания. При нейтральном допущении как не всерьез, но все же допущении, а значит и предцировании выведена из действия, нейтрализована именно установка на прямую референцию, все остальные ноэтически-ноэматические аспекты актов сознания, их последовательности, сцепления, наложения и т. д. сохраняются. «Положено» в нейтральном сознании и в языковой нейтральной модальности означает: «помещено» в фокус внимания интенции, напр., в позицию субъекта суждения (как распространенной частной разновидности такого фокуса) — и только; в этот фокус и в эту позицию нейтральное сознание, которое тоже умеет предцировать и связывать, может «положить» все что угодно (вымышленное, чувствуемое, отрицаемое, непризнаваемое, чужое или свое же высказывание или их какой-либо фрагмент). Референцировать же к ‘сущему как таковому’ нейтральная языковая модальность не умеет (если она думает, что умеет) или «отказывается» (если она осознанно нейтральная).

В нейтральной языковой модальности передается и сообщается нечто другое — то, что «просто подумано себе» и хочет быть «подумано другому». Можно, конечно, и языковое выражение «просто думания» тоже считать референцией — к ноэматическому составу этого «просто думания»: тогда сохранится формальное единство референциальной функции языка, но разрушится единство аналитического концепта «референция». Она в таком случае превратится в простую лингвистическую замену (лингвистический синоним) логической «положенности»; для аналитических теорий референции и «истинности» высказываний это было бы «самоубийством» с точки зрения предмета, для неаналитических концепций языка — тоже «самоубийством», но уже с точки зрения обособленного существования, ведь в таком случае они подпадут под управление логики. Собственно говоря, в аналитике давно уже говорится, что понятие «референции» требует своего сужения — представляется, что его можно сузить до одной из разновидностей языковых модальностей, причислив к ним и «нейтральную» (мы вернемся к этой теме в параграфе «Языковые модальности»).

Речь не идет о том, что референциальная и нейтральная языковые модальности обязательно обнимают каждая все высказывание — они могут в его течении поочередно сменять друга, причем не только на швах законченных конструкций, напр., предложений, но и внутри предложения. Субъект в сколько-нибудь отклоняющихся от логических шаблонов языковых конструкциях может быть дан в референциальной модальности, предикат — в нейтральной, и наоборот. Не идет речь и о том, что нейтральная языковая

модальность понижается в своем статусе относительно референциальной: напротив, наращивание, нюансировка и утончение смысла гораздо более органично для нейтральной модальности (эстетическое, напр., рассматривается Гуссерлем как фундированное именно нейтральным сознанием). Речь идет о равнопорядковом соотношении референциальной и нейтральной модальностей в качестве разновидностей языковых модальностей. Что тут действительно сложно, так это вопрос о соотношении этих двух разновидностей с другими модальностями языка (описание, наррация, изображение): обе они могут рассматриваться как претенденты на место языковой праомодальности.

Предполагая наличие в языке нейтральной модальности, еще раз отдельно подчеркнем, что она не тождественна нейтральному сознанию как таковому. В нейтральной языковой модальности нейтрализованные акты сознания («просто думание») становятся предметом языкового выражения, однако выражающие их языковые акты сами никогда 'уже' не «нейтральны» в гуссерлевом смысле. Это нейтральность модифицированная. Не имеется в виду, что языковой акт выражения отменяет нейтральность отношения к бытию выражаемых ими актов «просто думания» — этот безразличный к референции момент сохраняется, и именно он и характеризует то, что мы здесь называем нейтральной языковой модальностью; имеется в виду, что в языковых актах формируется особый модус бытия смысловой предметности — *выражаемая смысловая предметность*. Ее бытие состоит в ее выражении. Все, что выражается, в языковом смысле «существует»²⁹. Самим актом выражения (или описания, или рассказывания и т. д.) языковое высказывание переводит нейтральный акт сознания в разряд нозмы и придает его содержанию и ему самому статус действительной «выражаемой» смысловой предметности (действительной «описываемой» и т. д. смысловой предметности), т. е. придает статус языкового существования.

В случае нейтральной модальности этот языковой статус бытийности придается не 'сущему', от которого отвлечены нейтральные акты сознания, а самим этим нейтральным актам. Языковой акт утверждает их наличие: они протекают в сознании и, значит, наличны. И особенное, это все же именно 'бытие': в концептуальной перспективе это может быть связано с гуссерлевым пониманием сознания как одной из форм бытия. Высказывание в нейтральной языковой модальности может в высшей степени адекватно выражать акты нейтрального сознания (просто думания) и при этом не иметь никакого отношения к истинности или ложности самого смысла, что, с другой стороны, никак не означает, что это выражение будет обязательно субъективным (хотя оно и может быть таковым) — ведь и протекание «просто думания» в сознании как форме бытия тоже имеет свою 'объективную' типичность и закономерности.

Здесь же, в тематической зоне нейтрального сознания и нейтральной языковой модальности, чередующейся с референциальной (а вероятно — и с другими языковыми модальностями), можно, по-видимому, мыслить топос для описываемых в литературе «сложных» типов референции — отсроченной, иллюзорной, двойной, приостановленной, расщепленной, смещенной, ограниченной, первого и второго порядка и т. д. Через факт и моменты смен модальностей можно усилить концептуальную сторону многочисленных связанных с этими типами референции лингвистических проблем. В том числе,

²⁹ «Выражаемая смысловая предметность» используется здесь как общее понятие; под ним, за ним или вместе с ним можно и, видимо, нужно мыслить «описываемую смысловую предметность», «рассказываемую», «объясняемую» и т. д.; все эти предметности обладают своими — различными! — модусами бытия.

о чем уже упоминалось, феномена *эстетического*. Так предполагалось и у Гуссерля: тема нейтрального сознания излагается в «Идеях I» в сопряжении (но, конечно, и в различении) с фантазией и с эстетическим. Традиция говорила по поводу эстетического о «незаинтересованном удовольствии», Гуссерль — о нейтрализованном: с точки зрения Гуссерля, именно нейтральное сознание выполняет фундирующую функцию для эстетического удовольствия, хотя и в этом случае нейтральность не абсолютная³⁰. Если проблему эстетического, действительно, можно понимать и в этом ракурсе, то фундирующая функция нейтрального сознания должна сказываться и на эстетических формах употребления языка — к этой стороне вопроса, как и к другим аспектам нейтрального сознания, мы еще будем обращаться по ходу дела.

В общем плане — все эти варианты опосредованной референции опираются на нейтральность сознания, т. е. на особенность модуса бытия выражаемой предметности. Но в гуссерлевой феноменологии предполагался и другой — общий — тип опосредования референции, свойственный и нейтральному, и насыщенно модальному сознанию и связанный с природой выражающей инстанции — самого языка. Употреблявшееся выше ограничение понятия «прямой референции» (как «почти» прямой, как максимально возможной) связано именно с этой общей опосредованностью всех языковых актов

§ 51. «Особость» ноэтически-ноэматического строения ноэматических предложений модального сознания. Чтобы реконструировать разновидности опосредованной референции, вернемся от нейтрального к модальному сознанию, в котором полагалась возможность «почти» прямой референции, и начнем с его ноэматических предложений и их референциального касания с 'сущим', т. е. с того, что выше определялось как прямая референция и связывалось с выделением референциальной модальности языка.

Как и всякое предложение, как предложение вообще, ноэматическое предложение характеризуется единением ноэматических и ноэтических сторон (более того, Гуссерль дает это отчетливое определение «предложению вообще» именно в параграфе о ноэматических предложениях). Специфика же ноэматического предложения, говорит Гуссерль, связана с «*особым*», т. е. существенно отличным от других видов предложения, типом сопряжения в нем тетических моментов ноэсы с ноэматическим смыслом. «Особость» — в том, что ноэматическое предложение неотделимо принадлежит «к самому понятию

³⁰ «*Отражающий образ-объект — он не пребывает перед нами ни как сущий, ни как не-сущий, ни в какой-либо иной модальности полагания, или же, лучше сказать, он создается как сущий, но только как как бы — сущий в модификации нейтральности бытия*» (§ 111). И применительно к роли нейтральности для эстетической сферы Гуссерль, как видим, прибегал к компромиссным оговоркам, не отсекающим возможности того, что нейтральность все же является некой пред- или до-ступеню лестницы модальностей. Аналогичные уточнения в связи с эстетическим есть у Гуссерля почти всегда, когда он говорит о специально связанных с нейтральным сознанием моментах: если «радость или скорбь» фундируется в модальных актах — «*в веровании (не нейтрализованном) или же в одной из модальностей верования*», то «*эстетическое удовольствие, — проводит различение Гуссерль, — фундируется в сознании нейтральности*», однако тут же следует уточнение: «*в сознании нейтральности с перцептивным или репродуктивным содержательным наполнением*» (§ 116).

предмета», т. е. — переведем в наш ракурс — в том, что *ноэса имплантирована здесь в саму ноэму вещи*.

Об этой идее мы уже говорили, теперь же зафиксируем ее в специальной терминологии: в ноэматическом предложении прадоксическая прамодальность ноэсы абсолютной уверенности (достоверности, действительности) имплантируется в ноэму в качестве ее свойства «действительного существования» (еще раз напомним, что речь может идти и о разного рода фикциональных предметностях и мы используем в качестве примера модальность «действительного существования» лишь для того, чтобы избежать утяжеления рассуждений). Речь, как мы увидим ниже, обыгрывает возможность такой имплантированности ноэсы в ноэму в своих — коммуникативных, выразительных, непрямых и т. д. — целях.

В непосредственно лингвистическом плане проинтерпретировать все это можно следующим образом. Ноэматическое одночленное предложение — это имплантированные «в сами ноэмы», напр., в ноэмы восприятия, *имена* вещей («это — черное, это — чернильница»); причем эти имена имплантируются в форме *предикатов*. Формально требуемая двучленность в ноэматическом предложении сохранена, но место субъекта занимает здесь семантически пустое указательное местоимение, или, если вспомнить С. Н. Булгакова — «мистический крюк», на который навешивается имя. Имя функционально есть в ноэматическом предложении предикат, поскольку же все реальные предложения так или иначе «оглядываются» на ноэматическое, то и в них все именованья суть по внутренней природе предикаты. При абстрагировании от ноэсы (от акта восприятия и именованья) и при внимании исключительно к ноэматической (семантической) стороне дела эта предикативная подоснова ноэматических предложений-имен редуцируется из поля зрения, и такого рода «конструкции» могут выглядеть и восприниматься как некие изолированно в себе сущие имена ('белое', 'чернильница'). И по Гуссерлю, и по Лосеву, и по Бахтину, и по Вяч. Иванову такая редукция предикативности (ноэтики) никак не может быть правомерна, напротив: ноэтические моменты не только не должны отсекаются, их нужно в целях преодоления природной ноэматически-ноэтической двусмысленности языка эксплицировать там, где они не осознаваемы. А есть они всегда: ноэтические моменты неотмысливаемы и неустранимы из всех форм смысловых предметностей (всех модусов бытия ноэматики). При их экспликации в каждом таком имени (и в пределе — в каждом имени вообще, в том числе в символе) проступает скрытое в нем предложение, в котором «лингвистическое» имя является не субъектом, а предикатом. Субъект же ноэматического предложения или «фокус внимания» предложения (в восприятии это сама вещь, в ноэматическом предложении — местоимение, в том числе и в фикциональных прадоксах) остается *невыразимым X-ом*, всякая семантизация которого всегда будет в том или ином отношении непрямым, обобщенно-всеобщим, неполным, ракурсным, оценочным и т. д. выражением.

Очевидно, что ноэматическое предложение Гуссерля — это аналог подробно обсуждавшейся в предшествующих статьях о Вяч. Иванове, Лосеве и Бахтине идеи имен как предикатов и предикатов как имен³¹, принципиальная

³¹ Отсюда до эйдетического предложения Лосева на *эйдетическом* языке остается один шаг, который Гуссерлем не был сделан: сами эйдосы или сущности всегда понимались Гуссерлем как не имеющие синтаксического строения, что связано с тем, что введение ноэтического момента требует дополнительного актора (органичное для Лосева введение в эйдетику в качестве такого актора

же невыразимость X — потенциально богатый концептуальный резерв для феноменологии непрямого говорения. Одно из частных проявлений описанного выше феноменологического постулата о принципиально не прямой форме всех «гласящих» языковых выражений — связанная с этой невыразимостью X (несказанностью) принципиальная опосредованность в гласящей речи любого типа референции.

§ 52. Принципиальная опосредованность референции, связанная с выражающей природой языковых актов. Речь здесь идет, таким образом, о принципиально другой причине опосредованности референции, нежели та, которая была связана с выражением в речи актов нейтрального сознания (просто думания). В том случае причина коренилась в особенности выражаемой инстанции — в нейтральном отношении к бытию выражаемых актов сознания, здесь — в особенностях выражающей инстанции, т. е. самого языка, который тоже — фиксируем гипотетический тезис — «нейтрален» к бытию. «Опосредованность» вводится здесь в то, что выше называлось прямой референцией или референциальной модальностью языка. Это был последний бастион прямой непосредственной референции «вещи» языком — но и он должен, по замыслу Гуссерля, «пасть» под натиском ноэтически-ноэматической идеи.

Вернемся для экспликации этой второй разновидности опосредованности языковых выражений и, соответственно, резерва непрямого говорения к исходной двуступенчатой модели Гуссерля (к «выражению выражения»), т. е. к сфере «после» ноэматических предложений, тем более, что именно она является отправной точкой всех дальнейших лестничных усложнений. На ее одной ступени — на ступени формальной апофантики как аналитического и предикативного синтеза, т. е. в гуссерлевых некоммунитивных актах выражения (напр., «если это белое, то не черное») — есть доступ к самой вещи (через прямую связь с ноэматическими предложениями перводанной очевидности), есть выражение в форме аналитических и предикативных синтезов, нет гласящих слов и нет извещения (коммуникации). На второй ступени (в гласящей речи — привычном предмете лингвистики) наличествуют и выражение, и предикативность, и гласящие слова, и коммуникация, и многое другое, но — это наше заострение — нет референции к самому первоисточнику, нет непосредственного доступа к самой «вещи»: между референтом и гласящим языковым выражением пролегает либо среда логического медиума выражения (среда первой ступени), либо имплицитные ноэматические предложения с именами-предикатами (условная третья ступень).

Действуя наряду с опосредованием, связанным с нейтрализованной модальностью сознания и/или языка и потому не имеющим всеобщего характера (сознание может быть и не нейтрализованным), именно эта разновидность «опосредованности», такой всеобщий характер имеющая, составляет ядро того ведущего к феноменологии непрямого говорения тезиса о всегда опосредованном характере языковой референции (как бы ни понимать сущность последней), который обосновывался — по-разному — и Вяч. Ивановым, и Лосевым, и Бахтиным. Во всяком случае дальнейшее движение «Идей 1» (§§ 126 – 127) подтверждает — как мы уже видели — наличие в тексте в том числе и такой цели: описывая различные типы выражений по их соотношенности с выражаемым, Гуссерль применял среди прочего два

божественной инстанции в гуссерлевой феноменологии невозможно, здесь один актер).

параметра — *полные/неполные* и *прямые/непрямые* выражения, которые оба имеют непосредственное отношение и к постулату о всегда опосредованной языковой референции, и к нашей центральной теме «непрямого говорения».

§ 53. Неотмысливаемость модальности. Если обобщить сказанное выше, то можно интерпретировать Гуссерля в том смысле, что *модальность неотмысливаема* — сознание всегда модально, причем подвижно модально: все составляющие последовательность актов сознания ноэтически-ноэматические структуры обладают, по нашей интерпретации Гуссерля, той или иной степенью и/или формой модальности, включая праомодальность прадокси и особую модальность нейтрализованного сознания

Неотмысливаемость той или иной степени модализированности у всех актов сознания транспонируется и на все разновидности *языковых актов*. Языковым же актам нередуцированного сознания — т. е. актам говорения — она присуща тем более (хотя, конечно, модальность транспонируется в язык всегда своим особым модифицированным и инсценированным образом, о чем мы еще будем говорить в дальнейшем). Как и переживание сознания, все языковые высказывания тоже обладают сложноплетенным пучком модальностей, так как состоят из последовательности, совокупности, наложений и т. д. разных по модальному типу актов говорения.

Но если модальность неотмысливаема и в языке, то мы можем с новыми основаниями вернуться к поставленному выше вопросу: принципиальна ли разница между модальностью и актами душевной и волевой сфер, напр., между модальностью акта воображения и оценкой? Как вообще соотносятся эти акты с модальностью? Как, в частности, насчет их «неотмысливаемости»?

Такое сопоставление можно вести по разным направлениям (прежде всего: по типу акта и по типу предметности). Так, напр., фундаментальным свойством модальности является наличие в каждом модальном акте коррелятивно соответствующего ему по модусу «предмета, о котором». Обладают ли акты душевной и волевой сфер своим коррелятивным предметом, зависящим от них в каких-либо характеристиках своего бытия?

По Гуссерлю, обладают: *«У нас найдутся основания для того, чтобы распространить понятие тезиса на все сферы актов и таким образом говорить о тезисах вкуса, желания, воли с их ноэматическими коррелятами <Л. Г.> „нравится“, „желательно“, „практически должно“ и т. п. Эти корреляты благодаря априорно возможному переводу соответствующего акта в доксический пра-тезис тоже принимают модальности бытия <Л. Г.> в до предела распространенном смысле, — так „нравится“, „желательно“, „должно“ и т. д. обретают возможность получать предикаты, потому что в актуальном полагании праверования осознаются, как — сущее <Л. Г.> *нравящимся, сущее желательным и т. д.*» (§ 114).*

Эта идея Гуссерля означает возможность семантического выражения актов душевной сферы, в том числе и через субъект-предикатную форму, — так же, как это делается в случае модальных доксических актов. Об этой возможности мы уже говорили (описывал ее — как случай прямого семантического выражения говорящим своих «представлений» и своей «экспрессии» — и Шпет). Но семантизация актов душевной сферы и экспрессии — лишь частная возможность, концептуально не покрывающая ситуацию с актами душевной и волевой сфер в языке в ее общем виде.

Если перейти к общему концептуальному плану проблемы, то сжато обрисовать гуссерлеву позицию по вопросу соотношения модальности и означенных актов можно по § 116 «Идей 1». Гуссерль тут утверждает наличие во всех типах актов, начиная от простейшего чувственного восприятия и

кончая высшими актами сложносоставной природы, двух моментов — центрального смыслового ядра и группирующихся вокруг него тетических «характеров». Если идти от чувственных восприятий «наверх» — к «нового» вида полаганиям, *«то мы натолкнемся тут на чувствующие, вожделеющие, волящие ноэсы»*, т. е. как раз на нашу тему. Эти «новые» виды актов полаганий, говорит Гуссерль, *«фундированы в 'представлениях', в восприятиях, воспоминаниях, знаковых представлениях и т. д.»*, имея каждый свои особенности в поступенчатом строении. *«Так, для примера, эстетическое удовольствие фундируется в сознании нейтральности с перцептивным или репродуктивным содержательным наполнением <о нейтрализации сознания как особом типе модальности говорилось выше в специальном параграфе>, радость или скорбь — в веровании (не нейтрализованном) или же в одной из модальностей верования, воления и противоволения — как и предыдущее, но только в сопряжении с тем, что оценивается как приятное, прекрасное и т. п.»*

Зафиксируем принципиальный момент: внеэстетические эмоции (радость или скорбь) и акты воли понимаются Гуссерлем как *фундированные полноценной модальностью*.

§ 54. Идея функционального сходства модальности и актов душевной и волевой сфер. «Неотмысливаемость» ноэтического смысла. Далее у Гуссерля следуют — поданные преплетенно — два существенных тезиса.

Первый тезис может означать в нашем контексте если не генетическое, хотя и отдаленное, родство, то, как минимум, *функциональное сходство* модальности и актов душевной и волевой сфер: эти «новые» ноэтические характеристики, говорит Гуссерль, *«аналогичны модусам верования»*. *«„Ценно“, „приятно“, „радостно“, и т. д. — все это функционирует подобно <Л. Г.> „возможно“, „предположительно“ или же „ничтожно“ или „да, так действительно“, — хотя и нелепо было бы включать первые в ряды этих последних»*. Причины «нелепости» непосредственно концептуального, а не функционального, сближения эмоциональных актов и модальности — существенная феноменологическая тема³², но для языкового контекста принципиально уже это само по себе функциональное сближение (хотя далее мы увидим, что Бахтин предложил свое понимание этой «трудной» проблемы, непосредственно концептуально связав модальность речи с ее тональностью).

Это функциональное сближение может означать многое. Прежде всего — то, что «тональность» актов душевной и волевой сфер может оказаться столь же неотмысливаемой в языке, как и модальность. Можно также заключить из этого функционального сближения, что «тональность» актов душевной и волевой сфер и модальность могут вести себя одинаковым образом в самом интересном для языка пункте — *во взаимоотношениях с семантикой*. По генезису и «тональность» актов душевной и волевой сфер, и модальность — ноэтические (а не ноэматические) характеристики высказывания, а потому *могут быть как прямыми, так и непрямыми «ноэтическими смыслами»*, присовокупляющими к ноэматическому смыслу высказывания соответствующие ноэтические смысловые компоненты.

³² Вот ее Гуссерлева оценка в том же § 116: *«Необходимо проводить чрезвычайно трудные разыскания, чтобы аккуратно размежевывать все эти сложные структуры, доводя их до полной ясности, — как, например, соотносятся „ценностные постижения“ с вещными постижениями, новые ноэматические характеристики („хорошо“, „красиво“ и т. д.) — с модальностями верования, как они систематически упорядочиваются в ряды и виды, и т. д. и т. д.»*

Второй, тесно связанный с первым тезис может в нашем контексте означать, что «чувствующие, вожделеющие, волящие ноэсы», будучи фундированы модальными актами представлений, восприятий и т. д. и будучи тем самым сопряжены со смыслами-ноэмами этих чужих фундирующих их актов, тем не менее добавляют к этим чужим смысловым предметностям (ноэмам) новые смысловые моменты: «*вместе с новыми ноэтическими моментами и в коррелятах начинают выступать новые ноэматические моменты*». Эти «новые ноэматические моменты» Гуссерля — новый смысл, иной, нежели исходный ноэматический, это некое «новое измерение» смысла: «*с нового типа моментами сочетаются и нового типа „постижения“, конституируется новый смысл <Л.Г.>, фундируемый в смысле лежащей ниже его ноэсы и одновременно объемлющий таковой <снять его — значило бы снять новый тип постижения — Л. Г.>. Новый смысл вносит совершенно новое измерение смысла, вместе с ним не конституируются какие-либо новые, новоопределяемые куски просто „вещей“ <т. е. это не «просто» новый кусок ноэмы>, но конструируются ценности вещей, ценностности, и, соответственно, конкретные ценностные объективности: красота и безобразность, благодать и скверность» и т. д.*

Если же (сводим два гуссерлевы тезиса воедино) «тональность» актов душевной и волевой сфер функционирует аналогично неотмысливаемой модальности и если она приращивает новое измерение смысла, то почему не понимать это положение в том направлении, что и «тональность» актов душевной и волевой сфер не только гипотетически, но на деле столь же неотмысливаема и универсальна, как и модальность сознания? «Тональность» актов душевной и волевой сфер может порождать *новый* смысл, значит — любое изъятие такой (фундированной ноэтическими закономерностями, а не субъективными ноэсами) «тональности», таких «ноэтических» компонентов из высказывания принципиально сужает его полный смысл.

И наконец: обоюдная неотмысливаемость модальности и тональности актов душевной и волевой сфер означает и *неотмысливаемость* от языковых высказываний того «*ноэтического смысла*», введение концепта и обоснование которого было целью данной главы, поскольку и то, и другое представляет собой ведущие разновидности ноэтического смысла.

2. 5. ТОНАЛЬНОСТЬ КАК НОЭТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ И ЕЕ РАЗНОВИДНОСТИ.

§ 55. Тональность как второй наряду с модальностью тип ноэтического смысла. Как, наверное, уже понятно по предыдущему разделу, ноэтический смысл предполагается рассматривать здесь в качестве имеющего как минимум два главных неотмысливаемых ни от актов сознания, ни от актов говорения типа. Один — связанный с языковой модальностью, второй — с актами душевной и волевой сфер (разумеется, это не исчерпывающая классификация: номенклатура типов ноэтического смысла оставляется принципиально открытой³³). По уже обсуждавшимся примерам ноэтического смысла, связанным с различными душевными и аксиологическими актами, актами воли и оценки, понятно, что ноэтический смысл имеет в этой сфере несколько типологических разновидностей и что шпетовское понятие «экспрессия», несомненно составляя одну из таких разновидностей, не

³³ Так, не исключается, в частности, что возможно было бы говорить о третьем типе ноэтических смыслов, связанных с «*феноменологией восприятия*» и «*телесностью*», но эта тема остается здесь вне поля нашего рассмотрения.

подходит тем не менее в качестве общего понятия для всей этой сферы. Поскольку терминология здесь, как это было видно и по нашему изложению, шаткая, целесообразно, как представляется, принять устойчивые и определенные — пусть и условно-рабочие — понятия.

В качестве общего термина для видов ноэтического смысла, связанных с различными душевными, волевыми и аксиологическими актами, примем уже устоявшееся у нас ранее понятие *тональности* (см. статью о Двуглосии) в его противопоставленности *тематизму*. В контексте феноменологии говорения тональность примыкает к ноэтическому смыслу, тематизм — к ноэматическому, но полный смысл высказывания — всегда и то, и другое. Так же, как между ноэмой и ноэсой в актах сознания, в языковом высказывании границу между тональностью и тематизмом провести не всегда легко. Одним из трудных в последнем отношении вопросов остается проблема соотношения языковых тональности и модальности, учитывая сложные взаимосвязи последней с тематизмом (ноэматикой); мы вернемся к этой теме (см. раздел 3. 2., § 79. «Совмещенный модально-тональный ракурс»).

В числе срединных версий, не полностью перерезающих пуповину между ноэтическим и ноэматическим смыслом, называлась бахтинская. Если интерпретировать иначе терминологически оформленную концепцию Бахтина в терминах феноменологии говорения, то в общем исходном смысле тональность определяется, по Бахтину, трансцендентальным ценностным кругозором внутреннего переживания (от проблем чувственности и телесности мы здесь, напомним, отвлекаемся), однако в конкретно функциональном проявлении тональность ноэс и сама частично зависит от своих ноэм и трансцендентных «объектов», и в свою очередь оказывает на них влияние. Тональность способна *даже переходить в свои ноэмы, становясь их качеством или свойством*. Формируясь изнутри ноэтической стороны сознания, тональность полновесно наполняется и формируется в процессе своего движения, соответствующего ее природной направленности вовне — на ноэматический состав, а в некоторых случаях может внедряться в самую цель своего движения вовне. Вот эта же мысль на языке АГ: *«Изнутри моей действительной причастности бытию мира есть кругозор моего действующего, поступающего сознания. Ориентироваться в этом мире — как событию, упорядочить его предметный состав я могу только (оставаясь внутри себя) в познавательных, этических и практико-технических категориях (добра, истины и практической целесообразности), и этим обуславливается облик каждого предмета для меня, его эмоционально-волевая тональность»*. Бахтин имеет здесь в виду вполне гуссерлианские вещи, но не только: изнутри себя сознание тонально организуется в соответствии с трансцендентными ценностными ноэмами, «выходя» же вовне себя — на объект, сознание, с одной стороны, в некоторой мере предопределяет своей исходной тональностью то, в каком облике предстанет перед ним этот объект, с другой стороны — наделяет и сам предмет тональностью. Помимо того, что это означает, что тональность акта может, как уже говорилось, менять языковую модальность бытия своего предмета, здесь отчетливо проступает еще одна особо значимая для феноменологии говорения тема — *возможность наличия у словесной предметности (у предмета речи) своей собственной тональности*.

Диапазон тональности высказывания имеет несколько векторов. Можно говорить, как минимум, о трех векторах возможных изменений тональности: по оси «экспрессия/импрессия», по оси

смех/серьезность/нейтральность/страх и о коммуникативном векторе тональности (по оси «я — ты»).

§ 56. Диапазон тональности по оси «экспрессия/импрессия».

Передвижение тональности по оси *экспрессия/импрессия* — один из самых сложных моментов в теории тональности сознания и языкового высказывания, именно в этой зоне локализована идея о возможном наличии у словесной предметности (у предмета речи) своей собственной тональности. И терминологически, и концептуально мы следуем здесь за Бахтиным (имеется в виду АГ), но сразу оговорим то обстоятельство, что сами термины *экспрессия* и *импрессия* имеют, как известно, у Бахтина — и, соответственно, у нас — отличные от нейтрально распространенных толкования³⁴. Если формулировать пока в общем плане, то особенность — в том, что тональность дислоцируется здесь у Бахтина по разным сторонам ноэтически-ноэматической структуры: своя тональность усматривается у ноэсы — терминологически это закрепляется как *импрессия*; и своя тональность усматривается у ноэмы (предмета речи) — терминологически это закрепляется как *экспрессия*³⁵. Здесь можно было бы сразу говорить, во избежание некоторого насилия над известной терминологией, о *ноэматической тональности* (вместо экспрессии) и о *ноэтической тональности* (вместо импрессии), как мы и будем иногда делать, но все же мы примем эту терминологическую пару ради стоящих за ней бахтинских идей, существенных для феноменологии говорения. Ввиду обособленности толкования терминологии и сложности темы воспроизведем идею Бахтина подробнее, придавая ей по ходу дела соответствующую феноменологии говорения интерпретацию, т. е. транспонируя эстетическую идею Бахтина в собственно языковую плоскость.

В эстетике, по Бахтину, можно выделить две главные и противоборствующие линии — экспрессивную и импрессивную, каждая из которых, акцентируя реально значимые эстетические моменты, неправомерна в случае наличия у нее тенденции к единоличному доминированию. Эстетическое явление, говорит в АГ Бахтин, всегда носит «двойкую функцию: экспрессивную и импрессивную, которым соответствует двойкая активная установка автора и созерцателя». Мы транспонируем эту бахтинскую идею о всегда «двойкой» — экспрессивной и импрессивной — функции на язык и выдвигаем предположение, что в каждом высказывании также есть аналогичная двойко-активная тональность говорящего. Это предположение интересно для феноменологии говорения, как уже отмечалось, тем, что

³⁴ Сам Бахтин следующим образом оговаривает условность (не прямое совпадение с общепринятым употреблением) используемых названий «экспрессивная» и «импрессивная» эстетика: «Мы назовем эстетику этого направления произвольно созданным термином экспрессивной эстетики (независимо от экспрессионизма и импрессионизма, не совпадает оно и с разделением на формальную (эстетику) и эстетику содержания, хотя и близко) в противоположность иным направлениям, переносящим центр тяжести на внешние моменты, которые мы обозначим импрессивной эстетикой (Фидлер, Гильдебрандт, Ганслик, Ригль и др., эстетика символизма и пр.)».

³⁵ Это восходящее к Бахтину терминологическое распределение прямо обратно, как видим, шпетовскому пониманию экспрессии как отражения субъективных оценочных ноэс автора (Шпет в рамках так трактуемой терминологии говорил не об экспрессии, а, скорее, об импрессии). Что касается идеи наличия тональности у самого предмета речи, наличия у него своей экспрессии, то эта идея, по-видимому, Шпетом не рассматривалась.

функционально оно совпадает с параллелизмом ноэм и ноэс: экспрессивная разновидность тональности «используется» говорящим для передачи тональности выражаемых «ноэм» как предметов речи (в качестве внутренней экспрессии «самих» ноэм); импрессивная разновидность тональности — для передачи тональности ноэс самого говорящего (их аксиологических тетических характеристик). Одно дело — экспрессия, содержащаяся в самом созерцаемом, в случае, напр., наблюдения страданий побиваемой кнутом лошади (или «крестьянки молодой»), другое дело — импрессия, разновидность тональной оценочной или эмоциональной реакции (ноэсы), возникающей внутри наблюдающего и направляемой вовне на наблюдаемое (можно кинуться со слезами на глаза на шею «бедной» лошади, можно позлорадствовать, как это часто бывает, можно — испытать удовлетворение от «справедливости» наказания или «неотвратимости возмездия», можно — холодно в вывести внутренне значимую и безразличную для «крестьянки» ассоциацию с Музой). В языковом высказывании, как правило, всегда содержатся в той или иной степени интенсивности обе эти разновидности тональности, создавая своим скрещением неплоскостной объем общей тональности высказывания и порождая разнообразные варианты своего совместного существования в высказывании. Это — значимый момент: как сами ноэсы и ноэмы, которым они ставятся в параллель, экспрессия и импрессия тоже могут подвергаться в высказывании различного рода инсценировкам (наложениям, опущениям, наращиваниям, перестановкам, инверсиям и т. д.), могут они и выноситься в зону подразумеваемого и невыражаемого смыслового пласта ноэтической ситуации (некрасовская «холодноватая» ассоциация с Музой оттесняет сочувствие к созерцаемому в подразумеваемый пласт). Различного рода комбинаторика экспрессии и импрессии и скольжение высказывания по оси между ними создают дополнительные возможности для непрямого говорения. Во многих случаях импрессия и экспрессия выражаются как не прямой смысл, порождаемый, напр., такими интересными языковыми явлениями, как *наложение и чередование* экспрессии и импрессии (показательным примером наложения и чередование экспрессии и импрессии может служить та же двуголосая конструкция, в которой экспрессия чужого голоса, являющегося предметом авторской речи, налагается на импрессию «авторского голоса» и чередуется с ней).

Бахтиным эта идея «всегда двойкой» тональности высказывания обосновывается через показ последствий односторонней установки только на экспрессию или только на импрессию. Поскольку и в феноменологии говорения эта обязательная «двойкость» конститутивна, проинтерпретируем выводимые Бахтиным «негативные» последствия в ее терминологии. Экспрессивное направление эстетики, пишет Бахтин, односторонне *«определяет существо эстетической деятельности как сопереживание внутреннего состояния или внутренней деятельности созерцаемого объекта: человека, неодушевленного предмета, даже линии, краски <для языкового высказывания «внутреннее состояние» — это экспрессивная потенция ноэматического состава, или созерцаемого предмета, или положения дел как таковых>. В то время как геометрия (познание) определяет линию в ее отношении к другой линии, точке, плоскости как вертикаль, наклонную, параллельную и пр., эстетическая деятельность определяет ее с точки зрения ее внутреннего состояния (точнее, не определяет, а переживает) как стремящуюся вверх, падающую... и пр. <т. е. как имеющую собственную тональную направленность — экспрессию>. С точки зрения такой общей формулировки основоположения эстетики мы должны отнести к указанному*

направлению <экспрессивному> не только в собственном смысле эстетику вчувствования (отчасти уже Т. Фишер, Лотце, Зибек, Р. Фишер, Фолькельт, Вундт и Липпс), но и эстетику внутреннего подражания (Гроос), игры и иллюзии (Гроос и К. Ланге), эстетику Когена, отчасти Шопенгауэра и шопенгауэрианцев (погружение в объект) и наконец эстетические воззрения А. Бергсона». В отличие от экспрессивной тональности, направленной на выражение «внутреннего состояния или внутренней деятельности созерцаемого объекта» (ноэтического состава), импрессивная тональность направлена на выражение тонально-продуктивной активности самого говорящего — его ноэс. «Импрессивная теория эстетики, к которой мы относим все те эстетические построения, для которых центр тяжести находится в формально-продуктивной активности художника, каковы: Фидлер, Гильдебрант, Ганслик, Ригль, Витасек и так называемые “формалисты” (Кант занимает двойственную позицию)». Отсюда «двоякость»: тональность предмета речи и тональность говорящего. Одно без другого концептуально немислимо — это взаимосвязанная пара.

Бахтин толкует односторонность обоих подходов, если они акцентируют только одно из этих направлений, следующим образом: если сугубо экспрессивное выражение теряет автора, т. е. не выражает его импрессивной тональности, акцентируя только экспрессию самого предмета речи (только ноэтический состав), то импрессивная эстетика «в противоположность экспрессивной, теряет не автора, но героя — как самостоятельный, хотя и пассивный, момент художественного события» <теряет в качестве самостоятельного момента высказывания ноэтический состав речи — то, о чем высказывание, «предмет речи», в иной терминологической перспективе — «референт»). Потеря одного из компонентов ведет к распаду целостности эстетической формы. Полнота тональности, обеспечивающая среди прочих условий эту целостность, достижима только совмещением импрессивных и экспрессивных моментов, создающих своим напряженным скрещением устойчивый тональный каркас формы. Для феноменологии говорения это можно интерпретировать как в полном, так и в усеченном объеме. В полном объеме тезис о необходимости двоякой тональной насыщенности означает, что даже если одна из этих тональностей «отсутствует» (в смысле — не заложена сознательно самим говорящим), воспринимающее сознание в целях достижения целостного восприятия само восполняет это отсутствие, т. е. подключает к понимаемому высказыванию опущенную либо экспрессию, либо импрессию.

В усеченном объеме этот тезис можно интерпретировать в том смысле, что если один из этих моментов выпадает, сознательно «не закладывается», то высказывание приобретает специфические качества, ограничивающие поле его функционирования (т. е. сужает число возможных для таких высказываний ситуаций и контекстов общения). Так, можно предполагать, что при исключении импресии высказывание получает псевдообъективное звучание, отстраняющее от смысла речи самого говорящего и его ноэсы, и тем самым претендует на прямую референцию «предмета речи». Понятно, что ситуации общения, в которых реально мыслимы такие высказывания, существенно ограничены — фактически, это только логико-аналитическая сфера общения. Эту же аналитическую по импульсу идею (в случае одностороннего доминирования в высказывании экспрессивной идеи) об установке на непосредственную прямую референцию и изоморфную корреляцию можно усмотреть и у Бахтина — в ее эстетической обработке: «согласно экспрессивной теории, структура того мира, к которому приводит нас чисто

экспрессивно понятое художественное произведение — собственно эстетический объект — подобна структуре мира жизни». Такое отношение прямого подобия реально значимо, говорит Бахтин, только в «игре», причем исключительно для самих ее участников, но не для какого-либо наблюдателя игры извне (в рамках теории языковых игр, напр., Л. Витгенштейна, можно было бы говорить применительно к описываемому случаю о «языковой игре в прямую референцию»). Для любого внешнего наблюдателя такая языковая игра обрывает импрессивной оболочкой (ее участники воспринимаются как так или иначе характерно в тонально-импрессивном отношении определенные — как, например, «аналитически мыслящие»). О невозможности — с точки зрения феноменологии говорения — полностью прямого во всех его моментах и слоях языкового высказывания, адекватно и изоморфно коррелировавшего бы с предметом, мы уже подробно говорили выше (в том числе изнутри гуссерлевой феноменологии — см. раздел 1. 2. «Элементы непрямого выражения у Гуссерля»). Можно выразить это же и в нововведенных терминах: описываемый случай — это недостижимый на практике и лишь теоретически мыслимый предел языкового высказывания с исключительно одним только *ноэтическим смыслом*.

При исключении экспрессии мы получаем обратное — игру абсолютно субъективных ноэс над псевдоналичным предметом речи, какового в его полном и самостоятельном смысле в таких случаях нет: высказывание без экспрессивного вектора тональности — *беспредметно* (здесь акцентированы одни ноэсы без придания значимости ноэмам). Ср. у Бахтина: при сугубо импрессивном толковании ситуации *«творчество художника понимается как односторонний акт, которому противостоит не другой субъект, а только объект, материал* <в нашем языковом контексте — в высказывании отсутствует реальная ноэма, реальный экспрессивно насыщенный предмет, и говорящему «противостоит» только язык и его семантика>. *Форма выводится из особенностей материала: зрительного, звукового и пр. При таком подходе форма не может быть глубоко обоснована, в конечном счете находит лишь гедоническое объяснение, более или менее тонкое. Эстетическая любовь <тональная организация высказывания> становится беспредметной*. В нашем контексте «гедонистическое объяснение» строения высказывания схоже с теориями риторики и тропов как «украшений речи», не имеющих отношения к ее «предмету». Это — недостижимый на практике и лишь теоретически мыслимый предел языкового высказывания с исключительно одним только *ноэтическим смыслом*.

Специфические ограничения только экспрессивных или только импрессивных высказываний — подобны: *«Крайности сходятся: и импрессивная теория должна прийти к игре, но иного рода, это не игра в жизнь ради жизни <ради прямой референции> — как играют дети, но игра одним бессодержательным <безноэтным> приятием возможной жизни, голым моментом эстетического оправдания и завершения только возможной жизни <игра субъективных ноэс>. Для импрессивной теории существует лишь автор без героя, активность которого, направленная на материал, превращается в чисто техническую деятельность»*.

Хотя концептуально, как представляется, Бахтин прозрачно наметил экспрессивно-импрессивное разделение тональности, трудность применения такого подхода к языковым высказываниям остается, прежде всего — в том, чтобы согласиться, хотя бы условно, рассматривать всякий предмет речи (а не только, скажем, персонажа в художественной литературе) обладающим своей собственной тональностью — экспрессией. Тем не менее есть основания

считать, что во всех языковых высказываниях присутствуют и экспрессия, и импрессия и что они значительно влияют на смысл речи; во всяком случае для феноменологии говорения такое понимание оказывается концептуально перспективным и обладающим потенциальной объяснительной силой. Одна из открывающихся возможностей — толкование каждого предмета речи как «свернутой точки говорения» (подробнее см. одноименный параграф); такое толкование в свою очередь добавляет аргументы к принятию тезиса о том, что каждый предмет речи обладает собственной экспрессивностью.

В качестве общей сопоставительной характеристики этих разновидностей тональности можно, таким образом, говорить, что экспрессивность доминирует в высказывании там, где на первый план выдвигается ноэматический смысл (предмет речи), заслоняя или подавляя автора — смысловой потенциал ноэс (или, что то же, отсекая ноэтический смысл от ноэматического); импрессивность доминирует там, где, наоборот, авторская импрессионистическая тональность заслоняет собой экспрессию предмета (ноэмы) и вместе с ней как минимум часть ноэматического смысла. Гипотетически можно в этом смысле говорить о двух крайних пределах. О *тотальной экспрессии*, при которой возможно предполагать почти полное растворение (слияние) ноэтического смысла в ноэматическом (у Бахтина это — «почти полное совпадение автора и героя в лирике», у Гуссерля — почти полное совпадение того, о чем говорится, и того, что говорится) и о *тотальной импрессии*, при которой эмоционально-волевое напряжение сознания — его совокупная тональность — «еще не дифференцировалась» (АГ) на экспрессию и импрессию; «предмет» еще не вычленен и не обособлен (не конституирован), а значит — доминирует импрессия, обладающая первородством относительно экспрессии. Автор в такого рода случаях тонально наступателен, предмет же опутан во многом хаотичными лучами его недифференцированной тональности (с вкраплением в импрессию неотрефлексированных экспрессивных моментов, с их по сути смешением); «предмет» здесь не столько «теряет», сколько так и «не приобретает» в этой смешанной тональности своего собственного и отчетливого модуса бытия и тональности.

В речи «тотальная импрессия» в полном смысле невозможна (слушающий всегда сам «насиленно» вычленит предмет или, если потребуется, сделает предметом саму недифференцированность авторской импрессии). В полном смысле невозможна в языке и «тотальная экспрессия». В обоих случаях играет свою запретительную роль язык — но по-разному. Если невозможность тотальной импрессии можно объяснить всеобщностью семантики, которая тем самым всегда так или иначе порождает ощущение, пусть и миражное, предмета речи (за каждой лексемой для сознания «маячит» предметность), то невозможность тотальной экспрессии можно объяснить тем, что и всеобщая семантика (сфера языковых значений) всегда для говорящего получужая (часто она для него не «всеобщая», а интенционально расхищенная разными голосами), и потому в любом случае вместе с семантикой, мыслимой авторским голосом как всеобщая, в высказывании начинают звучать чужие голоса, размывающие предполагаемый тотально-экспрессивный облик предмета речи.

Тотальная импрессия невозможна и потому, что слушающий изначально начинает рассматривать в таких случаях в качестве предмета речи представленную конфигурацию импрессивно-оценочно-тональных нитей и ноэс, да и сам говорящий — в случае целенаправленного создания именно так задуманного высказывания — изначально тоже выдвигает в положение

предмета речи своего высказывания некую особую, получающую предметный статус и ценность, конфигурацию импрессивно-тональных нитей, фактически — особо сотканную конфигурацию безноэмных нозс, которая сама становится тем самым сложносоставленным интенциональным объектом, оторвавшимся от автора в позицию противостоящей нозмы. Такого рода высказывания — это разновидности ноэтически-ноэматических инсценировок: и движение в сторону никогда не достигаемой тотальной экспрессии, и установка на также недостижимую тотальную импрессию — способы передачи непрямого смысла.

Детальный разбор сложной темы «тональности сознания и языковых высказываний» не входит сейчас в нашу задачу (хотя некоторые ее детали и будут поясняться по ходу дела). Нам необходимо было лишь дать общее представление об этой значимой для языкового смысла сфере в ее импрессивно-экспрессивном аспекте. Здесь же остановимся лишь на самом моменте придания (или экспликации) предмету речи собственной формы тональности (экспрессии).

§ 57. Моменты придания и экспликации экспрессии ('вложение' и 'проникновение'). Бахтин выделяет случаи «вложения» экспрессии в предмет извне и «проникновения» в имманентно присущую предмету экспрессию. В последнем случае «облик» предмета (его как-данность и, в пределе, как-бытие) меняется.

«Вложение» происходит при «вчувствовании», «проникновение» (это, по-видимому, ивановское по происхождению понятие, использовавшееся при описании особенностей авторской позиции в романах-трагедиях Достоевского) — при особо постулируемом Бахтиным подходе, называемом им «симпатическом сопереживанием, сродном любви». *«Вплетаем ли мы ее <«любовь» — Бахтин говорит о симпатическом сопереживании, сродном любви> в переживания героя <предмета речи> и как? Можно думать, что мы эту любовь свою <...> так же вчувствуем <вкладываем> в эстетически созерцаемый объект, как и другие внутренние состояния: страдание, покой, радость, напряжение и пр. оценки извне <т. е. также вкладываем в предмет извне идущие импрессивные оценки>. Такое понимание было бы, по Бахтину, неверным: при сродном любви симпатическом сопереживании происходит другой процесс — «проникновение»: «Мы называем предмет и человека милым, симпатичным, т.е. приписываем эти качества, выражающие наше отношение к нему, ему самому — как его внутренние свойства. Действительно, чувство любви как бы проникает в объект, меняет его облик для нас <влияет на наше как-восприятие, а, возможно, и на как-данность нозмы, и на понимание предмета речи, и на сам предмет>, но тем не менее это проникновение носит совершенно иной характер, чем вложение, вчувствование в объект другого переживания, как его собственного состояния, например, радости в счастливо улыбающегося человека, внутреннего покоя в неподвижное и тихое море и пр.³⁶ В случае вложения*

³⁶ Эта тема имеет отношение к разделению имманентных и акцидентальных предикатов в аналитике. См. аналогичную постановку вопроса у Дж. Серля: *«Одной из труднейших — и наиболее важных — задач философии является прояснение различия между теми свойствами мира, которые внутренне присущи ему в том смысле, что они существуют независимо от любого наблюдателя, и теми, что зависят от наблюдателя в том смысле, что они существуют относительно некоторого внешнего наблюдателя или пользователя. Например, то, что объекту присуща определенная масса, есть его внутреннее свойство. И если бы мы умерли, у него по-прежнему была бы эта масса <'масса', возможно, у него и была бы — только вот никто не назвал бы ее 'массой' — Л. Г.>. А вот то,*

(вчувствования) в предмет вкладывается авторская импрессия, в случае проникновений происходит иное, чем при «вложениях» — мы проникаем в собственную экспрессию предмета речи: проникновение *«оживляет внешний объект изнутри, создавая осмысливающую его внешность внутреннюю жизнь, любовь как бы проникает насквозь и его внешнюю и его вчувствованную внутреннюю жизнь, окрашивает, преобразует для нас полный объект, уже живой, уже состоящий из души и тела»*. Можно заострить: производимое с помощью тональности проникновение в собственную экспрессию предмета преобразуют сам предмет.

Если вернуться к гуссерлевой терминологии, то этот процесс можно определить как *преобразование нозмы тональной нозсой*. Вещь для чистой феноменологии сомнительная (тональность, напр., оценка, по Гуссерлю, может наслаиваться на нозму или отслаиваться от нее, но никак не проникать в нее, преобразуя саму нозму; она может и сама стать нозмой, но другой, нежели исходная), для бахтинской же «феноменологии переживания другого» и для феноменологии говорения это — вещь обычная. Причем речь не обязательно идет в случаях проникновения о «любви» в ее «позитивном» понимании, не только о милующем преобразовании «человека» в «милого человека». Хотя Бахтин здесь не говорит об этом, но несомненно имеет в виду: чем случай преобразования «человека» в «неприятного человека» отличается от первого случая? Только содержанием тональности (содержанием находимой в самом предмете речи экспрессии).

§ 58. Нозматическая и нозгическая тональность. В итоге мы можем, таким образом, зафиксировать, что бахтинское понимание экспрессии и импрессии хорошо сочетается с феноменологической терминологией. Фактически можно при интерпретации бахтинских идей — как и говорилось при первых подступах к этой теме — выйти на два новых понятия феноменологии говорения: на *нозматическую тональность* (экспрессия самого предмета) и *нозгическую тональность* (импрессию). При концептуально точном попадании, эти понятия тем не менее представляются менее выразительными, чем экспрессия и импрессия — и потому, что первые слишком «общие», и потому, что вторые именно благодаря своему нестандартному бахтинскому толкованию влекут за собой значимый ряд разнообразных ассоциаций.

Бахтин стремился придать нозгической и нозматической тональности равную значимость для инсценирования целостности предмета речи и самого высказывания (теория завершения в АГ — это концепция преобладания нозгической тональности над нозматической, теория полифонии — это концепция преобладания нозматической тональности или, если учитывать перспективу, равновесного положения обеих).

§ 59. Разновидности тональности по оси «смех/страх». Второй выделяемый нами тип разновидностей тональности связан, как уже говорилось, с ее передвижениями по оси «смех/страх» или (в развернутом варианте) по оси *смех/серьезность/нейтральность/страх* и т. д. (сюда же примыкают ирония, пародия, стилизация и т. д.). Это — одна из фундаментальных тем концепций тональности и аксиологии, в том числе, как

что этот же самый объект является ванной, не есть внутреннее свойство: оно существует только по отношению к пользователям и наблюдателям, которые и придают ему функцию ванны. Обладание массой является внутренним свойством, но вот быть ванной — это зависит от наблюдателя даже несмотря на то, что данный объект одновременно имеет массу и оказывается ванной» — Сёрл Джон. Открывая сознание заново. М., 2002. С. 21 — 22.

известно, и у Бахтина. Затрагивать ее сколько-нибудь серьезно мы здесь не можем (о ней косвенно говорится в статье о бахтинском двуголосии и в §§ «Заостренные и нейтральные версии ноэтического смысла. Хайдеггер и Бахтин» и «Диапазон тональности»), зафиксируем лишь для нас главное — «место» этого вектора в общем концептуальном пространстве проблемы тональности.

Само существование этого вектора тональности и его значимость вряд ли могут вызвать сомнение, но проблема толкования топоса и статуса этого круга вопросов всегда относилась к разряду «трудных». В нашем случае оказывается, что описанный выше вектор тональности по оси экспрессия/импрессия может послужить здесь существенным подспорьем. Дело в том, что и смех и страх возможны только по отношению к тому, что само тонально. Если смех или страх относятся к предмету речи, значит он — имманентно тонален, в принятой нами терминологии — содержит «экспрессию». В общем виде этот тезис может быть сформулирован следующим образом: тональная ось «смех/страх» может быть понята как наслоение на ось «экспрессия/импрессия». В обычном случае смех и страх — ноэтические тональности, исходящие от «автора», т. е. импрессивного, а не экспрессивного происхождения³⁷. Если бы предмет речи не воспринимался (имплицитно или эксплицитно) как обладающий своей ноэматической тональностью (экспрессией), ноэтические тональности страха и смеха не к чему было бы прилагать. Так, нельзя смеяться или иронизировать над камнем как «предметом речи», бояться его — если, конечно, предварительно на наделить его экспрессией (не вложить в него тональность необоснованного безмятежного покоя, неподвижной тупости, готовности угрожающе-опасно сдвинуться с места, напускного безразличия и пр.).

В общем смысле можно, таким образом, рискнуть дать определение: для данного вектора тональности необходимо наличие и импрессии, и экспрессии, причем по «механизму» и смех, и страх, и серьезность, и благоговение, и ирония и пр. — все являются *разновидностями импрессивной реакции на экспрессию*, или — разновидностями наложения ноэтической тональности на ноэматическую. В большинстве случаев такие ноэтические тональные реакции на ноэматическую тональность полностью не семантизуемы и потому отходят в своей существенной доле в зону непрямого смысла.

§ 60. Коммуникативный вектор тональности. Оппозиция экспрессия/импрессия бралась выше, как понятно, в изоляции от коммуникативных параметров (в рамках условного знака равенства между говорящим и слушающим, автором и воспринимающим). Подключение коммуникативного аспекта еще более усложняет тональную структуру речи: тон высказывания может существенно меняться в зависимости от иерархических взаимоотношений говорящего и слушающего (как равных или

³⁷ Конечно, и предмет речи тоже может быть внутри себя «боящимся» или «смеющимся», но эти тональности все равно останутся экспрессивными — в том смысле, что они не будут оказывать решающего воздействия на языковую модальность высказывания, которая в значительной степени определяется именно импрессией (ноэтической тональностью). Если «автор» не «засмеется вместе с предметом речи», т. е. тонально иначе отреагирует на «смеющийся» предмет речи, напр., оценит эту его экспрессию как не имеющую реальных причин или лицемерную, то само содержащее эту ситуацию языковое высказывание не будет иметь отношения к имеющемуся здесь в виду вектору тональности по оси «смех/страх». Оно может быть эпически-спокойным, серьезным, саркастическим, просто описывающим, рассказывающим, изображающим и т. д.

находящихся в той или иной субординации, отсюда — просьба или приказ, строгость или свобода выражения), от степени их предполагаемой говорящим близости (фамильярный или официальный тон) и т. д. Конкретнее об этих и других видах «я — ты» взаимоотношений и их влиянии на тональность и смысл высказывания см. Глава 4, § «Коммуникативная позиция».

§ 61. Сводная номенклатура намеченных разновидностей ноэтического смысла. Перечислим основные из намеченных выше конкретные разновидности ноэтического смысла, имеющие отношение к непрямому говорению: различные семантические стяжения и «растяжки» ноэтически-ноэматических структур, феноменологическая инверсия, семантизированные и несемантизированные формы передачи ноэтического смысла (через интонацию), «изображение» ноэтических смыслов; наслаивание и переконфигурация ноэс, опущение ноэм и другие ноэтические трансфигурации, свойственные тропологии, модальность, тональность и ее разновидности (связанные с оппозициями кругозор/окружение, экспрессия/импрессия, смех/страх, ноэматическая/ноэтическая тональности, иерархически-аксиологические взаимоотношения говорящего и слушающего) и др. В дальнейшем номенклатура разновидностей и форм выражения ноэтического смысла будет расширяться по трем основным направлениям.

В качестве первой отдельной разновидности выражения ноэтического смысла будет введено понятие «*фокусов внимания*» и описаны их смены, наложения, временные перестановки, сращения, прием «дефокализации» и «ложных смен» (в тропологии) и т. д.

Второе направление — разновидности ноэтических смыслов, связанные с *языковыми модальностями*, рассмотренными в совместном с тональностью ракурсе: модальные сдвиги, скрытые смены фокусов внимания в связи со сдвигами модальности, смены модальностей как способ развертывания смысла при приостановке смен фокусов внимания; не прямые смысловые эффекты при сменах языковой модальности; соотношение модальных сдвигов и переконфигурации ноэм и ноэс в тропологии и т. д.

Третье направление — *интерсубъективная эгология*. Здесь будут описаны разновидности ноэтических смыслов и их выражения, связанные с понятием «точка говорения»: зазор между фокусом внимания, первичным автором и точкой говорения, а также различные типы частных и парных точек говорения и особенности их «поведения» в высказывании: «*речевые центры*» Я и Он, «*коммуникативные позиции*» Я и Ты (их связь с трехголосием, с рассказчиком и другими вторичными авторами); «*диапазон причастности*» точки говорения по шкале «Я-мы-все-никто»; передвижения точки говорения по «*диапазону тональности*». Особо будут оговорены гипотезы о «предмете речи» как свернутой точке говорения; о смене точек говорения *изнутри и извне* семантики; будут описаны различные формы инсценировок из точек говорения, а также будет — отдельно — рассмотрена проблема авторской позиции как типической конфигурации точек говорения (включая «инсценированные» смерть и самоубийство автора).

ГЛАВА 3.

ФОКУСЫ ВНИМАНИЯ, ЯЗЫКОВЫЕ МОДАЛЬНОСТИ И ТОНАЛЬНОСТЬ.

3. 1. ФОКУС ВНИМАНИЯ.

§ 62. Актовые и эгологические сдвиги и сцепления. В местах сочленения актов, составляющих единый поток, происходят — если пользоваться гуссерлевой терминологией — «интенциональные события»: разнообразные изменения в интенциональности сознания. «Интенциональное событие» — это всегда некий смысловой «сдвиг» сознания, происходящий на шве сочленения или наложения разных актов (§ 92). В речи также есть события-сдвиги на швах сочленения языковых актов, которые — в параллель к сдвигам интенции — тоже всегда означают появление какого-либо нового смыслового компонента, нового «смыслового события».

Между сдвигами сознания и языковыми сдвигами, инсценирующими первые, все те же отношения неизоморфной корреляции. Поскольку смысловой «сдвиг» — эффект от синтаксического сцепления актов, для выявления типологии происходящих смысловых событий нужна типология сдвигов как разновидностей сцепления актов. Таких разновидностей и параметров их выделения много, здесь будут акцентированы два: 1) актовые сдвиги (аттенциональные, модальные и временные сдвиги, связанные с изменением направленности, характера или языковой инсценировки акта) и 2) эгологические сдвиги, связанные с изменением источника исхождения смысла (о них — в следующей эгологической главе).

§ 63. Фокус внимания и его смены¹. Фокус внимания (ФВ) и его перемещения связаны с постоянными сменами подразумеваемых ноэтических ситуаций на всем протяжении высказывания. Под *фокусом внимания* будет пониматься то, что находится в «*производящей Теперь-точке*» связанной последовательности языковых актов, точке, которая — как и в течении неязыковых актов — «*беспрерывно каким-либо образом заполнена*»². Под «*сменами фокуса внимания*» как формой сцепления языковых актов будет

1 Первые внефеноменологические попытки обоснования «*фокуса внимания*» и его смен см.: *Гогтишвили Л. А.* Хронотопический аспект смысла высказывания // *Речевые цели: мотивы и средства.* М., 1986; *Гогтишвили Л. А.* Философия языка М.М. Бахтина и проблема ценностного релятивизма // *Бахтин как философ.* М., 1992.

2 *Гуссерль Э.* Феноменология внутреннего сознания времени. М., 1994. С. 28. В основе этой работы — лекции, читавшиеся Гуссерлем в 1905 и 1910 годах (т. е. учтенные в своем существенном смысле в «Идеях I»), но изданные впервые в 1928 году (в опубликованном тексте есть иновременные вставки, так что интервал написания работы помечается так: 1893 – 1917). Этот текст высоко ставится и всеми критиками Гуссерля. Производимое здесь феноменологическое описание потока восприятия мелодии и его отдельных тонов имеет декларированное автором качество упрощенной иллюстрации, предполагающее возможность транспонирования высказанных идей на понимание других типов организованной последовательности актов сознания, в том числе и на поток индуцируемых и инсценируемых актов порождения (и восприятия) высказывания. Учесть изложенные здесь Гуссерлем идеи в их полном составе и корректно транскрибировать их в языковой контекст — отдельная сложная тема.

пониматься специально языковая инсценировка того, что Гуссерль называл интенциональными и аттенциональными сдвигами или поворотами в потоке актов сознания («Феноменологически взаимосвязь дана уже вообще возможными поворотами взгляда, которые могут совершаться в пределах любого акта, причем те составы, какие доставляются этими поворотами взгляду, сплетены между собою разного рода сущностными законами» — § 148).

Дадим предварительные и показательные (за счет опоры на внешнее референциальное поле, что далеко, как мы увидим далее, не обязательно) примеры с целью избежать неясности в вопросе о том, что именно имеется в виду под сменами фокуса внимания: «У дверей, на каменной скамье, той самой скамье, встав на которую Генерал Дрюо четвертого марта прочел перед толпой изумленных обитателей Дина прокламацию, написанную в бухте Жуан, сидел жандарм» (В. Гюго). Или: ‘Услышав шаги старика, мальчик оглянулся, а старик, заметив его, почувствовал, что бледнеет’ (Дрюон). Подчеркнутые слова (может, и не одни они) фиксируют последовательность сменных во фразе фокусов внимания. Смены ФВ могут осуществляться, как видно, на границах предложений, внутри сложных предложений, внутри простых предложений, напр., при придаточных предложениях, причастных и деепричастных оборотах, и т. д.

Фокус внимания перемещается в *ноэватическом* пространстве. При интенциональном сдвиге появляется новый интенциональный объект, при аттенциональном — взгляд сдвигается на другой ноэватический фрагмент того же целостного, многокомпонентного и многослойного, интенционального поля (включая ‘обозримые’ кругозором акта окружение и фон — «ноэватическую ситуацию»). Язык действует схожим образом: инсценируемый фокус внимания выделяет в текущем конструируемом семантическом пространстве и ноэватической ситуации один из элементов в качестве центра, относительно которого — как его кругозорный фон — группируются все остальные ноэватические и ноэватические “участники” семантического состава предложения. ФВ закрепляется на одном из компонентов предложения, в логически стандартном случае — на подлежащем (как в гуссерлевых некоммуникативных актах логического выражения), но в конструкциях, сколько-нибудь отклоняющихся от грамматических и логических шаблонов, возможно закрепление ФВ и на любых других синтаксических позициях. Смысл этой двойственности — возможности фиксации ФВ и на субъектной, и на любой другой синтаксической позиции — будет по ходу дела концептуально толковаться нами ниже.

В литературе факт наличия в языке явлений такого рода отмечается часто, но не в меньшей степени к существу дела относится также то, что в высказываниях идет процесс постоянных *смен ФВ* (как в только что закончившемся предложении, где ФВ сменяется с исходного «факта наличия ФВ» на «существо дела» и далее — на «процесс смен ФВ. Каждый фокус внимания в фазе Теперь имеет своего предшественника и сменщика. Выбирая ту или иную языковую форму и синтаксическую роль для тех или иных фрагментов смысла, т. е. поочередно фокусируя одни и оттесняя на второй план ноэватической ситуации другие фрагменты, говорящий управляет движением «взгляда» слушающего, индуцируя тем самым не только один определенный акт, но через смену ФВ — посредством измененного тем самым направления внимания — индуцирует вспыхивание нового акта, а через череду

связных смен ФВ — и становящуюся *последовательность* актов. Примером на индуцирование последовательности актов опять может послужить только что законченная фраза — как, собственно говоря, и всякая другая.

Текущие и сменяющие друг друга в последовательности семантические компоненты фразы удерживаются сознанием в своем совокупном единстве за счет особенного свойства содержимого «точки Теперь» (в языке — фокуса внимания) — еще некоторое время удерживаться в сознании, «еще осознаваться» после его удаления с этой позиции. Другой стороной этой способности можно считать то, что при «уходе» словесных конструкций в «прошлое время» их смысл «сжимается» (*«рефлексивное погружение в единство расчлененного процесса позволяет нам наблюдать за тем, что артикулированная часть процесса при погружении в прошлое «сжимается» — вид временной перспективы, аналогичный пространственной перспективе...»* — там же, 29) и, «сжимаясь», уплотняется именно вокруг того, что находилось в позиции ФВ (а это не обязательно подлежащее).

Все это приводит к мысли, что кроме очевидных способов фиксации фокусов внимания и их смен (на границах предложений, внутри сложных предложений, внутри простых предложений, при придаточных оборотах и т. д.) имеются, как можно полагать, и более изощренные сложные случаи, напр., смена ФВ внутри атрибутивных сочетаний или внутри предикативного акта. Так, теоретически не исключено, хотя это трудно практически иллюстрировать, что язык способен произвести аттенциональный сдвиг и на протяжении любого непредикативного словосочетания, напр., при неаналитическом заполнении валентности ведущего слова. Такая теоретическая возможность выводится из того уже отмеченного выше обстоятельства, что изолированная семантика слова может содержать в себе наряду с ноэматическими и ноэтическими компонентами смысла (ту или иную информацию о «позиции наблюдателя»), т. е. — в феноменологическом плане — ту или иную информацию о соответствующей ноэсе. Меняя же синтаксическими средствами — т. е. изменениями в сочетаемости слова — эту исконно принадлежащую слову ноэтическую характеристику, говорящий может сместить фокус внимания внутри этого словосочетания (чего не произошло бы при аналитическом заполнении валентности).

Мы встречались с аналогичными случаями в поэзии Вяч. Иванова, названными «антиномическим заполнением валентностей». Повторим пример и комментарий на «трансформацию непредикативного сочетания с аналитическим заполнением валентности *проститься до завтра* в символически-антиномичное по временному параметру сочетание *проститься до вчера*, в котором смещен вектор аналитического движения времени: *...Прости! / До тесной прости колыбели, / До тесного в дугах двора, — / Прости до заветной цели, / Прости до всего, что — вчера* (2, 275). Вместе с конструкцией *прости до вчера* здесь одновременно даны и антиномизированные конструкции *прости до сейчас* («до тесного в дугах двора») и *прости до рождения* («до колыбели»), т. е. использовано характерно ивановское нанизывание нескольких антиномических конструкций на единый синтаксический стержень. Дана здесь и аналитическая норма — *прости до цели*, создающая фон для антиномического звучания всего фрагмента».

В новой терминологии феноменологии говорения можно сказать, что, напр., в «прости до рождения» (*До тесной прости колыбели*) производится смена ФВ: слушающий вынужденно переводит внимание на необычное

заполнение валентности, требующее от него изменения «закодированной» в глаголе ноэтической установки: с установки на «будущее время» — на установку на «прошедшее» («не бывшее», «остановленное», «настоящее» и т. д.).

§ 64. Фокус внимания как один из содержательных параметров акта говорения. В самом общем приближении можно, кажется, говорить, что ФВ и смены ФВ способны дать один из параметров для членения высказывания на последовательность «актов говорения», или (заходя с другой стороны) можно в общем приближении говорить, что понятие ФВ и смен ФВ дают фрагмент содержательного наполнения для нашего ранее 'полого' понятия «*акта говорения*»: акт говорения можно теперь понимать как тот фрагмент высказывания, в котором содержится один ФВ и который с обеих сторон ограничен сменами ФВ³. Именно в этом смысле выше говорилось, что постоянная сменяемость ФВ понимается как преобразованный языковой аналог ноэтической синтактики: как в последней связываются в последовательности акты сознания с разными аттенциональными лучами, так и акты говорения, сменяя друг друга в моменты смен ФВ, образуют связную последовательность. Фокус внимания, таким образом, подвижен в согласии с феноменологически неотмысливаемой перманентной сменяемостью актов сознания, имеющей место даже при максимальной степени его спонтанности. Смены ФВ в высказывании столь же неотмысливаемы, сколь постоянны сцепления актов различной природы в потоке сознания.

Вместе с тем ФВ и смены ФВ — не единственная форма связи актов говорения и, соответственно, не единственный параметр вычленения актов говорения из их последовательного и связного течения в высказывании. Ниже, как мы увидим, на такую же роль будут претендовать и другие явления, прежде всего — смены модального типа акта и смены точки говорения, которые могут сигнализировать о смене акта говорения и без того, чтобы здесь же произошла смена ФВ (смены ФВ — об этом будет говориться ниже —

³ В наиболее близком к описываемому здесь подходу направлению разрабатывается с семидесятых годов эта тематика У. Чейфом, объясняющим языковые явления и процессы на основе и в корреляции с явлениями и процессами, происходящими в сознании (принцип «совместного рассмотрения — *раздельного толкования*»). К предлагаемому понятию «фокус внимания» у Чейфа есть близкое по функциональной идее, но не совпадающее по содержательному наполнению понятие «*фокус сознания*»: Чейф использует его для анализа языкового отражения непосредственного визуального опыта, т. е. находимое в фокусе сознания имеет здесь преимущественно внешне-референтную природу, что соответствует принципиальной установке Чейфа на непосредственное чувственное восприятие, т. е. на сознание «здесь и теперь» или сознание-сейчас, и на *устный* язык (в «фокусе внимания» же располагаются фрагменты ноэтически-ноэматического состава потока актов сознания; вопрос о внешнем референте возникает здесь «позже»). Подробно анализировался Чейфом и процесс смен фокусов сознания (проблема языковых коррелятов движущихся в мире референтов «фокусов-сознания» на фоне динамически-временных процессов в сознании говорящего). Наиболее, может быть, существенно для нас то, что Чейф выделил на основе понятия «фокус сознания», сподвигнув и нас решиться на сходный шаг, «единицу» высказывания, аналогичную «акту говорения»: единица структуры дискурса, по Чейфу, соответствует одному фокусу сознания. Ниже по тексту статьи мы присовокупим, однако, и другие, кроме смен ФВ, параметры для обособленного вычленения акта говорения.

могут приостанавливаться, не прерывая течения речи, могут иметь скрытые формы, могут быть «ложными» и т. д.). Тем не менее фокус внимания — фундаментальное понятие: возможны случаи, когда акт говорения вычленим только на основании смены ФВ и когда, соответственно, только эти смены обеспечивают связную последовательность смыслового течения высказывания.

§ 65. Фокус внимания, фокализация и голос. Схожие с фокусом внимания явления давно известны и зафиксированы в лингвистике, поэтике, нарратологии — в таких терминах, как эмпатия, ориентация, фокализация, точка зрения и т. д. Толкования всем этим явлениям даются самые разные, поскольку и сами явления при наличии зон пересечения значительно разнятся, и ракурсы их рассмотрения часто весьма отличны друг от друга. В общем — «техническом», а не объемно содержательном — плане фокус внимания можно интерпретировать в ряду этих явлений как фиксацию *минимальной по языковой длительности и максимальной по скорости смен актовой единицы высказывания*.

Так, если сопоставлять ФВ с терминологически созвучной «фокализацией» Ж. Женетта, то фокализация — это категория, принципиально, по замыслу, относящаяся к более объемным фрагментам и потому имеющая по сути дела другое наполнение. В искомом результате фокализация выходит на совсем иные языковые процессы, не связанные непосредственно с потоком актов сознания. Термин «фокализация» избирается Женеттом «во избежание специфических визуальных коннотаций» в понятии «точка зрения»⁴, и в общем смысле означает точку, с которой ведется повествование, т. е. фиксирует свойство высказывания, остающееся неизменным на протяжении его длительных фрагментов или даже на всем его протяжении. Смены же ФВ происходят в каждом предложении или — как минимум — при сочленении каждых двух предложений. Женетт говорит о возможности (наряду с фокализованными) *нефокализованных* текстов — высказываний же полностью без фокусов внимания, их смен или той или иной инсценировочной «игры» с ними не существует (и фиксацию, и смены ФВ можно наблюдать и в нефокализованных, по Женетту, текстах). Фокализация — как и ФВ — тоже сменяется: «фокализованные» повествования делятся Женеттом на повествования с фиксированной фокализацией и с переменной фокализацией, напр., в «Госпоже Бовари», где фокализирующим персонажем (персонажем, с позиции которого ведется повествование) сначала является Шарль, затем Эмма, затем снова Шарль и т. д. (205). Возможны и множественные фокализации (повествование об одном и том же с позиций многих персонажей), и более частые их смены — все это описано Женеттом. Тем не менее понятно, что речь идет о другом: смена фокализации — это изложение повествуемого, в том числе и — одного и того же, с разных смысловых позиций, смена фокусов внимания — это *перевод акцентуруемого сейчас внимания* с одного фрагмента сообщаемого или повествуемого на другой. Для четкости можно сказать, что процесс смены ФВ отчетливей просматривается с одной и той же «позиции» или, в терминах Женетта, с «нефокализованной» позиции. Точнее будет говорить, что смены ФВ усматриваемы и в текстах, условно взятых как «нефокализованные» и — добавим сразу — как *одноголосые*. Понятие «голос» применяется в специфически бахтинском смысле (обсуждавшемся ранее в статье о

⁴ Фигуры. Т. 2. С. 204 — 205.

двуголосии): фокализация — это фиксация той точки зрения, с которой освещается происходящее и описываемое, т. е. фиксация позиции «того, кто ощущает происходящее»; «голос» — фиксация «того, кто говорит». Ощущающий, в том числе видящий, и говорящий при этом не обязательно совпадают.

Но не обязательно совпадает с ними и — условно — «фокусирующий внимание». Действительно: мы отчетливо видим смены ФВ в любом фрагменте, ничего при этом не зная о его принадлежности к тому или иному фокализатору или к тому или иному «голосу». Так, в нашем сквозном примере на двуголосое слово — *Зато Калломейцев воткнул, не спеша, свое круглое стеклышко между бровью и носом и уставился на студентика, который осмеливается не разделять его “опасений”* — мы воспринимаем сами фокусы внимания на Калломейцеве, стеклышке, студентике и опасениях и их поочередную смену безотносительно к тому, слышим ли мы здесь второй голос или нет. Смены ФВ, таким образом, можно понимать как процесс, в некотором отношении автономный от смен в высказывании разного рода инстанций говорения⁵. Разумеется, для восприятия полного смысла знание о фокализаторе и голосе необходимо. Но не менее значимо для смысла и знание о фокусировании внимания и его сменах. И дело не только в том, что фокусируемый и сменяемый смысл и сам окрашивается характерными для фокализатора и голоса особенностями, и таким же образом окрашивает их, но и в том, что смена ФВ может совпасть со сменой фокализатора или сменой голоса. Интересующие нас дополнительные не прямые смыслы как раз и появляются в том числе тогда, когда смены ФВ сопровождаются сменами фокализации или голоса (так, на *студентике* совместились и смена ФВ, и подключение второго голоса). Тем не менее можно, по-видимому, полагать, что само восприятие наличия фокализатора или голоса может состояться только на основе прохождения понимания сквозь череду смен ФВ.

Все это говорит в пользу того, что при всем отчетливом содержательном разведении понятий «фокализация», «голос» и «ФВ» и при относительной автономности последнего, они внутренне связаны — как всегда связано видимое с характером смотрения и говоримое с говорящим и характером говорения (аналогично корреляции как-данности ноэмы — с тетическими характеристиками ноэсы). Но в этой «связке» ФВ и их смены представляют, по-видимому, более базовое свойство языка, теснее связанное с семантикой: фокализацию же и голос можно оценивать как то, что наслаивается на фокусирование внимания. Либо — это, наверное, корректней — ФВ и его смены можно понимать как то, что язык «обязан» делать всегда, в том числе и при фокализации и при ее смене, и при ее нейтрализации, в том числе и в одноголосой, и в двуголосой, и в условно «безголосой» (логической) фразе. Фокализация (в смысле Женетта) и «голос» (в смысле Бахтина) более акцидентны, не столь «обязательны», не столь «ядерны». ФВ есть в любом высказывании, и в любом сколько-нибудь протяженном высказывании (не односложной реплике) есть смена ФВ — поскольку их природа связана с моментом воплощения ноэтических и ноэматических событий и сдвигов в языковую семантику.

5 Ниже — в эгологическом разделе — понятие «голоса» будет проинтерпретировано как одна из разновидностей «точек говорения», все типы которых также — и по схожим причинам — не совпадут с фокусом внимания.

§ 66. ФВ и синтаксический субъект. Дело здесь совсем не в логической версии обязательности субъект-предикатного строения языковых фраз, но в неотмысливаемой ноэтически-ноэматической организации актов сознания и их последовательности. Когда говорится или слышится «*смеркается*», в фокус внимания помещается само это «смеркается», а не якобы метафизически вставляемый феноменологией мифический 'субъект смеркания'. В соответствующем 'еще' не выраженном акте сознания в позиции ноэмы тоже находится само «смеркание» (факт «смеркания»), а не мифическое «нечто», что «смеркается». Ноэсой же этого акта является его модальность, придающая ноэме «смеркается» тот или иной (утверждаемый, вопросительный — или описательный, изобразительный и т. д.) модус бытия, или выражающая эмоционально-оценочное отношение к 'факту смеркания'. Да, подлежащее часто является носителем фокуса внимания, но оно является привилегированным фокусом сознания только в логической речи, стремящейся отстраниться — по мере сущностной возможности — от коммуникативности, выразительности, нюансировок смысла и т. д. В других видах и регистрах речи в фокус внимания может быть помещена, как уже говорилось, любая синтаксическая позиция — силами, напр., одной только интонации. Обязательность здесь одна: фокус внимания *должен быть* и он *должен быть сменен*, а то, в каком именно синтаксическом месте это происходит — решать высказыванию. Поэзия знает это хорошо и пользуется возможностью «заставлять» читателя искать замаскированный, но всегда имеющийся фокус внимания. Так, в мандельштамовской строке, начинающей стихотворение, «*В Петербурге мы сойдемся снова*» читатель не может сразу определить ФВ: им может оказаться любое из этих слов, ведь интонационно данную строку можно прочитать с фокусирующим ударением и на *мы* (подлежащем), и на *сойдемся* (сказуемом), и на *Петербурге*, и на *снова*. В этой неопределенности или отсроченной определенности фокуса — поэтическая игра языка с сознанием. Только вторая строка — «*Словно солнце мы похоронили в нем*» — подскажет, что в первой строке ФВ скорее всего стоял на '*Петербурге*'.

Мы акцентируем в этой теме несколько моментов: что субъект-предикатная структура и фокус внимания — явления одной природы, но разнопорядковые (субъект-предикатную структуру можно рассматривать, если считать субъект логического суждения фокусом внимания, как одну из, хотя и особо маркированную, форм проявления фокуса внимания); что все разновидности фокуса внимания, а значит и субъект-предикатная структура, фундированы при этом не в языке как таковом, а в ноэтически-ноэматических структурах сознания; что смены ФВ — процесс, уходящий корнями в связное течение «молекулярных» смысловых структур, в первично данную актовую членимость смыслового потока сознания, в особенности протекания и сцепления актов сознания (с большей определенностью мы вернемся к этим моментам при сопоставлении «фокуса внимания» с гуссерлевыми «Идеями I»).

Содержательно отличать ФВ от фокализации и голоса возможно не только потому, что они разнокалиберны в языковом отношении (и фокализация Женетта, и голос Бахтина имеют укрупненное, крупнофрагментное, а не молекулярно-ядерное, толкование и «персоналистическую» окраску), но и потому, что они разноприродны в генетическом плане. Действительно: при пристальном взглядывании в эти явления оказывается, что их различия не определяются языковым калибром. Если точно свернуть в смысловую молекулу языковые явления фокализации

и голоса и не связывать их с персоналистическим критерием и крупными фрагментами, можно было бы предполагать, что каждый акт фокусирования внимания имеет и фокализацию, и голос — в том смысле, что он, как и всякий акт, всегда имеет ту или иную ноэтическую оправу и «выправку». Эта гипотетическая минифокализация и миниголосовость были бы в таком случае уже связаны не с особенностями чувствующей, смотрящей и говорящей инстанции, а с особенностями каждого данного акта как такового: ведь один и тот же смотрящий и один и тот же говорящий может менять *типы актов, общие всем фокализаторам, голосам, нарраторам и т. д.* (не случайно в этом смысле, что Женетт говорит о фокализации вблизи категории модальности, а Бахтин говорит о голосах вблизи категории интенции — интенциональной расхищенности значений).

При предложенной здесь «уменьшающей» оптике с большей разрешающей способностью такого рода смены типа акта теснее примыкали бы к сменам ФВ, и здесь — при равной или соразмерной оптикометрии — уже, действительно, возникли бы проблемы с размежеванием ФВ и фокализации, ФВ и голоса (как и — фокализации и голоса). Один ли это процесс в его двух — ноэматической (ФВ) и ноэтической (фокализация, голос) — сторонах или два автономных? Можно ли сменить тип и/или источник акта, не меняя ФВ? Можно ли сменить ФВ, не меняя тип или источник акта?

Если не бояться ненужных усложняющих коннотаций, то рельефней все это можно выразить в привычных феноменологических терминах: при смене ФВ сменяемое находится в ноэматической зоне — в зоне ноэматического смысла, при смене типа и источника акта (модальности, наклона, фокализации, голоса, точки зрения и т. д.) меняется нечто в «точке исхождения акта» — в зоне ноэтического смысла. Поскольку в исходном смысловом пространстве сознания оба ряда изменений взаимосвязаны, то и вычленение ФВ и его обособление от типа акта в некоторой степени условно. Тем не менее оно операционально удобно и «выгодно»: оно позволяет оптически обособить те смысловые рубцы, которые связаны с моментами соприкосновения, расхождения или слияния неязыковых и языковых актов сознания. Конечно, обособление процесса фиксации ФВ и их смен предполагает и обособление другого отмеченного явления — процесса смен типа актов и их источников; и мы вернемся к этой теме ниже.

§ 67. Аттенсиональные сдвиги в актах сознания и смены ФВ в языке. Большая «фундаментальность» ФВ и их смен по сравнению с укрупненно понимаемыми фокализацией и голосом согласуется с тем, что было сказано выше о близости связанных с ФВ процессов к феноменологической ноэтике (имеются ли в трансцендентально рассматриваемом чистом сознании аналоги фокализации и голоса — вопрос, как уже говорилось, требующий отдельного разговора). ФВ ближе к актам чистого сознания — в разрезе происходящего в нем движения «аттенсионального луча», чем к собственно и полновесно языковым явлениям. Означает ли эта «близость» их тождественность? Как именно соотносятся между собой чистая ноэтика и языковые смены ФВ?

С одной стороны, кажется возможным говорить ввиду этой схожести и согласованности, что фокусирование внимания и скольжение аттенсионального луча — одна и та же универсалия, фундирующая как акты сознания, так и языковые высказывания: в каждой «точке Теперь» сменяющихся в феноменологическом времени актов сознания есть аттенсиональный фокус и в каждой реальной фразе есть ФВ. И там, и там

фокусы постоянно сменяются, причем сменяются по схожим лекалам: и там, и там, в частности, возможны ретенции, протенции, наслоения, синтезы, дизъюнкции и т. п. этих фокусов. И без примеров очевидно, что в высказывании возможно почти все то, что Гуссерль описывал (в частности, в «Идеях I» и в «Феноменологии внутреннего сознания времени») как сущностно принадлежащее течению феноменологического времени и наполняющей его последовательности актов сознания — но, конечно, в виде языковых модификатов (языковых инсценировок смен интенционального объекта, ретенций, протенций, поэтапного движения луча аттенции по одному интенциональному объекту, переходов от объекта к фону и обратно, двойного фокуса, его расщепления, разного рода взаимных наложений и т. д.). Конечно, в этих сопоставлениях есть и неочевидное (о некоторых сложных случаях соотношения языка с процессами протекания актов сознания поговорим ниже).

Сначала же отметим важный «очевидный» случай: при смене ФВ язык может воспроизводить базовую, с феноменологической точки зрения, операцию сознания: смену направления рефлективного луча сознания *с нозмы одного и того же акта на его нозсу* (или обратно). Из этого следует, помимо прочего, что язык может создавать предикативные акты по поводу каждой стороны нозтического акта (т. е. два акта, но может создавать и один акт, и не создавать ни одного), а значит — между нозтическим и предикативным актом нет, как выше уже говорилось, прямой корреляции.

Кроме того, различие в том, что, как и всякий рефлексивный акт, каковыми всегда являются языковые акты, фокусирование внимания всегда сменяет направление луча внимания на прошедшую, пусть и ‘только что’, а не на ‘настоящую’ (текущую сейчас) точку. Между выражаемым и выраженным в языке всегда есть временной «зазор». Так, в «*Печален я: со мною друга нет*» ‘настоящее’ языкового времени выражает ‘прошедшее’ феноменологического: эта задержка связана с тем, что в течение актов сознания вклинились акты выражения, а на них, как на любой другой тип актов сознания, тем более рефлексивный, время всегда «расходуется». Высказывание «*Человеку становится жутко*» тоже задержано относительно момента, когда «стало жутко» или когда «становилось жутко». Язык всегда рефлексивен относительно выражаемого потока актов; поэтому всегда — даже если его акты непосредственно погружены в этот поток — несколько «запаздывает», плывет чуть сзади и сверху потока актов сознания, что не исключает способности языка им управлять, поскольку существуют, напр., и такие вещи, как протенция и притяжение целью (притяжение будущим), и такие вещи, как ретенция и притяжение истоком (притяжение прошлым).

Последнее замечание, хотя и касающееся общей способности языка и актов сознания смотреть поочередно на нозмы и нозсы, подводит нас к риторически обещанному выше «с другой стороны» — к тому, что говорить о полном единстве «аттенциональной» универсалии вряд ли можно: язык и здесь *не изоморфен* течению актов сознания и конструкции их нозтически-нозматических структур. Смены ФВ каким-то образом наследуют сменам аттенции или интенции, не являясь ими непосредственно, но — инсценируя их. Помимо временного «запаздывания» языковое высказывание может содержать, как мы видели раньше, и большее или меньшее количество актов (процессы стяжения или опущения), а соответственно и больше или меньше ФВ и их смен, чем соответствующих аттенциональных сдвигов сознания (так, в «*Карфаген должен быть разрушен*» языковых ФВ меньше, чем

аттенциональных фокусов в соответствующих актах сознания, в «*Печален я: со мною друга нет*» — больше).

§ 68. Языковые инсценировки посредством фокусов внимания. Но не только в запаздывании и количестве дело: в выражаемых актах сознания и выражающих актах говорения — как здесь полагается — могут не совпадать и сами фазы (моменты сдвига аттенции), и сами «объекты» аттенционального или интенционального фокусирования. Так что в соответствии с этим предположением точнее, возможно, было бы говорить, что сам акт интенциональной направленности и аттенциональные сдвиги — универсалия именно актов сознания; язык же индуцирует эту универсалию в своих особых — собственно языковых — «фокусах внимания», «пользуется» ею инсценировочно, располагая многочисленными способами такой инсценировки⁶. Любой троп и фигура речи, огрубленно говоря, выставляют в качестве языкового фокуса внимания совсем не то, что является аттенциональным фокусом выражаемой последовательности актов сознания.

В пользу последнего понимания говорит также то, что язык обладает среди прочих и способами «маскировки» (мандельштамовская строка), «расщепления», «рассеивания» или «затемнения» фокуса внимания. В некоторых особых случаях язык способен и на крайнюю меру — на почти полную «дефокализацию» какого-либо фрагмента и, соответственно, на «приостановку» процесса смен фокусов внимания, а вслед за нею и на дезориентацию аттенционального луча. Это — не природная «нормальная» дефокализованность текста в смысле Женетта; это — значимое отсутствие фокуса внимания: дефокализация в этом смысле есть особая — нейтрализованная — форма фокусирования внимания.

Все это, разумеется, концептуально темно: предмет рассмотрения лишь предварительно нащупывается, в том числе и в терминологическом плане, и его не так-то просто проиллюстрировать. И все же мы уже встречались при обсуждении ивановского антиномичного принципа с одной из разновидностей того, что можно рассматривать как дефокализацию, которая может быть понята в этом ракурсе как частичный аналог расщепленной, рассеянной или неименующей референции. Имеются в виду случаи, когда тесное синтаксическое столкновение антонимов или перекрестное нанизывание нескольких пар антонимов на одну конструкцию не только «заставляет» угадывать ФВ из нескольких возможных, но и дезориентирует саму установку на фокусированное внимание, рассеивает его, деобъективирует помещаемое в «фокус», заставляет взгляд аттенционально метаться по семантически заложенной языком амплитуде — как, напр., в ивановском *'ночью света ослепил'*. Ранее этот пример объяснялся в том смысле, что здесь за счет нагнетания антиномического напряжения в обоих имеющихся синтаксических

⁶ Отнесение аттенциональных сдвигов к универсалиям именно сознания, а не и языка также, асимметрично соответствует гуссерлеву тезису о том, что «аттенциональные модификации», как и некоторые другие своеобразные сущностные модификации сознания, не входят в «*эйдос 'предложение'*» (146). Гуссерль говорил об «эйдосе 'предложение'» применительно к логическим актам выражения — понятно, что логикой аттенциональные сдвиги должны перебарываться; но в других жанрах и регистрах языка и в коммуникативной речи, направленной на индукцию актов сознания, язык инсценирует и эти — сущностно ему не свойственные — аттенциональные сдвиги.

“узлах” конструкции размыто именование и вместе с ним референция⁷; теперь скажем то же, но в новых терминах: здесь за счет нагнетания антиномического напряжения расшатывается органичная способность индуцируемого акта к восприятию ноэтического смысла, а это и есть — размытость фокуса, дефокализация индуцируемого акта (а раз дефокализация, значит и *приостановка смен ФВ*). И при расстроенном, размытом фокусе смысл тем не менее передается (близок к этому и механизм *метафоры* как ложной смены ФВ — см. одноименный параграф).

Дефокализация, по-видимому, вообще означает размытую референцию. Чаще всего смысл, воспринимаемый в дефокализованных конструкциях, имеет *ноэтическую* природу: воспринимающее сознание, не находя привычного ноэтического фокуса, как бы отворачивается от фразы и обращается на себя самое, на свои набитые тропы движения аттенционального луча, в поисках аналога означенного в ней — и находит нечто в своей же ноэтике, в своих аттенциональных маршрутах, что затем и понимает как смысл фразы. «Дефокализованная» конструкция может быть построена, таким образом, как выражение сплошь ноэтического состава, но передавать при этом исключительно ноэтический смысл.

Есть некоторые основания полагать (впрочем, это говорится здесь без всякой настойчивости, больше в целях накопления «смысловой руды»), что неязыковое сознание аналогичными свойствами не обладает. Конечно, неязыковое сознание может быть и расщеплено в направленности своего внимания, и аттенционально рассеянно, но, в отличие от расщепленной или затемненно-приостановленной референции или дефокализации в языке, такие состояния неязыкового сознания не порождают смысла — для этого нужны новые, уже как-то сфокусировавшиеся и взаимосвязанные, акты. *Привходящее же извне дефокусированное языковое высказывание может породить в сознании смысл*. Будучи мимесисом аттенционально расщепленного и рассеянного состояния сознания, языковое высказывание не воспроизводит, не дублирует или копирует его, а именно инсценирует — так, что воспринимающее сознание не спонтанно «копошится» внутри себя в аттенциональном блуждании, а извне управляемо движется в соответствии с проставленными высказыванием семантическими «метками» или «слаломными флажками», относительно которых настраивает интенционально-смысловой фокус⁸, начинает видеть ноэтически и тем самым наполняться

7 Напомним нашу интерпретацию: сочетание из антонимов “ночь” и “свет” помещено в позицию, предполагающую именную референцию, но подчеркнутая ненейтрализованность этих антонимов (в отличие, например, от возможного “свет из мрака”) затрудняет отчетливое восприятие референта. Если дезориентированный слушающий обратится в поисках прояснения затемненной референции к другому компоненту фразы (“ослепил”), то и там его ожидания не оправдываются, поскольку его встречает еще одно, надстроенное, антиномическое напряжение — “ослепить ночью”, которое в свою очередь дополнительно активизирует еще один подразумеваемый антиномический этаж (“ослепить светом”). Хотя при обращении к другим синтаксическим сочленениям фразы возможность предметно-образной референции в таких конструкциях лишь еще более затрудняется, смысловая искра понимания тем не менее вспыхивает.

⁸ См. иначе терминологически наполненный, но говорящий примерно об этом же фрагмент из АГ: работа над словом «*воспроизводится созерцателем*,

фокусированным и устойчивым смыслом. Вполне возможно говорить в этом плане и о том, что именно языковая семантика должна считаться выполняющей функцию «меток» для всех тех смысловых маршрутов, по которым может сознание двигаться, и о том, что язык сам может порождать в сознании новые неизвестные ему нозмы, т. е. нозматические смыслы (аналог идеи порождения языком референтов и/или смыслов). Все это может быть так, никак при этом, однако, не отменяя существования неязыкового, но полнящегося смыслом сознания: ведь двигаясь по семантически означенным меткам маршрутов, сознание наполнено смыслом и в «пространстве» между метками.

§ 69. Фокус внимания и «многолучевое переживание». Вернемся к обещанным «неочевидным» случаям наличия связанных с ФВ языковых аналогов у нозматически-нозматических процессов, естественно присущих потоку актов сознания. Гуссерль описывает в нем среди прочего случай «многолучевого» переживания (§ 119. «Преобразование актов политетических в монотетические»): *«В синтетическом сознании, говорили мы, конституируется синтетический совокупный предмет. Однако 'предметен' он в таком сознании в совсем ином смысле, нежели конституируемое простого тезиса. Синтетическое сознание и, соответственно, чистое Я „в" таком направляются на свое предметное многими лучами, просто тетическое сознание — одним лучом».*

Возможно ли такое в семантическом течении языкового высказывания? Воспроизводимо ли его средствами? Если воспроизводимо, то что происходит с ФВ: он раздваивается, растраивается по многолучевым направлениям, эксклюзивно выбирает только одно из них, фиксируется на точке их скрещения? Скорее всего полностью автономное, параллельное и «одновременное» течение многолучевого внимания, а значит и параллельных несмешиваемых рядов сменяемых ФВ, в языке невозможно (ср. у Гуссерля: *«К любой из таких конституируемых многими лучами (политетических) синтетических предметностей... принадлежит сущностно-закономерная возможность превращать сознаваемое под многими лучами в просто сознаваемое в одном луче, синтетически конституируемое в первом — „опредмечивать", в специфическом смысле, в „монотетическом" акте»* — там же). Это может быть связано с той самой линейностью языка, которую многие оспаривали, но которую никто ведь «не отменил»⁹: именно она, собственно говоря, и является специфической «силой» языка, способной придавать длительность и связную жизнь смыслам. Даже если условно представить, что такие многолучевые и одновременные потоки актов выражены в высказывании, воспринимающее сознание все равно «насиленно» вытянет эти лучи в единую последовательную линию — «смешает» ФВ разных лучей.

С другой стороны, язык хорошо «знает» сознание и «умеет» инсценировать почти все его особенности. Так и многолучевое переживание — в качестве именно приема инсценировки — весьма активно в языке, особенно в непрямых формах говорения: движение одного из, напр., двух лучей

разыгрывающим снова событие на основе указаний, которые дает эмпирическое художественное произведение».

⁹ *«Книга больше, чем порой считают ныне, подчинена пресловутой линейности лингвистического означающего, которую легче отрицать в теории, чем уничтожить на практике» (Женетт Ж. Фигуры. Т. 2. С. 70).*

выражено непосредственно семантически, и все языковые фокусы и их смены — принадлежат ему, движение же другого луча воспринимается в пласте непрямого — не семантизованного — смысла. Фактически любое *иносказание*, развивая на семантическом уровне одну «замещающую» тему, на иносказуемом — другую, параллельную, семантически означает при этом фокусы внимания и их смены лишь одного луча внимания, соответствующего «замещающей», непосредственно семантически представленной, теме. Точное же передвижение луча аттенции и интенции в иносказуемом остается «за кадром». В отличие от потока неязыковых или некоммуникативных актов сознания, язык и при инсценировке многолучевого течения смысла *оформляет* высказывание как однолучевое, хотя это однолучевое движение фокусов может быть построено таким образом, что оно косвенно будет индуцировать в воспринимающем сознании и передвижения другого луча, а вместе с ним и другого смысла. Не исключено и то, что аттенциональные сигналы из неявленного иносказуемого (из подразумеваемой ноэтической ситуации), из передвижений второго луча аттенции, могут врывать в течение смен ФВ на поверхностном семантическом уровне высказывания (напр., когда в семантическом иносказующем пласте фокус внимания фиксируется на том компоненте, который по «логике» самого семантического пласта иносказания не должен находиться здесь и сейчас «в фокусе»), тем не менее по внешней семантико-синтаксической форме высказывание всегда остается однолучевым. Многозначность, не прямой смысл, разного рода фигуры смысла — все это производится и воспроизводится при восприятии всегда однолучевого по внешней семантической форме высказывания именно неязыковыми актами сознания, его особенностями, которые не перешли в язык, но инсценируются им.

Можно, по-видимому, говорить еще об одной особенности в поведении языка при смене фокуса внимания на «новый» интенциональный объект. Сознание при смене своих интенциональных объектов — если отвлечься от управления со стороны бессознательного, архетипов, субъективного состояния, внешнего воздействия и т. д. — свободно, потому что оно не связано условием длительного сохранения смысла, язык — нет (или же во всяком случае — сознание «свободнее», чем язык). Любой появляющийся языковой фокус внимания так или иначе подготавливается языком или текущими рядом с ним и индуцируемыми актами сознания заранее (Чейф выражает это так: абсолютно новые подлежащие — логический подвид ФВ — невозможны). Эта языковая «артподготовка», в отличие от спонтанного «наступления на смысл» актов сознания, помимо условия «длительности» смысла, может быть объяснима и установкой высказывания на слушателя (необходимостью учета его «понимающих» возможностей). Чем свободнее действует в сменах интенциональных объектов высказывание, тем точнее должен быть семантико-семантический рисунок его ФВ и их смен, чтобы не выйти за грани понимаемости. Кроме того, при любой форме организованного потока (а высказывание — высокоорганизованная последовательность) появляются детерминируемые самой этой организованностью интенциональные сдвиги и повороты — в языке они могут диктоваться, напр., валентностью лексем или синтаксическими закономерностями.

Вообще кажется очевидным, что синтаксические и «фокусные» рисунки речи в их особо выстроенных «сильных» вариантах (в поэзии) никак не могут считаться совпадающими с синтактикой актов сознания и их

аттенциональными сдвигами, наоборот: они именно должны не совпадать, чтобы быть успешными выражениями. Речь не может совпадать с какой бы то ни было спонтанной последовательности актов сознания в том числе и потому, что она «сильней» ее (в смысле связности, ноэватической спаянности и т. д.); она может инсценированно преобразовать многокомпонентное и спонтанно-хаотичное движение соответствующих массивов актов сознания в отточенную мизансцену с несколькими семантизованными персонажами, связанными семантически явленной интригой и семантически неявленным — непрямым — смыслом: *«Бесспорно, бесспорно смешон твой резон, .../ Что только нарвется, разлаявшись, тормоз / На мирных сельчан в захоластном вине, / С матрацев глядят, не моя ли платформа, / И солнце, садясь, соболезует мне.* (Пастернак. «Сестра моя – жизнь»).

Хотя утверждение наличия в высказывании «фокуса внимания» и его последовательных смен близко к простой «очевидной» констатации, экспликация концептуального смысла этой констатации оказывается, как видим, чрезвычайно сложной, поскольку проблема связана, по всей видимости, с типологическими «смысло-языковыми» процессами. Произведенная нами постановка фокуса внимания в концептуальную связь с феноменологически усматриваемыми аттенциональными сдвигами неязыковых актов сознания оказывается здесь, как представляется, перспективной — по открывающемуся пространству сопоставительного толкования. То, что они, как выяснилось, не могут быть поставлены в отношение тождества, что описание соотношений актов чистого сознания и актов фокусирования внимания в языковых высказываниях неизбежно обрастает усложняющими определениями (неизоморфность, асимметричность, разнонаправленность, разноконфигуративность и др.), дела не меняет: без опоры на аттенциональные сдвиги смены ФВ нельзя было бы описать как неизоморфные, переформатированные, инсценированные и т. д. Операциональность такого описания может перерасти в содержательность. Так, операциональный факт выявляемости сложных форм ФВ и их смен — двуфокусных конструкций, дефокализации, расщепленной референции и т. д. — может возрасти до концептуальной идеи *асимметричной неизоморфности* аттенционального протекания смысла в актах сознания и фокусного развертывания языковой семантики в высказывании, играя тем самым на руку идее существования внеязыковых или по меньшей мере внесемантических форм смысла.

В развитие темы об асимметричности аттенциональных сдвигов в актах сознания и смен фокусов внимания в языке и об органичности, как здесь оценивается, идеи ФВ для феноменологии см. Экскурс 2 *«Фокус внимания и его смены на фоне «Идей 1»*.

§ 70. Нечто гипотетически общее. Если подытоживать, то понятие языковых ФВ и их смен формируется здесь в условном операциональном отвлечении от изменений в точке исхождения акта (не только тетических, но в том числе и от упоминавшихся выше смен фокализации, точек зрения, голоса и т. д.) — с тем, чтобы изолированно зафиксировать само это явление и связанный с ним процесс смены в их несимметричности (неизоморфности и, возможно, относительной автономии) с протеканием актов сознания. Если при протекании актов сознания аттенциональные сдвиги могут производиться «спонтанно», повторяться, «отвлекаться», роиться (в том состоянии, которое Гуссерль называл «копощением актов»), если процесс «примерки» значений в актах логического выражения не направленного вовне сознания *не линеен* — в

том смысле, что прошедший акт с его аттенциональной направленностью не обязательно войдет в принимаемое и тем более развертываемое обозначение ('неудачное' значение и просто неудачный аттенциональный сдвиг объекта «отбрасываются» без последствий для конституируемого нозматического смысла и соответственно ему строящегося выражения), то для уже оформленного, выраженного языкового высказывания фиксация фокусов внимания и их смен превращается в процесс, не имеющий случайных и отбрасываемых фаз, целенаправленно в своем протекании организованный и организующий само высказывание и индуцируемые им акты в воспринимающем сознании. Формально топос языковых фокусов внимания и их смен можно обозначить как находящийся на переходе от в языковом отношении не организованного, не выстроенного потока актов сознания, включающего разнообразные как неязыковые, так и языковые акты, — к собственно языковым и «построенным» актам: как на переходе ко внекоммуникативным актам логического выражения (в их гуссерлевом понимании), если они при этом выстроены в делящуюся последовательность, а не являются только нозматическими предложениями без языкового развертывания, так и на переходе к актам говорения и понимания коммуникативно организованной речи.

Вместе с тем между логическими актами выражения и коммуникативными актами здесь можно увидеть различие. В сфере логических актов выражения, переступивших изолированность и разрозненность разных нозматических предложений и выстроивших последовательную цепь экспликаций и предикаций, аттенциональные акты трансформируются в субъект-предикатные структуры, где в фокусе внимания — как *то, о чем* выражение — стоит субъект. Наполняющие же коммуникативную речь, наряду с фиксацией ФВ на субъекте, другие многообразные разновидности фиксации ФВ — это либо трансформация этих логических актов выражения (как часто толкуются все собственно языковые процессы), либо — как полагается здесь — выход языка напрямую к нелогическим актам сознания вплоть до освобождения от субъект-предикатной «манеры» логических актов фиксировать внимание. Если там в центре внимания — субъект, то здесь в фокус может помещаться любая часть высказывания (а в пределе — даже то, что вообще не является частью высказывания, не семантизовано в нем). Так, в мандельштамовском «*В Петербурге мы сойдемся снова*» не логический субъект — 'мы' в фокусе, а дополнение — 'В Петербурге', которое вследствие этого функционально трансформируется фактически в дополнительный предикат к 'пропозиции': *Мы встретимся вновь — в Петербурге*. Этой идущей вторым темпом предикативной функцией автономно-языковые разновидности ФВ обнажают свою связь с подключенным моментом извещения (коммуникации), так что в смысловом поле живой коммуникативной речи субъект и предикат растворяют свою логическую статуарность и либо проявляют рвение к соревнованию на равных за помещение в ФВ, либо вообще уступают это место другим элементам, либо, наконец, выходят из игры (напр., в безличных предложениях). Получается, что многочисленные разновидности языковых смен ФВ — не дублирование логических актов выражения и их манеры акцентировать внимание, а инсценированная 'реимпульсация' полного наполнения объемлющего их смыслового потока, т. е. связывание высказывания и с актами выражения, и с другими окружающими их актами сознания, не получающими ни логического

означивания, ни вообще семантического облачения. Именно наличие ФВ и ритм их смен — вследствие своей генетической связанности с аттенциональными сдвигами в актах сознания — «включают» и поддерживают течение индуцируемых актов: ведь для последних, как актов сознания, наличие и смена аттенциональных и интенциональных фокусов — это естественная и неотмысливаемая форма существования.

Принципиальный момент состоит здесь в том, что «секуляризованные» фокусы внимания могут акцентировать и то, что не прошло сквозь горнило логических актов выражения. Тем самым фокусы внимания приоткрывают выстраиваемую актами субъект-предикатного означивания логическую плотину («заслонку») между неязыковыми актами сознания с их смыслами и — коммуникативными высказываниями. Сквозь этот зазор неязыковые смыслы могут прорываться, формируя об его границы и становясь «непрямыми» смыслами высказывания.

§ 71. Временные сдвиги ФВ — перестановки, разрывы, сращения. И относительно временных сдвигов ФВ общий тезис тот же: *течение языкового времени не совпадает с течением феноменологического времени, не изоморфно ему.* Языковое время не «передает», а инсценирует феноменологическое: оно может его сокращать, удлинять, менять направление его течения, менять последовательность протекания его фрагментов, соединять прошлое с будущим, минуя сцепляющий актуально-настоящий акт и т. д. Последовательность актов говорения никогда не изоморфна последовательности выражаемого и инсценируемого потока актов сознания, соответственно и последовательность аттенциональных смещений никогда не изоморфна сменам ФВ.

Тезис очевидный, тем не менее коснемся его чуть подробнее, так как нам важно посмотреть на смысловые последствия таких временных сдвигов.

Одна из разновидностей временных сдвигов — *перестановка* ФВ относительно его аттенционального места в выражаемом потоке актов сознания. Возможны, напр., такие сложно выстроенные конструкции, в которых перестановка произведена, но семантического облачения фокусируемое не получает. Так, в бунинской «Сказке о Козе» в начало — в первую строку — вынесен акт, содержащий несемантизованную ноэсу страха, который в естественно текущем феноменологическом времени мыслим как возникающий «после» актов второй-четвертой строк, или как минимум после второй строки: *Это волчьи глаза или звезды – в стволах на краю перелеска? / Полночь, поздняя осень, мороз. / Голый дуб надо мной весь трепещет от звездного блеска, / Под ногою сухое хрустит серебро...* Что дает эта перестановка? Она тонально — а значит, и смысловым образом — значима, т. е. несет несемантизованную ноэтическую составляющую смысла. Посредством перестановки смысл языкового акта, поставленного первым, помещается в *доминирующий фокус внимания* всего высказывания, в его аттенциональное ядро, одновременно окрашивая тем самым последующее течение стихотворения тональностью, содержащейся в смысле этой ноэсы страха. Если давать название этому приему перестановки, то здесь произведена *инверсия аттенционального фокуса и фона* (временная перестановка перерастает здесь в пространственную инверсию «ноэтической ситуации»): с точки зрения последовательности аттенционального луча в феноменологическом времени ноэса страха возникает «позже» внимания к обстоятельствам ноэтической ситуации и их семантической экспликации, она

— их естественное результирующее аттенциональное и модальное острие; в стихах все это инсценируется обратным образом: сначала дается аттенциональное и модальное острие, затем — вызвавший его фон¹⁰. Это окрашивает дальнейшее описание обстоятельств тем смыслом, которого в них самих непосредственно семантически нет. Если мысленно представить, что порядок строк изменен и что первая строка дана последней, то в таком случае первые три строки не будут иметь тональности страха: они могут окрашиваться по мере течения восприятия в любые ноэтические оттенки, в том числе противоположные ноэсе страха, напр., в тональные оттенки ноэсы восхищения (звездный блеск, сухое серебро) — наподобие «*Мороз и солнце. День чудесный...*». Когда у Бунина мы сразу после первой строки читаем 'полночь', мы уже понимаем, что это — 'страшная', а не прекрасная своим звездным блеском ночь. И это понимание — не субъективный, а 'объективный' (типологически инсценированный в соответствии с ноэтическими закономерностями) компонент смысла стихотворения.

Возможны в речи и другие варианты временных перестановок — и упреждение (страха 'еще' нет, но он подготавливается), и задержка (страх 'уже' есть, но он будет эксплицирован или инсценирован позже).

Инверсия ноэтической ситуации — перестановка аттенционального фокуса и фона — отдаленно схожа с соотношением фабулы и сюжета (сюжет может как угодно перекомпоновывать фабулу во временном отношении). И здесь, однако (как и в случае соотношения фокуса внимания с фокализацией), имеет место проблема «габаритов» передаваемого смысла: временные смещения крупных смысловых блоков, каковыми по сравнению с семантикой фразы всегда являются элементы сюжета, обычно вторичны для восприятия относительно временных сдвигов фокусов внимания в одном синтаксическом периоде. Эти процессы могут идти как совместно, так и независимо, внутрисинтаксические перестановки в первом случае участвуют «только» в создании акта наррации, во втором случае (как у Бунина) — играют смыслоформирующую стилевую роль.

Еще одна разновидность асимметричных сдвигов аттенции и ФВ — *временные разрывы ноэм и ноэс*. Временные сдвиги не исчерпываются только временными перестановками целостных актов — акты говорения могут при инсценировании «разрывать» в языковом времени ноэму и ноэсу, неразрывные в феноменологическом времени сознания, и соединять их с ноэмами и ноэсами из других актов. Из одного акта сознания язык может при этом делать два акта, из двух — один, опуская при этом какие-либо из исходных четырех ноэматических или ноэтических фрагменты, и т. д., не сопровождая (или

10 Мы отвлекаемся здесь от того, что в реальных потоках актов сознания вполне возможна последовательность от ноэсы страха, не имеющей прямой ноэмы, — к соответствующему эмоционально-тональному окрашиванию ноэматических компонентов ситуации. За мерило отклонений здесь берется «логическая последовательность», относительно которой и описанный случай в протекании актов сознания тоже оказывается отклонением. Если высказывание хочет передать именно такого рода последовательность от безноэмного (беспричинного или непонятно причинного) страха к наполнению страхом имеющихся ноэматических элементов ситуации переживания, она действует иначе: она сразу ноэматизирует ноэсу страха, т. е. семантически ее передает, что тоже в основе своей есть, как уже говорилось, инсценировочный прием — перевод ноэсы в ноэму (по типу: 'становится жутко...').

сопровождая — см. ниже) разрывы сращениями изначально не связанных друг с другом нозм и нозс. Наиболее простой вариант — такой разрыв акта на нозму и нозсу, при котором нозса тоже получает семантическое облачение и помещается в другом моменте языкового времени, не увязываясь ни с каким новым нозматическим компонентом. Такие не усложненные сращениями с чужеродными нозсами и нозмами разрывы обычно не абсолютны, а скоротечны. Примером такого разведения может служить *упреждающая предикация* — любое предшествование в речи предиката к еще не семантизированному субъекту, как, напр., в «*несмелая, подходя к дому врача, она замедлила шаг*». В феноменологическом времени нозма «замедление шага» непосредственно внутри себя, одновременно с собой, содержала и оценивающую нозсу («замедление» сразу оценивалось как проявление несмелости), но чтобы поставить в фокус внимания именно эту тональную нозсу и тем передать подразумеваемую оценочную окраску нейтрального сочетания «замедлила шаг», язык разрывает синтетический — феноменологически одномоментный — акт на два разновременных: оценивающая нозса эксплицирована (семантизирована) и подана раньше самого содержащего ее в феноменологическом времени акта. Тот же «механизм» в: *И на губах, как черный лед, горит / Стигийского воспоминанье звона*.

При упреждающей предикации происходит своеобразная *задержка нозмы* (в параллель к «задержке референции» Рикера), но в конечном итоге языковые островки с «упреждающей» природой находят свои нозмы, воссоединяются с ними — в противном случае они просто растворяются без смыслового следа. Какой смысловой эффект в такого рода упреждениях? Такими разрывами язык пользуется для постановки в фокус внимания требуемого нозтического или нозматического компонента целостного акта. Разрывы эксплицируют синтетичную многосоставность передаваемого акта и могут тем самым перенаправлять аттенциональный фокус с интенционального объекта на его оценку или наоборот.

В упреждающей обособленной предикации есть некоторое сходство с обособлением и семантизацией имплантированной в нозму модальности («*Это должно быть так, чтобы X был Y*»), что лишний раз подтверждает аналогичность способов функционирования тональности и модальности. Имеют иллюстративную силу такого рода временные разрывы и сдвиги и для проблемы неизоморфного соотношения нозтически-нозматических структур сознания с субъект-предикатными структурами языка. Разъединение в языке сращенных в исходном феноменологическом акте нозтической оценки и нозматического «схватывания» факта «замедления шага» порождает в языковом времени два разъединенных предиката к одной смысловой предметности (она — несмелая, она — замедлила шаг). *Возможность временных разрывов нозм и нозс — проявление неизоморфности нозтически-нозматического строения акта сознания и субъект-предикатного строения выражающего его языкового акта*.

Следующая разновидность асимметричных сдвигов аттенции и ФВ — *временные сращения*. Акт говорения может действовать «после» разрыва акта и *сращивать* (соединять) разорванные нозсы и нозмы из разных актов, стягивая их в одну смысловую структуру, делая из двух разновременных актов сознания один языковой акт. Мы уже встречались с этим (*Карфаген должен быть разрушен*). В бунинской строке «*Это волчьи глаза или звезды — в*

стволах на краю перелеска?» ноэматический состав акта восприятия также сращен сразу с тремя ноэсами — самой ноэсой восприятия, ноэсой вопроса и ноэсой страха. Все ноэсы одновременны: третья ноэтически более «поздняя», чем первая; вторая может быть «позже», чем третья. Конечно, можно интерпретировать и так, что ноэса страха вообще в ноэтическом времени изначальная: не будь ее, хотя она семантически и не выражена, в качестве фонового тонального освещения, мог не возникнуть и вопрос второй ноэсы. Но и в таком случае здесь есть разрывы между ноэматическим и ноэтическим составами; эти разрывы впоследствии нейтрализуются, и ноэматический состав точно попадает в ноэтическую лузу.

Но так бывает не всегда. Значительно более важные случаи — когда ноэмы и ноэсы разрываются без дальнейшего повторного воссоединения или когда ноэсы не имеют своих ноэм, и наоборот. Это — зона смен языковых модальностей, тропов и фигур речи.

§ 72. Ложные пространственные разрывы ФВ. Метафора как ложная смена ФВ. В своем общем действии смены ФВ всегда есть некое перемещение луча внимания по ноэматическому пространству, доступному кругозору ноэсы, т. е. в феноменологическом смысле смены ФВ — пространственный процесс. К тропологии, по-видимому, можно отнести особую разновидность этих пространственных сдвигов — ложные пространственные сдвиги и разрывы между непосредственно смененными ФВ.

Это происходит тогда, когда резко смещается ноэматический состав остающейся при этом той же ноэтической ситуации, часто — на переходе от необразного фрагмента к тропу или от одного тропа к другому, как в пушкинском: *«Напрасно я бегу к сионским высотам, / Грех алчный гонится за мною по пятам; / Так ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, / Голодный лев следит оленя бег пахучий»* (III, 1, 419). Между второй и третьей строками здесь полностью сменено *ноэматическое окружение* (то, что называется «семантическим сдвигом») фокуса внимания, а значит формально сменен и сам ФВ как всегда момент ноэмы, однако ноэтическая ситуация — ее *кругозор* и ее ФВ — в действительности сохранены теми же. Второй ноэматический состав этой ситуации — это новое ноэматическое *окружение того же ФВ*, новый ноэматический состав помещен в ту же ноэтическую ситуацию. Хотя, таким образом, это новое окружение и оснащено собственным ФВ, он не имеет прямого референциального значения; этот новый ФВ использован как вторичная ноэса — как дополнительная тонально-модальная ноэса к исходному ноэтическому кругозору и исходному ФВ, расширяя тем самым прямой семантический смысл первой строки. Здесь, таким образом, один несменяемый интенциональный объект (доминантный ФВ), но несколько ноэматических наполнений ноэтической ситуации или несколько ноэматических окружений этого доминантного ФВ и, соответственно, несколько ФВ. Вторая строка с олицетворением также несет изменения ноэматического состава и смену ФВ, но этот сдвиг не столь резкий, как в третьей и четвертой — метафорических — строках: он не прерывает связное течение фразы, не меняет ноэматическое окружение исходной ноэтической ситуации (мы еще вернемся к анализу этих пушкинских строк в их иных смысловых измерениях — см. Глава 4, § «Предмет речи как свернутая точка говорения»).

В механизм метафоры часто входят такие пространственные сдвиги и разрывы ФВ с последующим наложением; их действие можно описать как

использование одного ноэматического состава со своим ФВ в качестве ноэсы к другому ноэматическому составу и его ФВ. Хотя, таким образом, формально в таких случаях производится полная и резкая смена ФВ, по результирующему смыслу это другой процесс — присовокупление дополнительной ноэсы к исходному ФВ. Такое *нанизывание* фокусов внимания на единый интенциональный стержень, порождающее дополнительные смыслы, фактически оказывается приемом *ложных смен ФВ*. Ложной сменой ФВ являются и метонимия, и синекдоха (со своими особенностями в ноэтическом механизме).

Схож прием ложных смен ФВ и с описанным в статье об антиномическом принципе Вяч. Иванова приемом деобъективации референта, с погашением именуемых потенциалов фиксирующего ФВ слова. В частности, с нанизыванием двух пар антонимов на один рассеянно, необъектно фокусируемый интенциональный объект: «*Розы сладость / На горечи Креста*» (3, 445); или с тем, что выше было названо «всасыванием» в воронку символического тождественного суждения двух пар взаимонанизанных антонимов: «*И корни — свет ветвей, и ветви — сон корней*» (1, 747). Как определялось нами ранее — здесь теряет отчетливые очертания предметная контурность общего референта, в терминах феноменологии говорения — здесь размывается ФВ за счет нанизывания нескольких ФВ. Здесь тоже нет реальной смены ФВ — это тоже их ложная смена, но, по сравнению с обычной (несимволической) метафорой, здесь нет и фиксированного исходного ФВ. В речи всегда есть ФВ и их смены, тропы используют универсальность ФВ и их смен в своих целях — и для дополнительного непрямого именованья, и для расшатыванья именованья как такового.

§ 73. О природе ноэтического смысла в связи с ФВ. Значимость непротяженных смыслов. На фоне ФВ и их смен можно, кажется, говорить о некоторых особенностях несемантизованного или несемантизуемого (неязыкового), в общем приближении — ноэтического, смысла в сознании. Ноэтический смысл, по-видимому, не только *не имеет существенно протяженной формы* существования, как и любой, в том числе ноэматический, смысл¹¹, но он не имеет и фиксированной формы существования, какую придает ноэматическому смыслу его семантизация. Будучи мгновенно-распадающимся, он вспыхивает под интенциональным лучом текущего сейчас акта и соответствующей ему ноэтической ситуации, уходя в большинстве случаев вместе с ним из 'настоящего' модуса бытия и сохраняясь лишь как короткий «след» на протяжении нескольких последующих актов сознания. Его можно вспомнить, к нему опять можно обратиться, но приобрести сколько-нибудь устойчивое длящееся существование и вступить в сложные соотношения с другими смыслами он

11 См. в рукописи Гуссерля «Ноэма и смысл» (цит. по: Мотрошилова, 402): «Смыслы — ... не суть объекты, существующие во времени»; см. также: «Изначальная актуальная самоналичность первого произведения в его исходной очевидности не дает вообще никакого стойкого достижения, могущего обладать объективным бытием. Живая очевидность, конечно, преходяща, так что активность тотчас переходит в пассивность текущего, поблекшего сознания только-что-случившегося. В конце-концов эта "ретенция" исчезает, но "исчезнувшее" преходящее и прошедшее не превращается для соответствующего субъекта в ничто, оно может быть вновь пробуждено к жизни» (Гуссерль Э. Начало геометрии).

может только если его облачить в семантику языка, пожертвовав при этом какими-либо его измерениями, т. е. при его трансформировании из сугубо ноэтического в ноэматический смысл. Фиксируя ФВ и координируя другие компоненты вокруг него в определенную ноэтическую ситуацию, затем меняя эти фокусы и составляя, пользуясь короткой сохранностью следа, длащееся смысловое образование с фиксированным существованием, языковая семантика придает смыслу устойчивое бытие и потому возможность внутренне разнообразно дифференцироваться и внешне разновекторно вступать в соседства. *Сколько-нибудь существенно протяженные устойчивые смысловые образования все сплошь зависимы от языка.*

Возникающие в этой языковой протяженности смысловые соседства способны породить новые смыслы — в том числе такие, которые вне языковой протяженности сознанием порождены быть не могут. С этой точки зрения тема постгуссерлевой феноменологии о невозможности развести акты означивания и акты извещения законна: облачаясь в язык, сознание может само себе «неожиданно» сообщить нечто. Однако этот спор разрешим, по-видимому, все же компромиссом: если логические акты означивания развернуты в сколько-нибудь длительную связную последовательность, то сознание в этом случае может получать дополнительную информацию от языковой семантики, т. е. само себе нечто сообщать через язык (анализируя как таковой — владения языковой семантики), но если речь идет о принципиальном соотношении смысловой предметности акта сознания и именуемой семантики, о моменте конституирования ноэмы, о ноэматическом предложении, о наделении смыслом формируемой предметности, то это не извещение, это «схватывание», набрасывание заранее готовой и преднаходимой семантической сети, приостановка или фиксация ранее аттенционально расплывчатого неоформленного ноэматического состава в качестве ядра ноэмы. Это может быть, наконец — ее «узнаванием», но все же не сообщением в прямом смысле. Не являются сообщениями и те смысловые эффекты, которые могут возникать в случае «непригодности» и отбрасывания какого-либо значения: отказ от его того или иного означивания может добавлять новые моменты в конституируемый смысл (любое «это — не то» дает новые краски тому, что пытаются определить), но эти новые краски не *сообщаются* себе сознанием, а высекаются им через семантические контрасты.

Все сказанное не означает ни несуществования, ни даже несущественности и иерархической сниженности мгновенных или «кратких» — непротяженных — безъязыковых смыслов сознания. Конечно, львиная доля ноэтических смыслов текуча, субъективна, темна, ситуативна и бесследна. Но непротяженные ноэтические смыслы могут быть и 'значительней' протяженных, их вспышка способна привести в движение язык, разбудить семантику, разрядить непрямыми смыслами имеющееся в языковой «текстуре» напряжение, они могут трансформированно сохраняться как доминирующая несемантизированная интенция, связующая последовательность языковых актов в качестве, напр., их подспудно влекущей к себе цели. Непротяженные смыслы «влиятельны» в сознании, они постоянно вдруг и ненадолго, но весомо появляются в нем при разворачивании «романа сознания с языком», могут «указывать» при этом на неточность или избыточность примененных форм языка, на жесткость или расплывчатость этих форм, на их излишнюю — в лоб — прямоу или «промах» мимо цели, на их чуждость или субъективность и т. д. Сами они в своем полном объеме «избегают» прямого схватывания

языком, ускользают от него; сознание всегда при слиянии с языком оглядывается на непротяженные поэтические смыслы и свои «лучшие» моменты проводит именно с ними, хотя бы они и были полностью обязаны языку своим вспыхиванием. Нельзя без языка обрести тот «катартический» для сознания смысл, который вспыхивает, напр., по прочтении стихотворения — но этот смысл близок по природе к вспышке неязыкового смысла, это была трудная работа языка, верх его мастерства — индуцировать такой несемантизуемый поэтический смысл. Он, если вглядываться (так же оценивают его иногда сами поэты — например, Вяч. Иванов), не «новый» — он благодарно «вспомненный», причем не из семантических «запасов» сознания, а именно из состава семантически неуловимых языком смыслов (неуловимая семантикой вспыхивающе-угасающая природа неязыковых смыслов не означает, что они никак не сохраняются в сознании, не помнятся им; они могут «сохраняться» в том числе и в тональных пластах сознания). Мы вплотную подошли здесь к теме остановленной вечности смыслового мгновения — о «вечных» идеальных смыслах и их непростых взаимоотношениях с языком, но — здесь и остановимся. Не входя в саму эту тему по существу, обозначим лишь ее концептуальную отдельность от обсуждаемых здесь поэтических смыслов.

§ 74. Идеальные «вечные» смыслы — не предмет феноменологии говорения. В «Начале геометрии» Гуссерля говорится, что конкретное использование слов осуществляет «локализацию» и «темпорализацию» идеального смысла, который сам по себе не является ни локальным, ни временным. По Мерло-Понти, *«здесь имеет место движение, с помощью которого идеальное существование ниспадает в локальность и временность, — и обратное движение, благодаря которому акт говорения, осуществляемый здесь и теперь, обосновывает идеальность истины»*¹². По принципу описания — ниспадение смысла через язык в пространство и время и обратное движение — эта гуссерлева идея и ее интерпретация Мерло-Понти схожи с тем, что говорилось нами выше, но предмет этих «передвижений» в нашем случае принципиально иной: речь идет не об идеально-вечном смысле, а о «поэтическом смысле», которому не придаются столь «ответственные» статус и параметры. Гуссерль искал обоснования того, каким образом идеальная вечная истина может быть выражена в языке через темпорализацию и локализацию, у феноменологии же говорения, как здесь полагается, не должно быть истинностных претензий. Речь здесь должна вестись о выражении не того, что истинно, а о выражаемости и понимаемости прямых и не прямых смыслов безотносительно к их истинности. Это может быть в том числе и смысл, оцениваемый как вневременной и «истинностный», но это может быть и любой поэтически ситуативный смысл, свойственный такому-то и такому-то поэтическому положению дел и такой-то и такой-то поэтической ситуации, и даже — значимый только для такого-то и такого-то говорящего. В феноменологии говорения проблема не в том, чтобы слушающий согласился считать высказанное идеальной истиной в себе, а в том, чтобы выявить условия и способы адекватного понимания слушающим передаваемого смысла, включая и тот, с которым слушающий при этом не согласится.

В феноменологии говорения, таким образом, гуссерлевы вопросы модифицируются: не как возможно выражение на языке идеального смысла-

¹² Мерло-Понти М. В защиту философии. С 64.

истины, по типу геометрических истин, а как возможно выражение любого смысла, смысла вообще. Это оборотная сторона того, что интересовало Гуссерля: не как возможно всеобщее понимание идеальных смыслов-истин, а как возможно всеобщее понимание текучего, не претендующего на вневременную истинность смысла. Понимание такого смысла тоже тем не менее имеет типологические закономерности и опирается на всеобщности — причем две: на всеобщность значений, на язык (а не на всеобщность внеязыкового смысла-истины), и — второе — на всеобщность поэтических ситуаций и синтаксических поэтических процессов в последовательном течении актов сознания, без которых недействительны и всеобщности значений. На этой второй всеобщности и должно быть акцентировано, с нашей точки зрения, внимание феноменологии говорения, причем она может оцениваться здесь как более фундаментальная чем первая: семантика — это застывшая лава актов сознания. Без оживляющих их живых актов и поэтических ситуаций передача через семантику прямого и непрямого смыслов была бы невозможна.

§ 75. ФВ, кругозор и окружение. По мере экспликации концепта фокусирования внимания становилось понятно, что он несет все же в себе ощутимую двойственность трудно описываемого характера. В самом деле: и при условном абстрагировании от проблем, связанных с фокализатором и голосом, о которых говорилось выше, остается не до конца ясным вопрос — «откуда» фокусируется внимание. В общем приближении: изнутри выражаемого в высказывании или извне? Или — попеременно извне и изнутри?

Эта тема похожа на нарратологическую проблему внедигетического и внутридигетического повествователя, но имеет иное решение. Нарратор, по принятому пониманию, может быть как внутри повествуемого мира, так и вне его, фокусирование же внимания всегда осуществляется извне. Даже при цитировании или ведении повествования не от авторского голоса выбор ФВ и их смены — в компетенции внедигетического источника смысла (*чистого автора* как чистого актора — см. раздел 4. 1.), который в своих целях меняет конфигурацию (инсценирует) естественных для чужой речи и чужого повествования смен ФВ (в цитируемом чужом высказывании в фокусе внимания может быть одно, в цитирующем же высказывании в фокус внимания часто помещается другое, чем создается в том числе и эффект непрямого смысла).

Дело здесь в неотмысливаемости наличия общего источника смысла каждого, включая «многоголосые», высказывания и в трудноуловимом интимном моменте соприкосновения смысла с семантикой языка. В ФВ могут помещаться как нозмы, так и нозы инсценируемого потока актов сознания, но осуществляет это всегда нозса, идущая от чистого автора, пусть и получающая при этом в высказывании не семантическое, а исключительно импрессивное (тональное) проявление.

Возможно, как известно, двойное сочетание нозм с нозсами: изнутри нозсы — нозматический состав представляет ее *кругозор*, взгляд же на нозсу извне может трансформировать ее в элемент *окружения* ее же собственной нозмы. В первом случае нозса сама является источником семантизации нозм, во втором случае нозса подвергается тем же самым сознанием рассмотрению со стороны (со стороны другой нозсы — другого акта, напр., рефлексии) и переводится тем самым в статус семантизированной нозмы, сама получая

возможность помещаться в позицию ФВ. В таких трансформациях изначально свойственный трансформированной ноэсе ноэматический *кругозор* и может теперь стать для нее — в семантизированной части высказывания, куда она сама вошла, будучи трансформирована в ноэму, — ее *окружением*, по составу которого сознание может новыми «лучами» других актов сменять ФВ. Закономерность здесь, видимо, та, что фокусирующая внимание ноэса (инстанция) никогда сама в этот момент не семантизована; это и значит, что она внедигетической природы.

Мы коснулись здесь проблемы соотношения кругозора и окружения («точки, из которой..» и «точки, на которую..») в связи с обсуждаемой в данной главе темой о фокусах внимания и их сменах — с тем, чтобы описать случай, когда фокусирующая инстанция («точка, из которой...») сама может трансформироваться в «фокусируемое» (в «точку, на которую...»). Но в своей полной значимости и, соответственно, концептуальном «адресе» эта проблематика относится уже к «интерсубъективно-эгологической» зоне (рассматриваемой в Главе 4), поскольку в ней ведущую роль играет не то, что помещается в фокус внимания, а та точка, из которой производится фокусирование внимания.

3. 2. ЯЗЫКОВАЯ МОДАЛЬНОСТЬ

§ 76. Языковые модальности и связанные с ними концептуальные затруднения. Выше мы говорили о модальной компоненте сознания, ее неотмысливаемости; частично затрагивались и вопросы о языковых модификатах модальности сознания (об опоре языка на праомодальную ноэсу, о неотмысливаемости модальности в языке, о специфике выражения в языковой модальности актов нейтрального сознания и др. — см. разделы 2. 3., 2. 4.). В связи с этими темами выше была поставлена проблема о возможной концептуальной связанности или, как минимум, функциональной схожести модальности с тональностью сознания и высказывания (к этой проблеме мы еще специально вернемся ниже).

Спорадически применялись выше и понятия нарративной, изобразительной и других языковых модальностей, однако вопрос о языковых модальностях как таковых еще специально не ставился. Главная трудность здесь, конечно, в том, что хотя, с одной стороны, очевидно, что феноменологические модальности чистого сознания (вопросительность, сомнение, долженствование, негация и т. д.) имеют свои модификаты в языке (в категории наклонения, в вычленении разных — вопросительных, восклицательных и др. — типов предложений, различных речевых актов и т. д.), с другой стороны, не понятно, все ли из того, что вносится в область языковых модальностей, имеет аналоги в актах «чистого» сознания. Ведь фактически именно модальность выдвинулась в последнее время в эпицентр философии языка: говорится, например, о «нарратологическом повороте», а нарративность — это, по определению, модальность¹³. Имеются ли в «чистых» актах сознания аналоги «нарративной» и других этого ряда модальностей (см. ниже) — вопрос с двойным дном: если, к чему естественно склоняется ответ, не имеются, тогда может предполагаться, что тем самым ставится под сомнение автономное существование неязыковых актов и смыслов и что тезис о тесном сближении, почти слиянии сознания с языком получает дополнительное подкрепление. С предлагаемой точки зрения, такое понимание

¹³ См. *Женетт Ж.* Фигуры. Т. 2. С. 180 и далее.

ситуации возможно, но не обязательно. Попробуем подойти к этому выводу последовательно.

Что значит для высказывания быть в той или иной модальности? Поскольку разговор у нас ведется в феноменологическом пространстве, под модальностью здесь понимается та характеристика актов говорения, с которой коррелирует *модус бытия предмета речи* (аналогично тому, как коррелируют между собой модальности ноэс как актов сознания и модусы бытия соответствующих ноэм). Вектор корреляции в языковых актах следует, по-видимому, тоже понимать как в феноменологии сознания — т. е. как идущий от акта к предмету. Это значит, что как предположительной модальности акта сознания соответствует предположительный модус бытия ноэмы этого акта, так языковому акту в описательной модальности соответствует не смысловая предметность как таковая, а смысловая предметность (или референт) в модусе «бытия описываемой». «Одна и та же» предметность частично изменяет, согласно такому пониманию, в разных языковых модальностях свое смысловое наполнение: предметность в модусе «бытия описываемой» отлична от той же самой предметности, если ее «взять» в модальности повествования, в модальности изображения и т. д. В перспективе идея языковой модальности «восстает» здесь против идеи изоморфной референции.

Перечислим обсуждаемые в литературе модальности языка: описание, объяснение, дискурсивность¹⁴, наррация, изображение. Присовокупим к списку также нейтральную модальность (в параллель к нейтральному сознанию феноменологии). Это, конечно, неполный список: обсуждаются и другие модальности, но остаются проблематичными сами критерия их выделения — так что список принципиально открыт. Прежде всего — не до конца ясен, что уже обсуждалось (см. раздел 2. 5.), вопрос о соотношении модальности и тональности: о точках их совпадения, расхождения, их раздельного и/или совместного функционирования. Не до конца ясен, как тоже уже частично говорилось, и вопрос о соотношении модальности и референции: не исключено, напр., что прямую референцию также следует понимать как разновидность языковой модальности (в таком случае референцию надо будет толковать как одну из возможных, но не обязательных целей говорящего — см. ниже). Не до конца ясен, наконец, вопрос (и тоже частично из-за проблемы референции) о соотношении в языке модальности и интенциональности¹⁵.

14 О дискурсивности в ее лосевском и кассиреровском толковании см. § «Предмет речи как свернутая точка говорения».

15 См., в частности, взаимную диффузию модальности и интенциональности в: Валерий Тюпа Очерк современной нарратологии (РГГУ. Критика и семиотика. Вып. 5. М., 2002. С. 5-31): «Можно сказать, что наррация есть особая интенция говорящего или пишущего субъекта дискурсии. Нарративная интенциональность высказывания состоит в связывании двух событий — референтного (поведываемого, свидетельствуемого) и коммуникативного (само свидетельствование как событие) — в единство художественного, религиозного, научного или публицистического произведения в его, по выражению М. М. Бахтина, событийной полноте». С другой стороны: «Нарративность... представляет собой одну из общериторических модальностей» (как разновидность риторической модальности оцениваются и итеративные высказывания: «текстообразующая доминанта итеративных высказываний» — «констатация»; «референтная функция итеративного дискурса внеисторична... Такие дискурсы по своей риторической модальности

И перечисленного набора сложных соотносимых с модальностью тем достаточно, чтобы понять, почему в том, как классическая идея наличия такого типа языковых модальностей (восходящая к Платону и Аристотелю, к мимесису и повествованию) трактуется сегодня, имеются непреодоленные концептуальные затруднения. Они еще более заостряются той не исключаемой возможностью, что все перечисленные и аналогичные им языковые модальности следует охватить каким-либо общим понятием — с тем, чтобы каждая из них мыслилась как наслаивающаяся на единую *модальную праоснову*, общую для всех языковых высказываний как таковых (формальный аналог гуссерлевой прадокси и прамодальной ноэсы — см. раздел 2. 4.). Эта идея предполагает, что при переходе смысла или предмета в язык с ними со всеми у самого входа в языковое пространство всегда происходит нечто общее-единое, отражающее сам факт этого перехода в новую субстанцию (и только в дальнейшем пути их по этому языковому пространству могут разойтись, и весьма существенно).

Эту гипотетическую праоснову можно было бы понимать по-разному (т. е. — не ясно, как понимать). Если гипотетически говорить за Гуссерля, то языковая прамодальность, по-видимому, должна была бы пониматься им не в направлении к референции или коммуникации, а в направлении к «выражению». Во всяком случае это так относительно гуссерлевой логической сферы внекоммуникативных актов выражения: праязыковой модальностью здесь признается *выражающая* модальность (выражение *предвыразительного* ноэматического состава), все смысловые предметности, соединяемые с языком, преобразовываются здесь прежде всего в *выражаемые смысловые предметности* — и уж затем получают другие частные дистинкции.

Известна и понятна версия выдвижения в качестве языковой модальной праосновы *референции*, но известно также и то контрпонимание, согласно которому предметность всегда имеет в речи в качестве фундирующего основания модус «*коммуницируемой*» (в самом широком понимании). В обеих версиях считается при этом, что на так или иначе понятую праоснову далее уже могут наслаиваться собственно полнокровные модальности: референцируемая/коммуницируемая предметность может подаваться в модальности описания, объяснения, изображения и т. д. Объяснение и

"теоретичны", поскольку являются генерализациями процессов или состояний, а по своей интенции они, в сущности, автокоммуникативны. Они лишь овнешняют внутренние процессы мыследеятельности некоторого субъекта»). Понятие интенции в последней цитате тендирует к его лингвистической версии (по типу «коммуникативной интенции»), в первой же приведенной цитате интенциональность и коммуникативность были сопряжены, но тем не менее разведены.

Объективные сложности в дистрибуции терминологии, по причине каковых мы здесь оставляем вопрос о соотношении языковой модальности и языковой интенции без рассмотрения, вызваны, по всей видимости, генетической связью подразумеваемых феноменов (интенция «направлена» на объект, который наделяется тем или иным модусом бытия, исходя из модальности этого направленного на него интенционального акта). Дополнительные понятийные смещения возникают также и потому, что понятие интенции, если исходно мыслить его феноменологически, претерпевает при перенесении в лингвистику и литературоведение различные и не во всем прозрачные трансформации, в том числе коммуникативную.

описание становятся при таком понимании частными разновидностями референции или коммуникации. С другой стороны, под воздействием, как кажется, той же тенденции к поиску праосновной языковой модальности высказывается (в частности, П. Рикером¹⁶) и версия о внутренней глубинной связанности референции и коммуникации, об их фундаментальном единстве. Эта же концептуальная потребность в общеязыковом праодусе словесной предметности оказалась, по-видимому, стимулом для принятия в некоторых концепциях в качестве базовой языковой функции или пра-структуры *нарратива*: коммуникативное сообщение, право которого претендовать (не значит — добиться искомого) на статус модальной праосновы языка вряд ли можно оспаривать, и наррация — действительно, близкие понятия. Придание же нарративу такого праосновного характера стало причиной провозглашаемого «нарративистского поворота»¹⁷. Понятно, что поднимаемая в статусе наррация может пониматься и как замещающая собой или вмещающая в себя доминирующую в других теориях референцию, поскольку в свое время как раз сообщаемость (коммуникация = рассказ) конкурировала с референцией за этот верховный трон, а в некоторых направлениях и победила. Ситуация вообще во многом осложнена именно тем, что борющиеся за статус модальной праосновы языка понятия имеют общие семантические компоненты в своих значениях. Так, нарратив (от *gnarus* — знающий, осведомленный в чем-либо) означает «повествование» — «кто-то рассказывает кому-то, что что-то произошло» (рикеровское определение «фразы»), но эта же формула может быть применена, хотя, возможно, и с ограничением последнего компонента (что-то произошло), и к коммуникации, и к референции, и к выражению.

Так что дело не в терминологических разногласиях, а в реальных концептуальных трудностях, связанных с недостаточной проработанностью темы. В такой ситуации представляется более целесообразным оставить вопрос о праоснове (пока) открытым и рассматривать все обсуждаемые модальности в равностатусном сравнении. За наррацией в этом случае будет зарезервирован, как это предлагает Ж. Женетт, статус одной из разновидностей модальностей¹⁸, наслаивающихся на праоснову и переплетающихся между собой. В пользу частного (не пра-основного) характера наррации говорит и то, что в теории нарративной конструкции выявлено много таких особенностей ее языковой организации, которые не обязательно относятся ко всем другим модальностям языка или, во всяком случае, универсальность которых еще надо проверять и проверять. Особо, конечно, это относится к со- и противопоставлению наррации и описания (а с ним и изображения), о различном генезисе, функциях, совместном существовании и взаимном поочередном доминировании которых много и

16 Рикер П. *Время и рассказ*. Т. 1. С. 95. Мы еще вернемся к этой теме.

17 См., в частности, Kreiswirth M. *Tell Me a Story: The Narrativist Turn in the Human Sciences // Constructive criticism. The Human Sciences in an? Age of Theory*. Ed. by M. Kreiswirth and T. Carmichael. - Univ. of Toronto press. - 1995. p. 61-87.

18 У Женетта наррация понимается как модальность, параллельная модальности описания, обе же они толкуются как варианты «изображения» (Фигуры. Т. 1. С. 288 – 289).

ранее говорилось (в частности, О. Фрейденберг), и говорится в последнее время¹⁹.

§ 77. Проблема соотношения референции и модальности. Те же сомнения можно отнести и к *референции*: и ее статус в рамках разговора о модальностях тоже, как представляется, целесообразней перевести с позиции доминирующей праосновы на уровень одной из многих разновидностей модальностей. Референтная модальность формирует модус 'действительного бытия' внелингвистической предметности, которая непосредственно и адекватно указывается словом в целях точного соотнесения речи именно с нею без того, чтобы добавлять к этому точному указанию и к самому «бытию» какие-либо дополнительные смысловые наслоения — сообщать, повествовать, изображать. Не во всяких языковых модальностях есть референция в этом смысле, а если референцию понимать не в этом смысле, то тем самым можно войти в стратегически ошибочный концептуальный клинч с аналитикой, где референция — не только ключевая, с чем легко можно вступать в спор, но действительно разработанная во многих аспектах проблема (а не лишь периферийно привлекаемое в качестве лакмусовой бумажки понятие с неясным статусом), и где в качестве референции понимается в том числе — если не как ее «истинное лицо» — прямая непосредственная оstenсия (слово в сопровождении указательного жеста).

Процесс разложения в аналитике компактно-определенного понятия референции как указания на определенный *экстерналистский* «объект» внеположной сознанию действительности (или — с обратной стороны того же — незавершенность процесса по сбиранию этого понятия в компактно-определенное одно), имеющий в ряде случаев своим последствием и сугубо *интерналистское* понимание предметов речи, идет давно²⁰. Несмотря на фундаментальность разделяющей противоположные лагеря границы, этот спор редко приводит в аналитически ориентированных концепциях к отказу от понимания референции в качестве доминирующей общеязыковой подосновы. Последнее обстоятельство отмечалось многими; так, Поль де Ман говорил вслед за французскими теоретиками о «*некритическом использовании авторитета референции*», понятой как референция к «внешнему» миру, «находящемуся за пределами языка», о референции, упорно «*отстаивающей свои права*», «*скрываясь под разнообразными масками, от неприкрытой идеологии до самых утонченных форм эстетического и этического*

19 Кроме уже названного Женетта, сошлемся по этому поводу и на А. Компаньона: «...анализ мифа, а затем и повествования по модели мифа, привел к привилегированному положению нарративного текста как элемента литературы, а как следствие и к развитию французской нарратологии, то есть анализа структурных особенностей литературного дискурса, синтаксиса повествовательных структур, в ущерб тому, что в текстах связано с семантикой, мимесисом, изображением реальности, особенно с описанием. Основополагающей структурой литературы условно полагалась двойственность повествования и описания, и все усилия направлялись к одному из этих двух полюсов — к повествованию и его синтаксису (а не семантике)» — Компаньон А. Демон теории. М., 2001. С. 119.

²⁰ Подробнее о соответствующем споре между экстерналистским и интерналистским подходами в аналитике см. Маккинси М. Фреге, Расселл и проблема, связанная с понятием 'убеждение' // Аналитическая философия: становление и развитие. М., 1998 (сам Маккинси придерживается интернализма).

суждения»; о «подрыве мифа о семантическом соответствии знака и референта»²¹. Чаще всего предпочитается не редукция значимости референции или ввод новых понятий, а усложнение самого этого понятия — его дифференцирование, расслоение, удвоение, расщепление, оснащение новыми функциями и т. д. (напр., в теориях расщепленной, двойной, возвратной, прямой, не прямой и т. д. референции).

С другой стороны, понятие самого референта остается этим теоретическим рассеиванием понятия референции почти незатронутым — не акцентируются, например, двойные, расщепленные, возвратные, не прямые и т. д. референты. Это понятно: ведь такого рода усложнения, расщепления и дифференциации в случае их применения к референтам должны тем самым переноситься и на самую внеположную «действительность», ведь референты в преобладающем в последнее время в аналитике экстерналистском понимании локализованы именно в ней. Можно мыслить в этой «действительности» в качестве референтов объект, вещь, личность, процесс, положение вещей, соотношение, субстанцию, качество, свойство, событие, чужое слово и т. д., но сложно и трудоемко мыслить непосредственно в ней наложения и расщепления референтов, их синтез, раздваивающийся референт, двойной референт, необъективируемый, не прямой референт и т. п. «Трудоемко» — потому что нужно будет концептуально разбираться в почти неизбежном в таких случаях смешении интерналистской и экстерналистской сфер, которое вполне может произойти при введении во внеположно понимаемую «действительность» всех этих явлений (раздвоение, расщепление, синтез и т. д.). Такого рода явления с большей очевидностью и концептуальным спокойствием лучше связывать с сознанием, созерцающим экстерналистские референты и выносящим о них раздвоенные, расщепленные, непрозрачные и т. д. суждения.

Понятно, что в рамках этого спора феноменология говорения, тем более — непрямого говорения, ближе к интерналистской версии, тем не менее мы здесь останавливаемся на экстерналистском понимании референции. По нескольким причинам и с существенным добавлением. Если принять интерналистскую версию, то неизбежно придется отвечать на уже поставленный и с виду простой, но в действительности уходящий корнями в самые глубокие пласты проблемы вопрос об обоснования феноменологии как таковой — а именно на вопрос, *являются ли референтами ноэмы?*²². Придется отвечать и на вопрос, который поднимается из недр самой феноменологии говорения: являются ли референтами ноэсы? Выше мы уже говорили о принципиальной опосредованности «прямой» языковой референции ноэтически-ноэматическими структурами сознания, но при принятии интерналистского подхода нельзя уже было бы ограничиться столь краткими замечаниями.

Вторая причина — та, что для решения споров о референции точнее, как представляется и как уже говорилось выше, отказаться от придания ей какого-либо доминирующего языкового статуса и перевести, как предлагается здесь, в разряд одной из разновидностей языковых модальностей. Принимая экстерналистский подход, мы, таким образом, одновременно предполагаем существенное ограничение сферы его влияния, а тем самым — сферы влияния

²¹ Поль де Ман. Аллегории чтения. Екатеринбург, 1999. С. 12, 9, 12.

²² См., в частности, об этом в: Кюнг Г. Мир как ноэма и как референт // Аналитическая философия. Выше цит. С. 302 — 322.

референции вообще, оставляя в ее компетенции лишь то, что без каких-либо серьезных теоретических затруднений или натяжек на самом деле можно понимать как экстерналистские референты (а таких референтов явное меньшинство). Многие, считающиеся референтами, тем самым теряет, согласно замыслу, основание считаться таковыми. Это ограничение референтов соответствует нашей цели: ведь никак нельзя сказать, что не прямое говорение *референцирует* не прямой смысл, оно именно «не референцирует» его. Непрямое говорение основано на интернализме, но без референции. Референция — на экстернализме, но без непрямого говорения и каких-либо других усложненных случаев языковых выражений.

§ 78. Особо о референции, нейтральной и инсценирующей модальностях. Отнесение референции к одной из многих возможных языковых модальностей представляется если не безусловно верным, то целесообразным и по той причине, что в такой роли она займет выразительную контрапунктную позицию по отношению к тому, что мы назвали выше при обсуждении гуссерлева нейтрализованного сознания «нейтральной» языковой модальностью (раздел 2. 4.). «Нейтральность» как раз ведь в том, что, протекая в этой модальности, высказывание не отсылает к чему-то внелингвистическому как к существующему «действительно» и вот тут и сейчас референцируемому, т. е. нейтральность — это именно *нереференциальность* в точном смысле понимания категории ‘референции’, это нейтрализация именно строгой референциальности во временной инстанции «здесь и сейчас». Дело, подчеркнем, не в отказе от самой возможности существования референтов у нейтрального высказывания или его фрагмента, а в снятии всякой референцирующей установочной модальности с содержательного наполнения речи в нейтральной модальности. Или, перефразируя гуссерлево описание нейтрального сознания, в том, чтобы «просто мыслить» нечто, не «соучаствуя» в его референцировании.

Нет сомнений, что нейтральная модальность существует в языке, как и в сознании, сомневаться можно только в том, что она в нем главенствует. Нейтральная (нереференциальная) модальность — также, как представляется, один из претендентов на статус праомодальности.

Понятно, что в нашем контексте не может не предполагаться еще один претендент на эту роль. Если у Гуссерля относительно логической сферы праязыковой модальностью фактически признается выражение — выражающая модальность, то в соответствии с тезисом об индуцировании и инсценировании в живом языке потока актов сознания можно предполагать трансформацию смысловой предметности в модус бытия индуцируемой и инсценируемой и, соответственно, наличие у языка общей *индуцирующе-инсценирующей модальности*. В таком случае все, что говорится, весь передаваемый смысл, надо будет понимать прежде всего как смысл, инсценируемый через индукцию соответствующих актов сознания, который затем вторым темпом может квалифицироваться как референцирующий, нарративный, изображающий и т. д. Но и это — только предположение.

На момент сегодняшних концептуальных столкновений остается только заняться накоплением различных вариантов осмыслений и фактического материала при равностатусном рассмотрении всех языковых модальностей — в надежде, что в дальнейшем это поможет точнее подойти и к постановке самой проблемы о модальной праоснове языковых актов, и к ее тому или иному решению.

При оставлении открытым вопроса о прамодалности приоткрываются и возможности для выхода на другие не менее существенные темы: на вопрос о модальных особенностях жанров и соответствующих им типах предметов речи, а также на вопрос о чередующихся сменах модальностей внутри единого высказывания.

§ 79. Модальность и жанр. Между этими понятиями несомненно имеется концептуальная связь. Типы языковых модальностей обладают мощной жанрообразующей (первичное разделение на эпос, лирику и драму во многом, как известно, опиралось на модальные параметры) и референто-формирующей силой: в зависимости от выбора модальности референт мыслится как описываемый, рассказываемый, выражаемый и т. д., что в определенной степени влияет и на понимание собственных свойств самого референта ('стул' описываемый отличается от изображаемого). Жанры смотрят на референт или предметность с разных модальных сторон и формируют разные же типы «позиции смотрения и говорения»; сдвиги модальности меняют и референт, и параметры этих «позиций смотрения и говорения» (в последнем смысле жанровая модальность имеет отношение к эгологической проблеме формирования жанровых «мы» как типов источника смысла высказывания — см. параграф «*Диапазон причастности*»). Меняют сдвиги модальности и тональные параметры высказывания.

3. 3. СОВМЕЩЕННЫЙ МОДАЛЬНО-ТОНАЛЬНЫЙ РАКУРС

§ 80. Причины и цели совместного рассмотрения модальности и тональности. Мы видели выше, что тональность оценивается в гуссерлевой феноменологии как функционирующая аналогично модальным актам — на этом основании тональности (актам душевной и волевой сфер) был придан смысловой и типологический статус, а именно: тональность наряду с модальностью определялась в качестве второго основного типа ноэтического смысла. Если относительно чистого сознания при всей признаваемой схожести в функционировании модальности и тональности нет оснований для их концептуального сближения, то при транспонировании проблемы в языковое пространство, предполагающее иллюстрацию форм языкового проявления того и другого, такие основания появляются. Дело не только в отсутствии детально дифференцированной терминологии, но и в том, что речь в феноменологии говорения идет не о предметности как таковой и даже не о смысловой предметности как таковой, а о *словесной смысловой предметности*, т. е. о смысловой предметности, переведенной в общий для всех высказываний фундирующий их языковой пра-модус бытия. Различие — и существенное — между модальностью и тональностью сохраняется и здесь: хотя языковые модальности функционируют в языке — как и в сознании — аналогично тональности, они, с другой стороны, имеют отношение и к *тематизму* (оппозиционной категориальной паре к тональности — см. в наст. изд. статью «Двуголосие в его соотношении с монологизмом и полифонией»). Тем не менее своим сходством в функционировании с тональностью модальность микширует оппозицию тональности и тематизма. Связь с тематизмом — в том уже отмечавшемся обстоятельстве, что в языковых высказываниях модус бытия словесной предметности (предмета, о котором высказывание), т. е. тематический компонент, формируется в зависимости от избранной модальности. Однако если я условно «одно и то же» в одном случае «расскажу» (наррация), в другом случае «опишу» или «изобразю», то это

изменит не только модус бытия словесной предметности, но — предполагаемый здесь «топос» совмещения — одновременно в некоторой степени изменит и *тональность* высказывания. Феноменологически представляется очевидным, что тональность ‘рассказа’ отлична от тональности ‘описания’, тональность описания — от тональности объяснения и т. д. Отличия проходят и по зоне импрессивности ноэс, и по зоне экспрессивности ноэм (т. е. и по ноэтической, и по ноэматической тональности).

Здесь наличествует, по всей видимости, некое сложное сплетение в ноэтическом смысле модальности, тематизма и тональности, свидетельствующее в пользу высказывавшегося выше предположения о неправомерности полного разрыва ноэтических и ноэматических сторон и, соответственно, заостренно ноэтических толкований смысла. Во всяком случае предлагаемый совместный ракурс рассмотрения тональности и модальности (при сохранении их концептуального различия) позволяет усмотреть в развертывании высказывания моменты сдвигов его модальных и тональных параметров.

§ 81. Модально-тональные сдвиги и их влияние на смысл. Сколько-нибудь протяженные высказывания, по-видимому, никогда не оказываются одномодальными и тем самым однотональными. Внутри них — и при наличии общей, напр., рамочно-жанровой установки высказывания на какую-либо одну из модальностей, напр., на наррацию или изображение — происходят периодические смены модальностей. Обычно это явление рассматривается применительно к крупным фрагментам, но, с точки зрения феноменологии говорения, можно полагать наличие частых чередующихся модально-тональных сдвигов и на более дробном уровне частных актов говорения — аналогично (но не изоморфно) тому, как сменяют друг друга в потоке неязыковых актов сознания разные модальности (уверенность, сомнение, желательность, допущение и т. д.) и разные тональности (смена эмоций, наслоение оценочных ноэс, изменение содержания оценки и т. д.). И — одновременно — аналогично тому, как сменяются и налагаются друг на друга интенциональные и аттенциональные «лучи» (фокусы внимания).

С предлагаемой точки зрения, смена модальности, меняющая и модус бытия смысловой предметности высказывания, и тональность высказывания, влияет тем самым на его смысл. Для иллюстрации этого положения обратимся к перефразированию.

§ 82. Перефразирование как смена модально-тональных моментов высказывания и потому изменение смысла. В общем плане перефразирование может быть понято в качестве способа перевода всего высказывания из одной языковой модальности и соответствующей совокупной модально-тональной настроенности в другую языковую модальность. Точнее — в качестве *унификации* как использованных в высказывании разных модальностей, так и тональностей. Часто перефразирование — это способ перевода ненарративных модальностей в нарративную. Если обратиться к нашему сквозному примеру на двуголосую конструкцию, то его такое, напр., перефразирование — *«Студент сказал (осмелился сказать? набрался смелости и сказал?) Калломейцеву, что не разделяет его опасений. Калломейцев... с изумлением (с негодованием, с вызовом, удивленно, иронично?) посмотрел на него»* — это перевод фразы с двуголосой, и потому обладающей элементами изобразительной модальности, в одnogолосую наррацию (в двуголосых конструкциях ведущий голос всегда, говорит Бахтин,

объективирует второй голос и тем ‘показывает’ его, ‘изображает’ его). В переделанной же фразе весь смысл дается в нарративной модальности — как одноголосое осведомление говорящим незнающего о референтной цепи событий, как рассказ о них. Вместе с модальностью трансформировалась и тональность (как минимум, исчезла ироничная авторская импрессия по отношению к «негодующей» — условно — экспрессии Калломейцева как «предмета» авторской речи).

Но смена языковой модально-тональной структуры чревата изменением смысла, и потому вытягивание высказывания при перефразировании в одну модальность для смысла небезопасно. Иными словами, при одной и той же в формально-семантическом плане смысловой предметности в случае смены модально-тональной структуры меняется и смысл фрагмента. Если всегда тонально насыщенную изобразительную модальность, напр., из метафорической фразы Бретона *‘Роса с кошачьей головой качалась’*, передавать при установке на перефразирование не в изобразительной, а в нарративной модальности (как, напр.: *‘имеется в виду, что у росы кошачья голова и что она качалась’*²³), то мы либо попросту перенесем чужую метафору в свое перефразирование и, значит, контрабандно используем ее понимаемые не прямые изобразительные и тональные потенции в якобы прямой референцирующей наррации, либо скажем в этом перефразировании нечто, с точки зрения самой нарративной модальности, ‘несуразное’. В исходном тексте Бретона метафорическая фраза *‘Роса с кошачьей головой качалась’* — это не повествование (не наррация) о том, что у росы кошачья голова и что она качалась, а не прямая инсценировка — показ-изображение, причем с отчетливой референцирующей свой предмет и его смысл силой (не меньшей, чем у фраз с «прямой» семантикой) и с ненарративной тональностью.

Аналогичные «шагреновые» смысловые эффекты происходят при искусственном пересказе «содержания» стихотворения — как осознанном «рабочем» приеме на начальном этапе его академического комментирования. Так, мандельштамовская строфа:

*Прославим роковое время,
Которое в слезах народный вождь берет.
Прославим власти сумрачное время,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть — тот должен слышать,
время,
Как твой корабль ко дну идет.*

— в которой имманентно содержатся два отчетливых разнонаправленных коммуникативно-тональных импульса — по оси я/мы (*прославим*) и по оси я/ты («ты» как предмет речи — *«время»*) и, соответственно, имеются как минимум две внутренние (входящие в общую модальность стихотворения) дробные языковые модальности (назовем их, условно, «призыв» и «обращение-сентенция»), передается при пересказе содержания однотонально-одноmodalно: *«<В такую пору> особенно тяжело время власти и почетна жертвенная судьба народного вождя, <потому что> корабль целый*

²³ Пример взят из: *Женетт Ж.* Фигуры. Т. 1. С. 205.

исторической эпохи идет ко дну»²⁴. Помимо естественных для такого рабочего приема съезживаний смысла, отметим, что почти как неизбежные в такого рода пересказах «содержания» появляются — часто именно в точках смены в исходной фразе модальности и/или тональности — логические союзы и слова (<потому что>), привнесенные из инородной исходному тексту объяснительной модальности и потому также трансформирующие смысл (об искажающей смысл силе логических союзов и слов — на примере анализа трансформации бессоюзных предложений в союзные — подробно говорилось Бахтиным — Собр. соч. 5, 146 – 151). При перефразировании, вытягивающем модально-тональные сдвиги в одну, обычно нарративную, линию, смысл ее, таким образом, как минимум сужается. Такой разницей в смыслах нельзя пренебречь, так как изымаемые поэтические сдвиги смысла *не субъективны*: языковые модальности и тональности относятся к общеязыковым и типологическим показателям смысла.

Кроме смен и сдвигов модально-тональных настроенностей, для языка органичны, по всей видимости, и модально-тональные *наслаивания* (собственно говоря, так происходит и в нашем примере на двуголосую конструкцию: в ней интерферирующе наложены друг на друга две тональности, исходящие от разных голосов).

Если согласиться, что смысл при смене языковых модальностей и тональностей меняется, тогда серьезные основания для того, чтобы считать, смысл высказывания тем, что поддается перефразированию, исчезают (а значит, можно будет полагать, что у метафоры есть свой собственный «смысл», не поддающийся перефразированию). Если же условиться считать «смыслом» именно и только поддающееся перефразированию, тогда при разборе языковых высказываний либо надо будет говорить, что смыслом обладают только одномодальные (напр., только нарративные), однотональные, неметафорические (т. е. в пределе — логические) высказывания, либо надо будет пользоваться понятием ‘смысл’ только применительно к «нейтральной» логической семантике как ее фактическим синонимом (все, что за или сверх семантики — считать явлениями несмысловой природы). В логической сфере перефразирование концептуально полезно (оно очищает выход к пропозициям), при нашем же понимании ситуации (согласно которому смысл включает в себя вместе с семантическими и все поэтические аспекты, в том числе модально-тональные) и в наших целях, связанных с выявлением способов непрямого говорения, перефразирование тоже полезно — прагматически «негативно»: всегда изменяя смысл исходной фразы, в том числе сужая его, перефразирование подчеркивает тем самым наличие в исходных фразах ускользнувшего от него непрямого смысла. Перефразирование может служить своего рода смысловым эхолотом, указывающим на полые и, наоборот, заполненные пласты не прямой смысловой породы за видимой семантической оградой высказывания.

§ 83. Модально-тональные сдвиги и фокус внимания. Модально-тональные сдвиги и смещения способны, говорили мы выше, влиять на тематическую сторону высказываний. Природу такого рода влияний можно

²⁴ Омри Ронен. М. Л. Гаспаров. «Сумерки свободы». Опыт академического комментария // Омри Ронен. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002. С. 129, 130.

проиллюстрировать через изменения, производимые модально-тональными сдвигами в фокусах внимания высказывания.

При описании ФВ и их смен было высказано положение, что нозса не равна предикату, как и нозма — субъекту. И что поэтому неточно было бы говорить, что концепт нозэтически-нозматических структур сознания сформирован Гуссерлем благодаря смотрению на сознание через призму языка, сквозь, в частности, его субъект-предикатную форму; с другой стороны, было бы ошибкой полагать, что модальность и тональность влияют в языке только на нозсы-предикаты. Если бы это было так, нозса всегда бы оказывалась тождественной предикату, нозма — субъекту. Они бывают слиты, но это не обязательная закономерность, не универсалия, а только особенность одной из частных форм употребления языка с определенными модальными и тональными параметрами — логическая языковая «игра» в *дискурсивной* или *нейтральной* модальности, предполагающая нейтральную же тональность и логический тип коррелятивного соответствия нозм и нозс субъектам и предикатам.

Способны выводить смысл высказывания за пределы логической семантики субъект-предикатной связи (если она вообще есть в высказывании) в том числе и модально-тональные языковые процессы, в частности — в их совокупном действии со сменами ФВ. Возьмем для конкретного рассмотрения ту разновидность смен ФВ, которая связана со сменами внутри высказывания модальных или тональных типов актов и которая уже частично затрагивалась выше. Пойдем от прозрачного случая, демонстрирующего одновременно сходство и различие семантики субъект-предикатной структуры — от полного смысла нозматически-нозэтической структуры, выражаемой в виде определенного ФВ и конкретных типов языковых актов. Если определять в привычных терминах, то этот прозрачный случай тогда, когда к сохраняемому тем же синтаксическому субъекту в новом синтаксическом периоде добавляется предикат иной природы (иной языковой модальности или тональности), нежели первый. *Смена типа предиката к одному и тому же субъекту происходит в каждом сколько-нибудь распространенном высказывании, но редко привлекает к себе внимание лингвистики.*

По сложившейся традиции используем для иллюстрации фрагменты текста самой статьи — выделенное курсивом заключительное предложение предыдущего абзаца. Если обратить-таки внимание на произошедшую здесь смену типа предиката, то ее можно определить в наших терминах — говоря предварительно и формально — как смену модального типа нозсы: в первой части предложения нозса — тематическая, поданная говорящим в качестве свойства самого «предмета речи» (синтаксического субъекта), т. е. нозса в модальности объектного *описания*; во второй части предложении нозса — смешанной — тематически-оценочно-модальной природы (с ее толкованием определимся чуть позже), с некоторым превалированием тональности (оценки). Интересующий нас момент состоит в том, что второй «предикат» подается говорящим не в качестве свойства самого синтаксического субъекта (вряд ли *«редко привлекать внимание»* — в данном случае мыслится как качество самого субъекта *«смена типа предиката»*, хотя в других случаях такой по семантике предикат может быть применен и тематически — по отношению к «действиям осторожной кошки», напр.), а, скорее, в качестве свойства 'лингвистики'. Фактически «лингвистика» здесь — это новый предмет фразы, если применять нашу терминологию — ее новый фокус

внимания. Получается, таким образом, что синтаксический субъект остался тем же, фокус же внимания сменился (вот реконструирующее этот новый ФВ перефразирование: «...но лингвистика редко обращает на него внимание»). В пользу смены фокуса внимания говорит и то, что в противном случае не к чему было бы отнести явно ошутимую во второй части предложения критическую оценочную нозу (т. е. тональность). Ведь кроме ‘описания’ (модальность) отношения лингвистики к ‘смене типа предиката’ здесь выражено — через противительную стыковку описанного в двух предложениях — и оценивающее (тональное) отношение говорящего к ‘так’ (неверно) поступающей лингвистике, т. е. дан оценочный акт, который всегда стремится обрести своего «носителя», каковым и оказывается здесь ‘лингвистика’ как второй ФВ (и каковым никак не может мыслиться общий синтаксический субъект — *Смена типа предиката*). Здесь, таким образом, не просто сместился аттенциональный луч с одной на другую часть того же интенционального объекта, не просто сменилась модальность акта по отношению у тому же фокусу внимания — здесь вместе с изменением модального типа акта появился тональный акт (оценка). И — главное — здесь сменился интенциональный объект, чего в семантике исходной фразы не усматривается: она продолжает формально-семантически оставаться синтаксической субъект-предикатной структурой с *одним* субъектом и двумя предикатами. Строение нозматически-ноэтических структур смысла и синтаксической субъект-предикатной структуры, как видим, *не изоморфны*; между ними нельзя ставить знака равенства.

При этом существенно, что эта ситуация не изменится в своей основе и в том случае, если опустить в исходной фразе «лингвистику»: «*Смена типа предиката к одному и тому же субъекту происходит в каждом сколько-нибудь распространенном высказывании, но редко привлекает к себе внимание*». Здесь все равно ошутим второй — теперь уже «опущенный» — ФВ. Разница в том, что здесь одна из нозс второй части предложения, а именно *тонально-оценочная*, сама выдвигается ближе к позиции фокуса внимания, чем опущенная нозма (‘лингвистика’) и по сравнению с тем, какая дистанция была у нее с ФВ в первом варианте исходной фразы. Здесь внимание тоже формально сместилось на новую нозматически-ноэтическую структуру, но сфокусировалось больше не на его опущенной нозме, а на одной из ее нозс, причем тоже — в значительной мере опущенную, но воспринимаемую через подразумеваемую несемантизированную зону нозтической ситуации (семантизировано — «редко», не семантизировано — что это оценивается говорящим «негативно»). Помимо фокусируемой и неполностью семантизированной оценочной нозсы здесь имеется и вторая — семантизированная — нозса в модальности описания, передающая необходимый семантизированный смысл.

Если идти от субъект-предикатной структуры и положения о том, что она исходна и коррелятивна нозматически-ноэтической структуре смысла, то применительно к этому примеру нужно было бы говорить об одном синтаксическом субъекте или в крайнем случае о завуалированной разновидности смены субъектов, семантически не эксплицированной, но сама идея завуалированности смен синтаксических субъектов уже опровергала бы при этом тезис об изоморфной корреляции субъект-предикатных и нозматически-ноэтических структур смысла. Если же идти от нозматически-ноэтических структур, то здесь нужно говорить о *смене* двух отчетливо «явленных» или

понимаемых (при опущении) фокусов внимания и о нескольких актах *разного* модального и тонального типа. Актов не два, сколько по числу фокусов, а три: два акта в описательной модальности и один тональный акт (оценка). Получается: с синтаксической точки зрения здесь один субъект и два предиката, с ноэтически-синтаксической — два фокуса и три акта. Такие случаи можно назвать «скрытыми сменами ФВ». Ноэтически-ноэматическое течение смысла не изоморфно субъект-предикатному строению речи.

§ 84. Скрытые смены ФВ с точки зрения их возможных маркеров. В лингвистической синтаксической терминологии формальный намек на возможность существования в предложении с одним синтаксическим субъектом двух (или больше) ФВ (и, соответственно, на смену языковой модальности и/или тональности в пределах единой субъект-предикатной конструкции) как раз и содержится в тезисе о возможных сменах *типа предиката* к одному и тому же субъекту. Но эта разница типов предикатов, действительно, редко привлекает внимание лингвистического синтаксиса (возможно, как нечто в смысловом отношении не отражающее фундаментальных свойств предикативного акта) и потому почти не интерпретируется. Это не значит, конечно, что лингвистика не знает этих проблем. Напротив, при подключении к синтаксису идей лексической семантики о возможном содержании в семантике лексем информации о наблюдателе (т. е. наряду с ноэматической и ноэтической информации) открывается пространство, позволяющее выявить и обособить два соответствующих типа предикатов — тематический (ноэматический) и модально-тональный (ноэтический). Синтаксис здесь «нуждается» в семантике: момент смены таких типов предиката обычно, как и в приведенном примере, семантически ощутим без всякой синтаксической маркированности из сцеплений ноэтических компонентов смысла в лексических значениях составляющих фразу слов.

Можно дать искусственно заостренный схематичный пример такой лексически ощущаемой смены типа предиката с ноэматического на ноэтический (модально-тональный): *«лыжник улыбнулся и понравился мне»*. Наш первый пример тоже можно трансформировать схожим образом: *Смена типов предиката распространена и недооценена*. И в таких сжатых вариантах наличие второго ФВ и акта оценки тем не менее ощутимо. В языке такие ‘скрытые смены ФВ’ обычно проявляются как *смены модально-тонального ракурса*. Обратное неверно: не всякая смена этого ракурса свидетельствует о скрытой смене ФВ; смена модальности и/или тональности может преследовать и другие цели.

§ 85. Смены модально-тонального ракурса как способ развертывания смысла при приостановке смен ФВ. Речь может, напр., переводиться из нарративного в оценочно-описательный режим модальности: *«Услышав шаги старика, мальчик оглянулся, а старик, заметив его, почувствовал, что бледнеет, если только могло побледнеть это мертвенно бледное лицо»*. Последний оборот, начиная с ‘если’, переводит здесь наррацию в описание²⁵.

25 Предшествующий перевод наррации в ‘ментальный’ режим — *почувствовал, что* — мы здесь только зафиксируем без толкования: это особая сложная тема, некоторые замечания по поводу которой см. в Главе 4, в параграфе «*Инсценировки из точек говорения*», где вводятся возможные парные различия в высказывании «ментальных» (условно) позиций: кто ощущает — кто говорит,

Речь наполнена такими дробными, рассекающими тело единой фразы, сменами модальности, за которыми стоят сцепления нескольких разных по типу нозс, относимых к остающемуся тем же (в отличие от случая скрытой смены ФВ) фокусу внимания (как в приведенном примере). Вместе с тем, оставшись тем же, фокус внимания приобрел новое смысловое измерение: смена модальности при том же ФВ может служить, таким образом, альтернативным сменам ФВ средством развертывания смысла. *Повествуемое движение референта (и движение смен ФВ) приостанавливается, смысл же продолжает движение в описательной модальности.*

Возможны и другие варианты развертывания смысла, когда, напр., при том же самом остановленном ФВ смысл продвигается вперед за счет смены безоценочного описания на акт оценки, т. е. смены тонально нейтральной модальности описания на тонально-оценочную модальность описания. Так, во фразе из лингвистического текста — *«Раскрытию посреднической роли предложения (между мыслью и языком) служит понятие предикативности, которое выполняет роль универсальной отмычки ко всем тайнам предложения»* — нозса критической оценки, наслаивающаяся на безоценочные описательные или нарративные (это пересказ чужой концепции) нозсы, приводит к тому, что при неизменности ФВ образующийся совокупный предмет речи переходит в темпоральный режим неких смысловых переходов и изменений. Он начинает пульсировать и развиваться в смысле или — в другом терминологическом контексте — погружается в нечто вроде интриги или ‘истории’. Конечно, это история другого рода, нежели в художественном тексте или в описательной речи, изначально направленной на такой предмет (референт), который сам по себе имеет динамическую процессуальную природу. В нашем примере историзирующий импульс вводится не в качестве происходящего в самом описываемом «предмете», помещенном в ФВ (в ‘понятии предикативности’), а создается *вокруг него* (в качестве фона или окружения) интерференцией модальности описания (или наррации) и тональности (акта оценки). Это ‘история’ с тремя ‘эпизодами’: эпизодом ввода «предмета», эпизодом его объектного описания и эпизодом его оценки. Хотя сам «предмет» неподвижен и в данном случае неисторичен, о нем в кратком предложении рассказана ‘история’ — назовем ее *«ноэтическим»* типом историзации смысла. Смены и наложения модальных и тональных типов актов могут, таким образом, вводить в остающийся при этом статичным предмет речи *ноэтическую темпоральность*. Природа такой темпоральности связана не только с движением модально-тонального ракурса, но и со сменой точек исхождения смысла в на протяжении одного предложения (см. анализ этого же примера в Главе 4, параграф *«Речевой центр»*). С расчетом на эту перспективу можно, по-видимому, говорить, что смены ФВ, модальные, тональные — и эгологические сдвиги и наложения происходят в речи в тесном взаимодействии.

кто чувствует — кто говорит, кто думает — кто говорит, кто сознает — кто говорит и т. д.

ГЛАВА 4. «ТОЧКА ГОВОРЕНИЯ», ЕЕ ЭГОЛОГИЧЕСКИЕ МОДИФИКАЦИИ И КИНЕСТЕЗЫ

4. 1. ТОЧКА ГОВОРЕНИЯ

§ 86. Фокус внимания и точка говорения. Осуществляя переход к эгологической проблематике, сделаем это, как и намеревались, в тематической связке с ноэтической синтактикой, в частности — с понятием «фокус внимания», сквозь которое отчетливо просматривается вход в эгологическую область. До сих пор мы в основном описывали то, что происходит в «месте», на которое направлен фокус внимания, а также модальные и тональные характеристики соответствующих — «фокусирующих внимание» — языковых актов, но очевидно, что это только одна сторона дела.

На входе и выходе процесса фокусирования внимания расположены два с разных сторон дискутируемых и трудных для концептуального схватывания полюса: *‘позиция, на’* которую направляется теми или иными актами сознания фокус внимания, и *‘позиция, из’* которой происходит фокусирование внимания.

Лингвистически *«позиция, на которую...»* — собственно ФВ — связана с проблемами, группирующимися вокруг понятий референт, денотат, значение и смысл речи, истинностное высказывание. В феноменологическом контексте эта зона расширяется: в нее входят, как мы видели, вопросы, связанные не только с ноэматическим составом, но и с семантизацией ноэс, с интенциональным объектом и его окружением, с аттенциональными, модальными и тональными сдвигами актов сознания, соответственно влияющими на находящуюся в фокусе внимания «предметность». В перспективе тема *«позиции, на которую...»*, связана, конечно, и с *«историей»* (как особо ‘статусным’ в некоторых направлениях референтом¹), и с особыми же способами ее языкового выражения. Во всяком случае

¹ См., в частности, Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2003; Патнэм Х. Разум, истина и история. М., 2002.

проблемы, возникающие в связи с «фокусом внимания», его сменами, наложениями и конфигурациями, схожи по некоторым параметрам с теми, которые обсуждаются П. Рикером в его «Времени и рассказе»; в частности, с рикеровским понятием «операция конфигурации», окруженном понятиями «интрига», «синтез разнородного», «нехронологическое» временное измерение и т. д. Нехронологическое временное измерение — *«это измерение собственно конфигурации, благодаря которой интрига преобразует события в историю. Этот конфигурирующий акт состоит в 'сведении вместе' отдельных действий... из этого многообразия событий конфигурирующий акт извлекает единство временной целостности»*; 'интригообразующий акт' извлекает конфигурацию из последовательности, что *«раскрывается слушателю или читателю в способности истории быть прослеживаемой»*². Конфигурирующий акт отдаленно схож с именно *нехронологически* движущим высказывание фокусированием внимания (возможность такого сопоставления тем вероятней, что здесь же Рикер переходит к описанию аналогии конфигурирующего акта с операцией суждения, последнее же, как мы видели выше, также концептуально связано с актом фокусирования внимания). Вместе с тем в проблемное поле, образовавшееся вокруг «истории» как особого референта, входят и проблемы модальности и тональности, и — существенное обстоятельство — те проблемы, которые будут рассматриваться в данной главе применительно к концепту *«позиция, из которой...»*. Поэтому мы и не поднимали выше эти вопросы и не будем по существу касаться их и здесь: с нашей точки зрения, то, что Рикер называет интригой, а также все проблемы, группирующиеся вокруг фабулы, сюжета и, в перспективе, вокруг «истории» в ее общем референциальном понимании, могут быть «схвачены» и в той или иной мере адекватно рассмотрены только после достижения такого совокупного ракурса, который соединил бы проблемы, связанные с

² Рикер П. Время и рассказ. Т. 1. М.-СПб., 2001. С. 82.

«позицией, на которую...», с интерсубъективно-эгологической тематикой, связанной с «позицией, из которой...».

«Позиция, из которой» имеет отношение к проблемам, группирующимся вокруг позиции говорящего, наблюдателя, нарратора, наррататора, автора, героя и т. д. (в феноменологии – с чистым Я, его кругозором и модификациями), с возможностью или невозможностью отмысливания этих источников исхождения смысла от высказывания («смерть автора», «анонимные» или «объективные» высказывания и т. д.). Эта вторая сторона проблемы — ‘позиция, из которой’ — и станет здесь главным предметом интереса. Особое место занимает в этой сфере зона, в которой проблемы *позиции, из и позиции, на* интерферирующе сливаются (здесь, как мы увидим, возможны взаимные превращения, прежде всего — трансформации *позиции, на в позицию, из*).

Сразу зафиксируем сквозную операциональную параллель: сменяться по мере развертывания высказывания может как ‘позиция, на которую’ (ФВ), так и ‘позиция, из которой’ — последнюю мы терминологически закрепим как «точка говорения»³ или — ‘инстанция говорения’, ‘частный источник смысла’. Сменам и наложениям подвержены также, как мы видели, и языковые модальности, и разновидности тональности. Точка говорения сменяется в высказывании как отдельно и независимо (в других местах фразы) от смен ФВ, модальностей и тональностей, так и совместно с ними. Обладая несколькими типологическими разновидностями, смены «точки говорения» обогащают семантически облаченный смысл

³ Это, кажется, не используемое нигде словосочетание — «точка говорения» — выбрано, чтобы терминологически единообразно «прошить» все категории «феноменологии говорения» и чтобы освободиться от неизбежных ассоциаций с другими разнообразно, в том числе и схожим образом, рассматриваемыми в литературе понятиями подобного типа, прежде всего, конечно, с «точкой зрения», концептуально расплывшимся понятием вследствие его самого разного толкования и применения (среди ее наиболее близких к ‘точке говорения’ толкований — «точка зрения» в «Поэтике композиции» Б. А. Успенского, особенно в местах, так или иначе связанных с кругом бахтинских идей; отличия же — в русле тех, которые имеются между феноменологией и структурализмом; существуют и другие пункты сходства/отличия; некоторые из них также будут отмечены ниже).

высказывания несемантизированными смыслами сложной природы и состава.

Чистое феноменологическое Я у Гуссерля — неизменный единоличный собственник всех актов чистого сознания, их единственный прямой источник (*«Луч внимания „дает себя“ так, что он излучается чистым „я“ и ограничивается предметным, — направляясь к последнему или отвлекаясь от него. Такой луч не расстается с „я“, но он есть луч „я“ и остается таковым. „Объект“ задевается им, он может быть целью луча, но он все же лишь полагается в сопряженность с „я“ (и полагается самим же „я“), а не становится сам „субъективным“. То занятие позиции, какое несет в себе луч „я“, есть вследствие этого акт самого же „я“...»* — § 92). «Я» языкового сознания находится, как известно, в других условиях: оно не обладает абсолютной собственностью на свои языковые акты. Помимо того, что все языковые формы являются для него имплантированными формами «другости» (чужих я, ты, мы, они, все и т. д.), в процессе говорения возможно использование одновременно нескольких частных источников исхождения смысла, взаимочередующихся, налагающихся, инсценирующих друг друга и т. д.

§ 87. «Точка говорения» в интерсубъективно-эгологическом понимании. Разнообразные процессы, связанные с «точками говорения», сопутствуют всем описывавшимся выше с позиции синтактики языковых актов случаям «непрямого говорения». Эта тема вызывает сегодня пристальный интерес, но терминология остается неустойчивой и дискутируемой (ср.: "точка зрения", позиция "наблюдателя", инстанция говорящего, голос, фокализация, нарратор или, в аналитической лингвистике, эмпатия, ориентация, расслоение Я-говорящего, фокус сознания и т. д.). Понятие «точка говорения» в значении «частного источника смысла» будет применяться здесь в широком объединительном плане. Речь идет не только о неотмысливаемости некой призмы говорения (известная и широко обсуждаемая, напр., в связи с нарратором, но не всегда в литературе

признаваемая идея), но еще как минимум о четырех характерных моментах.

Первый — наличие *типологически различных* точек говорения, связанных с местоименным циклом (я, он, ты, мы и др.⁴). Второй — происходящие по ходу развертывания высказывания разновекторные *перемещения* (по терминологии Гуссерля — «кинестезы») источника смысла текущего акта говорения по типологически различным точкам говорения — их перманентные разнообразные смены, наложения, модификации, трансформации и т. д. Третий момент — то, что акт говорения не может непосредственно исходить из авторского Я: *не существует точки говорения абсолютного Я*, но имеются разные типы я-позиций как разных частных точек говорения «я», которые характерологически попарно сопряжены с той или иной позицией местоименного цикла: с он, с ты, с мы и т. д. Четвертое характерное обстоятельство — то, что в сколько-нибудь длительном речевом периоде всегда наличествует *больше одной* (без ограничения) такой имманентной высказыванию частной точки говорения и что эти точки, находящиеся в постоянном движении, взаимно сменяют друг друга, налагаются, противопоставляются, сближаются и т. д.⁵

⁴ Схожие разделения (я — тот, кто говорит, ты — кому говорится, он — о ком говорится) осуществляются многими авторами, в частности, Дж. Принсом в сфере нарратологии, где рассказчик — это первое лицо, слушатель (читатель) — второе лицо, персонаж — третье. (*Prince G. Narratology: the Form and Functioning of Narrative. New York: Indiana University, 1982*).

⁵ Аналоги многому из сказанного можно найти у Дж. Принса. Так, в любом рассказе или повествовании есть, по Принсу, по меньшей мере один рассказчик, и он может быть явно или неявно обозначен как «Я» (т. е. не как реальное Я говорящего, а как та или иная из нескольких я-позиций). Независимо от того, присутствует или нет обозначающее повествователя "Я", говорит Принс, существуют многочисленные знаки, определяющие рассказчика и указывающие на присутствие его в повествовании. (*Prince G. Ibid.*, с. 4). Кроме того, Принс вводит понятие «наррататора» (у нас это второй термин пары: «я» — «имманентное тексту ты» — см. § «Коммуникативная позиция»); при этом он считает, что повествователей может быть больше, чем один — неопределенное число (у нас — тезис о всегда больше чем одной точке говорения в высказывании). По Принсу, рассказчик может представлять другого рассказчика, который в свою очередь представляет третьего и т. д. (это двуголосие и намек на трехголосие — см. ниже по тексту одноименный параграф). Между ними можно, говорит Принс, установить иерархию (там же, с. 17): тот, кто в конечном счете представляет рассказ целиком, является главным рассказчиком (аналог «чистого автора» — см. ниже), другие – второстепенными и третьестепенными

Совокупность всех возможных или происшедших кинестез точек говорения дает картину высказывания как связной, целенаправленно организованной и intersубъективно инсценированной последовательности частных актов говорения, которые исходят из разных — связанных с местоименным циклом — точек говорения, имплантированных внутрь высказывания и создающих тем самым его имманентную intersубъективно-эгологическую структуру (ср. гуссерлев тезис: «*трансцендентальная субъективность — это intersубъективность*»). Intersубъективный аспект порождается соотношением в имманентных высказыванию точках говорения я, он, ты, мы-позиций, эгологический аспект — целостностью высказывания, объемлющей все эти кинестезы: intersубъективное расслоение точек говорения собирается в целостный «сценарий» общей смысловой канвой высказывания (более конкретный смысл этому эгологически-intersубъективному соотношению будет придан в дальнейшем).

Между так понимаемой последовательностью актов говорения в высказывании и последовательностью актов сознания имеются и конститутивные сходства, о которых много говорится, включая и версию их отождествления, и конститутивные различия, о которых говорится меньше: зона их взаимной инсценированной сплетенности окаймлена с обеих сторон автономными областями актов сознания и актов говорения. В общем плане можно думать, что описываемые ниже смены, чередования и наложения связанных с местоименным циклом точек говорения *не имеют* точных аналогов в последовательности актов сознания (как и смены ФВ, о чем подробно говорилось в разделе 3. 1.).

§ 88. Точка говорения, чистое Я и чистый автор. Точка говорения — явление, как понятно, относимое к языковой сфере. В чистом сознании точке говорения как «*позиции из...*» функционально соответствует чистое Я, но это «соответствие» и здесь — как и во всех других случаях проведения параллелей между течением актов

и т. д.; третьестепенный рассказчик может быть при этом более важным, чем все вышестоящие (у нас — скрытая тональная предикация чистого автора).

сознания и развертыванием актов говорения — *не изоморфно*: оно модифицировано, расщеплено, переструктурировано и инсценировано.

Гуссерль, как известно, оставлял в чистом сознании чистое трансцендентальное Я, понимая его как границу применимости феноменологической редукции. Гуссерль сформировал свою позицию по этому вопросу не сразу: в «Идеях 1» проблема применения/неприменения редукции к трансцендентальному Я разрешилась — с частичной коррекцией исходно заявленного в ЛИ понимания — выдвиганием тезиса о невозможности абсолютного снятия чистого Я, о чистом Я как границе, которую феноменологическая редукция не должна переступить (специально об этом — § 57). Необходимость и неотмысливаемость позиции чистого Я подтверждается, по Гуссерлю, рефлексией: *«Лишь благодаря рефлексивно постигающим на опыте актам мы и знаем хотя бы что-то о потоке переживаний и о необходимой сопряженности такового с чистым Я, то есть знаем о том, что поток переживания есть поле свободного совершения когитаций одного и того же чистого Я, что все переживания, относящиеся к этому потоку, суть переживания этого Я именно постольку, поскольку это Я может направлять свой взгляд на них, а „через них“ может бросать взгляд и на иное — на чуждое этому Я»* (§ 78). Это гуссерлево решение вызывало споры с самого начала⁶ и до сих пор дискутируется. Вот формулировка проблемы П. Рикером: *«Гуссерль никогда не отделял трансцендентальную редукцию от так*

⁶ См., в частности, в письме Г. Шпета — Э. Гуссерлю (от 11. 03. 1914) описание реакции на его доклад «Феноменология как основная наука» в «Психологическом обществе»: *«Наконец, господин профессор Лопатин не хотел понимать, что же есть феноменологическое Я. Он не хотел признавать возможности чего-то подобного чистой форме или трансцендентальной апперцепции и т.п.; Я, по его мнению, должно обладать реальным (reel<l>es), пусть и не эмпирическим бытием, оно должно оставаться абсолютно конкретным бытием в смысле жизни духа. Я не отрицаю того, что допустим некий дух, такой, как Я социальной общности, но я утверждаю, что в самой феноменологии не может быть и речи о реальном (reel<l>e) рассмотрении его самого, если феноменология хочет оставаться эйдетической наукой. Но отрицать феноменологическое Я на том основании, что оно не “реально” (nicht “geel<l>”), означает, я думаю, отречение от всей феноменологии, потому что она занимается сущностью.»*

называемой эйдетической редукции, заключающейся в схватывании факта (*Tatsache*) в его сущности (*eidos*). А значит Эго, которое еросхе обнаруживает как то, чему являются все вещи, должно описываться не в своей акцидентальной единичности, а как Эго-эйдос (*Картезианские размышления*)». Отсюда, по мнению Рикера, можно заключить, «что Гуссерль полностью идентифицирует феноменологию с эгологией без онтологии», что «феноменология является аналитической эгологией»⁷. Это не значит, что феноменология сознательно (или бессознательно) замыкается в солипсизм⁸: эгология перерастает у Гуссерля в конечном счете в трансцендентальную интерсубъективность (в синтезы Я и Ты, Я и Мы). «Перерастает» в то, что мы называем «интерсубъективной эгологией» — в том числе в целях отличить свое толкование этой феноменологической зоны от «аналитической эгологии».

В рамках феноменологии говорения из конкретного индивидуально-личностного Я можно редуцировать всё (моменты индивидуальные, моменты, детерминированные социально, культурно, психологически, ситуативно, бессознательно, лингвистически, архетипически и т. д.), но не саму «позицию, из» — позицию-источник проистекания актов (это принципиальное гуссерлево решение также вызвало череду неоконченных споров). Чистое Я — это *ничем не заполненная* актовая «позиция, из...» — «позиция, из» как таковая, чья главная функция состоит в том, чтобы «быть»: без чистого Я как «пустого актора», как ничем более не заполненного «носителя акта», повисает в воздухе стержневое феноменологическое понятие 'акт сознания', а с ним и ноэсы, и

⁷ Рикер П. Кант и Гуссерль. (Материал из интернета).

⁸ «Гуссерль вполне осознает значительные затруднения, вытекающие из подобной точки зрения: без сомнения, феноменология начинается как чистая эгология, наука, которая, как кажется на первый взгляд, принуждает нас к солипсизму или, по крайней мере, к трансцендентальному солипсизму...»; но эта стадия — лишь исходная: «трансцендентальный солипсизм должен рассматриваться как "предварительная философская стадия", которую необходимо временно принять, "для того, чтобы проблемы трансцендентальной интерсубъективности могли быть корректно поставлены и осознаны как проблемы, действительно обоснованные и следовательно принадлежащие к высшему уровню"» (Рикер П. Там же).

ноэмы, и вся определяемая ими стержневая проблематика гуссерлевой феноменологии (и феноменологии говорения также). И при входящем в замысел феноменологической редукции максимальном освобождении ('очищении') Я от субъективности, от психологических, социальных, культурных, бессознательных и каких бы то ни было еще характеризующих черт, даже интуиции, остается *пустая призма актора* или — что почти сливается здесь — призма самого акта или призма интенции, поскольку каждому интенциональному акту сознания предмет предстает во всегда особом способе данности, т. е. неотмысливаемость актора предполагает у Гуссерля — и это положение принимается феноменологией говорения — неотмысливаемость и интенциональности, и ноэтической (актовой) «призмы» в любой интенции (в литературе все это остается предметом дискуссий⁹).

Другой неотмысливаемой функцией чистого и пустого «актора» является то, что без его «бытия» невозможно было бы продвижение актов и их сцепление в помнящую друг о друге последовательность, а, значит, и связное протекание смысла. В «Кризисе европейских наук...» Гуссерль говорит в этом смысле о «Я-полюсе» (§§ 50 – 54): в радикально последовательном эпохе принимается во внимание только чисто функциональный «Я-полюс» актов, в то время как *«конкретно каждое Я — это не только Я-полюс, но Я во всех его свершениях и полученных в результате приобретениях»*; Я-полюс — «тождественный осуществитель» всех значимостей, непрерывно выполняющий также «функцию сохранения», не давая погрузиться в ничто тому, что уже было, т. е. в том числе «гарант» связности актов сознания, а в языковом поле — связности высказывания.

Аналогичным образом ставится проблема соотношения автора, интенциональности и связности у А. Компаньона: *«Даже самые*

⁹ О спорах вокруг *интенциональности* (ее вхождения или изъятости из языка) см. *Компаньон А.* Демон теории. М., 2001. С. 55 – 113 (здесь подробно и персонифицированно описана борьба противоположных тенденций в литературоведении; смысл «антиинтенционалистской» точки зрения — в отвержении авторской интенции и в утверждении тезиса, что текст сам содержит смысл и потому нет надобности искать в нем интенцию говорящего). О дискуссиях вокруг *актора* и *автора* см в: *Шмид В.* Нарратология. М., 2003.

неистовые гонители автора сохраняют в литературном тексте некоторую презумпцию интенциональности (как минимум это связность произведения или текста)¹⁰. Примирительные компромиссные решения, к каковым Компаньон относит, напр., рикеровский тезис об «интенции текста» (в смысле — не «автора»), на деле «порывают с той самой феноменологией, у которой они, якобы, заимствуют термин 'интенция': ведь для феноменологии интенция тесно связана с «сознанием»; текст же «сознанием» не обладает» (с. 98 – 99). Описывая две противоположные трактовки — интенционалистскую (признающую необходимость искать в тексте последовательное и связное намерение автора) и антиинтенционалистскую (предполагающую, что в тексте мы всегда обнаруживаем лишь то, что «говорит нам» сам текст, независимо от намерений своего автора), — сам Компаньон придерживается той точки зрения, что «интенция действительно составляет единственный мыслимый критерий правомерности толкования, но только она не тождественна ясному и осознанному умыслу» автора, так как существует множество видов «интенциональной деятельности», «которые не являются преднамеренными и сознательными» (там же, с. 94, 107). Такое абстрактно верное в широком смысле толкование интенции тем не менее мало что дает для феноменологии непрямого говорения, поскольку не прямой смысл интересен в ней прежде всего (или — сначала) именно в случае его намеренного индуцирования, что, конечно, не исключает и того, что не прямой смысл может быть и непредумышленным, — все эти возможности укладываются и в гуссерлеву интенциональность, и в идею феноменологии говорения о существовании типологических форм инсценирования актов сознания (всякое 'типологическое' может действовать вне, помимо и против воли сознания).

Если языковое сознание рассматривается в феноменологической редукции от конкретно наполненных реальных высказываний (в целях выявления имеющих здесь типологических моментов и процессов),

¹⁰ Компаньон А. Демон теории. Выше цит. С. 93.

то может возникнуть потребность в аналогичном чистому Я понятии — примем за таковое термин «*чистый языковой актер*». Однако феноменология говорения, в отличие от чистой феноменологии, не редуцирует *речь* — порождение высказываний, и потому в ней необходимо еще и другое понятие — для обобщенного обозначения конкретного сознания, стоящего за каждым цельным высказыванием. Поскольку здесь неточны были бы термины «говорящий», «субъект речи» и т. д. (ведь Я не может, согласно зафиксированному выше и разъясняемому ниже принятому здесь постулату, говорить непосредственно, но только опосредованно — через те или иные «точки говорения» или «частные источники смысла» внутри высказывания и через их смены, наложения, конфигурации и т. п.), примем для обобщенного названия конкретного одного сознания, стоящего за высказыванием, термин «*чистый автор*» (вслед за Бахтиным, Зунделовичем¹¹ и др.). Чистое Я — понятие для редуцированного от речи сознания, чистый языковой актер — для выявленных типологических закономерностей редуцированного от конкретных высказываний языкового сознания, *чистый автор*, как и *точка говорения*, — понятие для *не редуцированного* от конкретных высказываний языкового сознания.

Термин «чистый автор» удобен в том числе и тем, что позволяет (как, напр., делал это Бахтин¹² или, с тем же концептуальным посылом, но с иным содержательным пониманием — Дж. Принс) выстраивать *модификационную лестницу авторства*, т. е. вводить ряд специфицирующих и дифференцирующих его понятий: чистый

¹¹ Зунделович Я. О. Романы Достоевского. Ташкент, 1963. С. 63. Зунделович активизировал специально терминологическое использование словосочетания «чистый автор», но понимал его в своем особом смысле. О сходствах и различиях в толковании чистого автора между Бахтиным и Зунделовичем см. наши комментарии к изд.: Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 6. М., 2002. С. 633 – 635. Здесь это понятие используется в близком к бахтинскому смысле.

¹² Соответствующая интерпретация данных бахтинских категорий произведена в статье «Двуголосие в его соотношении с монологизмом и полифонией»: бахтинская «авторская» терминология понята там как условно «трехэтажная»: на первом этаже — первичный автор, на втором — вторичный, чистый же автор занимает «нулевой» этаж, точнее — локализуется в самом фундаменте «авторского здания». Ниже мы еще вернемся к этой терминологии.

автор как непосредственно не говорящий может модифицироваться в *первичного* автора (автора, занявшего характерологически заполненную точку говорения «я», местоименно сориентированную относительно «он», «ты» и «мы») и во *вторичного автора* (напр., объективируемого рассказчика или нарратора). Мы дадим пробное наполнение этих понятий в связи с круговращением в высказывании местоименно различных точек говорения по ходу дела.

§ 89. Чистый и первичный авторы. Чистый автор в семантически-языковом смысле — «молчащая» инстанция (а при определенной точке зрения и «немая»): он внесемантическими и, возможно, вообще внеязыковыми (ноэтическими) средствами «режиссирует» высказывание как координатор и распределитель актов говорения и, соответственно, «говоримого» по частным источникам смысла внутри высказывания — по разного рода «точкам говорения». В том числе и по различным (их всегда больше одной) условным «точкам говорения» я-инстанции, но не только: «точка говорения» — общее понятие для типологически разных возможных инстанций непосредственного исхождения языкового смысла внутри высказывания (такowymi могут быть, как мы увидим далее, помимо *первичного* и *вторичного авторов*, и инстанции «он», «ты», «мы», «все», «никто», и инстанция «предмет речи», и различного рода коалиции из этих частных инстанций). На фоне местоименного разнообразия возможных в высказывании точек говорения отчетливо ощутима нужда в упоминавшемся выше специальном общем понятии для всех возможных вариаций «говорящих» я-позиций (в отличие от молчащего «чистого автора»). Примем за таковое — понятие *первичного автора*. Первичный автор — не статичное понятие и не стабильная инстанция: он «говорит» в высказывании только через свои разные модификационные формы, выбор которых зависит от того, куда диалогически в данном фрагменте высказывания «повернуто» Я — к «он», «ты» или «мы» или к «оно» (в дальнейшем виды смен своего и чужого «голосов» по местоименному циклу будут зафиксированы в соответствующих парных понятиях — речевые

центры «я» и «он», коммуникативные позиции «я» и «ты», я-позиции/мы-позиции и т. д.).

В общем плане специфика любой «точки говорения» в том, что это — непосредственно «говорящая» (семантически и/или тонально), но всегда при этом инсценированная чистым автором инстанция. «Инсценированная» — т. е. целенаправленно извне «наполняемая» чистым автором тем или иным языковым содержанием (сам «чистый автор» остается при этом лингвистически «полым»). Используемые чистым автором языковые «наполнители» точек говорения¹³, получающие тем самым непосредственное языковое звучание, типологически разнообразны, как и сами точки говорения.

§ 90. Языковые наполнители «точки говорения» — вне и внутри эгологической зоны. Сначала о двух типах языкового наполнения точки говорения «я» первичного автора, *условно взятой* (для тематической отчетливости) как неподвижная и стабильная относительно местоименной шкалы, т. е. в отвлечении от ее на деле неотмысливаемых ХХХмодификационных разновидностей, связанных с этой шкалой (ниже будет оговорена и вторая сторона этой «условности»). Происходящие здесь изменения отражаются не столько на ноэтическом, сколько на ноэматическом смысловом составе речи.

Во-первых, это *модальность*, причем разнотипная. Помимо заполнения 'точки говорения' первичного автора модальностями актов сознания в их гуссерлевом толковании (утверждение, вопрос, сомнение, фантазия и пр.), что трансформированно фиксируется формальной логикой и формальным языковым синтаксисом (в частности, в категории 'наклонение'), возможны, как мы видели, и специфически языковые модальные наполнители. Гипотетически можно, как здесь предлагается, говорить, помимо разнообразно рассматриваемой и толкуемой точки говорения *нарратора*, о точках говорения *дескриптора*, *экспланатора* (объяснителя), *экспликатора*

¹³ Или — еще раз оговорим во избежание неточного понимания это признаваемое здесь обстоятельство — привносимые из зоны языкового «бессознательного» языковые наполнители.

(истолкователя), *эксплоратора* (исследователя), *изобразителя* и др. Эти специфически языковые установочные модальности наполняют точку говорения первичного автора «параллельно» или «независимо» от модальных характеристик первого типа. Существенный момент здесь в том, что непрерывно меняется не только наполнение точки говорения первичного Я модальностью первого типа, но что может сменяться по мере развертывания высказывания, как мы видели выше, и модальное наполнение второго типа (нарративное на описательное и т. д.). Вместе же с изменениями модальности меняется модус бытия «предмета» речи (словесной смысловой предметности, индуцируемого ноэматического состава). Изменения модального наполнения точки говорения первичного Я могут рассматриваться вне эгологической зоны, поскольку они могут происходить независимо (что не исключает совместности) от местоименных смен точек говорения (сменить модальность и модус бытия предмета может 'одна и та же' авторская ипостась Я) — поэтому специально о модальных сдвигах уже говорилось выше (раздел 3. 3.), до акцентированного в данной главе intersубъективно-эгологического контекста.

Второй тип языкового заполнения точки говорения первичного автора — *аттенциональный*: сюда относится все то, что выше подробно описывалось в связи с «фокусом внимания», его сменами, наложениями, расщеплениями и т. д. Фокус внимания может смещаться как по пространственной (движение аттенционального луча по разным фрагментам интенционального объекта), так и по временной (ретенции, протенции, временные разрывы и перемещения ноэм) координатам ноэматического состава акта.

Третьим типом наполнителя точки говорения первичного автора является «*тональность*» в ее различных вариациях (смех/страх, экспрессия/импрессия и др.). Выше — вне эгологического контекста — о тональности тоже уже подробно говорилось (разделы 2. 5.; 3. 3.), но тональная тема окажется особо значимой, как мы увидим, и для эгологической сферы, так что ниже мы опять к ней вернемся — в новом ракурсе (см. параграф «Диапазон тональности»).

Четвертым — непосредственно *эгологически-интерсубъективным* и потому интересующим нас здесь в первую очередь — типом наполнителя «точки говорения» является то, что ближе всего выражается известным понятием «голос», но не исчерпывается им: проблема касается не только в прямом смысле чужих «голосов» в высказывании, но и точек говорения, принадлежащих различным ипостасям «я»; кроме того «чуждость» голоса и занимаемой им точки говорения может проявляться и ощущаться по разным параметрам. В дополнение к по-разному инсценируемой позиции «я» в высказывании может, как уже говорилось, использоваться (тоже, конечно, инсценировочно — в качестве имманентных позиций внутри высказывания) весь местоименный цикл: он, ты, мы, все, это, никто и их модификации («мы» в таком контексте — тоже чужая точка говорения).

Теперь можно вернуться к обещанной второй стороне той «условности», о которой говорилось в начале параграфа в связи с двумя первыми (модальным и аттенциональным) типами языкового наполнения точки говорения. После описания интерсубъективно-эгологического расслоения точек говорения уже можно снять условно введенные ранее «для тематической отчетливости» ограничения: ведь понятно, что модально и аттенционально могут быть насыщены не только модификационные вариации точки говорения «я» (первичного автора), но все те точки говорения, из которых звучат голоса «он», «ты», «все», «мы» и т. д. инстанций. Так, цитируемая чужая речь (речь из точки говорения «он») обладает внутри принявшего ее высказывания и своей модальностью, и своими фокусами внимания, и своими сменами этих фокусов: как раз на скрещении в одном семантическом сегменте высказывания противоборствующих модальных и аттенциональных интенций, исходящих из разных точек говорения (принадлежащих Я, Ты, Он и т. д.), и происходят наиболее интересные события с точки зрения выражения непрямого смысла.

Намеченное концептуальное пространство пока лишь нащупывается в своих общих очертаниях. Кроме смен и наложений

местоименно расслоенных точек говорения, в это проблемное пространство входит много других остающихся спорными вопросов, в частности: о причинах возможных смен значений для именованного того же номинативного смысла (гуссерлианский разворот темы), о местоименном статусе предмета речи, о проблеме угасания авторского голоса, вплоть до «смерти автора» и др.. Некоторые из них также будут затрагиваться нами ниже.

§ 91. Пространственно-временные кинестезы в intersубъективно-эгологической сфере. Прежде чем перейти к описанию смен, наложений и других конфигураций местоименно разных эгологических наполнений точек говорения, скажем несколько упреждающих слов «общедислокационного» характера — с тем, чтобы наметить рамки той совокупной картины, в которую помещены эти intersубъективно-эгологические процессы. Мы не имеем в виду сколько-нибудь концептуально-обобщенного решения самой проблемы пространства и времени в феноменологическом сознании и в их транспонированных в язык формах, речь идет только об ориентирующем расположении темы смен и наложений имманентных высказыванию точек говорения относительно этой фундаментальной проблемы.

Тем более речь ни в каком смысле не идет здесь о пространственно-временных соотношениях между языком (или смыслом и языком) и — внеположными сознанию «референтами», особенно с имеющими значимые пространственно-временные параметры. Выше (§ 86), в связи с упоминанием «истории» как такого внеположного и особо 'статусного' референта, мы уже оговорили то обстоятельство, что для феноменологии говорения этот вопрос либо преждевременен — до тех пор, пока не будут прояснены все моменты соотношения смысла и языка и пока не будет достигнут совокупный ракурс видения этой проблематики, — либо, что представляется более точным, его постановка вообще не входит в ее задачи (как и постановка проблемы истинности высказываний). Речь, таким образом, идет только о хронотопических аспектах в рамках проблемы

соотношения *смысла и языка*, причем только тех, которые значимы для феноменологии говорения.

Хотя в общем плане все имеющие отношение к смыслу и языку хронологические процессы взаимосвязаны, операционально — в целях тематического распределения проблем — все же полезно, как представляется, различать пространственно-временные сдвиги, происходящие в зоне «*позиции, на...*» (ноэматики), и пространственно-временные сдвиги, происходящие в зоне «*позиции, из...*» (ноэтики). Эгологическую тематику естественней первоочередно рассматривать с точки зрения пространственно-временных сдвигов в последней — ноэтической — зоне, хотя понятно, что любые изменения хронологического порядка как на ноэтической, так и на ноэматической стороне отзываются друг на друге. Но поскольку для феноменологии говорения именно *характер и способы* этой взаимной «отзывчивости» и составляют предмет интереса, то для выявления и фиксации этого «характера» и этих «способов» необходимо избрать исходную точку (здесь — ноэтику), двигаясь от пространственно-временных изменений в которой — к вызванным ими изменениям на ноэматической стороне можно было бы приблизиться к выявлению характера и механизмов этой зависимости.

О пространственно-временных процессах на ноэматической стороне (вне эгологии) косвенно уже говорилось: это — и аттенциональные сдвиги (смены ФВ), и модально-тональные сдвиги, если они оказывают влияние на изменения в ноэматическом составе, т. е. в «*позиции, на...*». Так, высвеченная интенцией смысловая предметность, или «ноэма» (имеется в виду — одна и та же предметность, одна и та же «ноэма»), может при ее выражении в языке быть инсценированно *смещена* в феноменологическом времени индуцируемого в воспринимающем сознании потока актов, а через временной сдвиг она может оказаться смещенной и в феноменологическом пространстве индуцируемого потока актов сознания: ноэма может изыматься языком из «родной» ноэтически-ноэматической структуры и сводиться в структурную пару с инородной ей ноэсой. Поскольку новая и чужая ноэме ноэса также имела в

потоке актов сознания свою исходную временную локализацию, смещенную этим новым союзом, временные смещения можно толковать как всегда сопровождающие пространственные, и наоборот (аргумент в пользу бахтинской теории хронотопа). Однако главное, что во всем этом настойчиво нами подчеркивалось — то, что язык *неизоморфно* инсценирует в высказывании пространственно-временные перемещения элементов ноэматического состава.

«*Позиция, из...*», т. е. в обобщенно-абстрактном плане — языковой модификат ноэсы, тоже подвижна. Но эгологическое «время и пространство языковых ноэс» отлично от «времени и пространства языковых ноэм» (т. е. первого типа кинестез). Понятно, что и поток актов сознания, и инсценирующая его последовательность актов говорения разворачиваются во времени и что в этом смысле и каждая — даже не сменяемая на другую — точка говорения движется в феноменологическом и языковом временах вместе с движением порождаемых ею актов. Но если верна хронотопическая идея о всегда совместности пространственно-временных изменений, то в чем можно усмотреть пространственное перемещение «*позиции, из которой...*»? Как — выпукло формулируя вопрос — может пространственно перемещаться ноэса?

В порядке гипотезы, обладающей определенной объяснительной силой, здесь предлагается понимать *пространственные* перемещения «*позиции, из которой...*» как перманентный переход инстанции исхождения смысла из одной точки говорения в другую, как чередующиеся смены внутри каждого высказывания имманентных ему частных источников исхождения смысла (т. е. ноэсы — отвечая на сформулированный выше вопрос — могут пространственно перемещаться по разным точкам говорения). Пространственные перемещения языкового Я — это и есть те смены и наложения по-разному местоименно наполненных точек говорения, о которых говорилось выше. Конечно, эта идея предполагает специальное — интерсубъективно-эгологическое — понимание смыслового и/или языкового пространства, но это не требует каких-либо кардинальных решений — одну из возможностей содержательного толкования

именно такого понимания пространства содержит, на наш взгляд, гуссерлева феноменология.

Во всяком случае можно понять дело так, что меняя точки говорения (я-ты-он-мы-все), «я» первичного автора перемещается в том «пространстве», которое у Гуссерля (в непосредственной близости к временным перемещениям) называлось «*универсальной социальностью*» как «*‘пространством’ всех Я-субъектов*»¹⁴. Не исключено, что нечто аналогичное и ассоциативно связанное с гуссерлевой феноменологией имелось в виду — при соответствующем концептуальном расширении — и Бахтиным в его понятии «*внутренней социальности*» (или в близком понятии имманентного «сценария» высказывания¹⁵). Гуссерль вышел на

¹⁴ Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб., 2004. С. 23. См. в этом смысле схожую интерпретацию Ж. Делеза: «Гуссерль вписывает в трансцендентальное поле центры индивидуации, индивидуальные системы, монады и точки зрения Я подобно тому, как это делал Лейбниц, а не форму Я, как это делал Кант» (Делез Ж. Логика смысла. М., 1995).

¹⁵ «Сценарность» близка к «инсценированию». С эгологически-интерсубъективной точки зрения, понятие «сценарности» каждого высказывания (СЖСП, 74) как раз и предполагает наличие своего рода сюжетных взаимоотношений между имплантированными в него имманентными точками говорения, соответствующими всему местоименному циклу (я-он-ты-мы-все-никто-это). Такие «сценарно-сюжетные» взаимоотношения точек говорения (редуцированных аналогов «персонажей») в своей значительной части не семантизуются, входя в непрямой — подразумеваемый, нескáзанный или нескáзанный — смысл; поэтому есть основания полагать, что разные формы я-позиции, он-позиции, ты-позиции, мы-позиции можно расценивать как универсалии речи (они неотмысливаемы от высказывания без того, чтобы не исказить или сузить его непрямой смысл). Всякое «действительно произнесенное (или осмысленно написанное)» высказывание есть выражение и результат взаимодействия как минимум пяти смысловых инстанций: «я», «ты», «он», «оно», «мы». В СЖСП (72) говорится о *внешнем* социальном взаимодействии *трех* инстанций — говорящего, героя (или предмета речи) и слушающего, однако из следующего ниже и по другим работам понятно, что имелась в виду не только внешняя, но и внутренняя, т. е. интериоризованная вовнутрь высказывания, социальность (интерсубъективно-эгологическое пространство) и что к трем инстанциям присовокупляются «он» (в двуголосии) и «мы» (в соотношениях я-переживаний и мы-переживаний). Понятия «сценарности» и «инсценирования» точнее, чем понятие «*композиции*», отражают, как представляется, внутреннюю форму высказывания, которая в значительной мере определяется именно характером и формой взаимодействия этих сменяемых инстанций говорения, составляющих внутренний имманентный смысловой сюжет высказывания (а не композицию как нечто «статичное»). «Живое понимание целостного смысла» высказывания «*должно репродуцировать*» этот сценарий взаимного соотношения точек говорения,

универсальную intersубъективную пространственность через проблему синтезов Я и другого — «*синтеза Я и Ты, а также, что еще сложнее, синтеза Мы*», считая, что во всем этом «*властвует устойчивая типика*» (там же, с. 232). Бахтин описывал двуголосое слово и движение Я по отношению к Он, Ты и Мы в этом же пространственно-сценарном и intersубъективно-диалогическом ключе; и тоже — типологически.

Попытка подхода к этой «типике» внутреннего строения эгологического пространства и будет предпринята ниже. Соответственно, «intersубъективно-эгологическое пространство» перемещений «я» первичного автора будет пониматься как создаваемое не только эгологическими расщеплениями в гуссерлевом понимании (см. ниже), но и intersубъективными соотношениями, порождаемыми языком, между по-разному интенционально нацеленными, но формально одними и теми же значениями, а также разнообразными местоименными коалициями (синтезами): *эгологическая пространственная кинестеза — это переход источника смысла текущего фрагмента высказывания из одной характерно насыщенной (в смысловом, модальном или тональном отношении) точки говорения в другую* (в показательном случае: переход от одного голоса к другому). Особенно важный момент во всем этом — тот, что в языке, аналогично неотмысливаемости «актера» в чистом сознании, все эти смены и чередования характерно насыщенных точек говорения собираются воедино и связываются «пустым» («немым») чистым автором. Результирующий смысл высказывания создается при этом не только (не столько) интеграцией непосредственно семантически «сказанного» из всех использованных точек говорения, но и из несемантизированного соотношения этих точек, порождающего икры смысла своими взаимоперемещениями, соприкосновениями, трениями, схождениями, расхождениями и т. д. В большинстве случаев это — не прямые и инсценированные смыслы, т. е. смыслы, индуцируемые в воспринимающем сознании вне

«как бы снова 'разыграть' его» (СЖСП, 74), в терминах феноменологии говорения то же самое значит — *реинсценировать*.

коррелятивно-прямого соответствия с выражаемым потоком сознания. Для феноменологии говорения это важно в том плане, что так понимаемые пространственные перемещения языкового Я в очередной раз демонстрируют намечаемую сквозную тенденцию в соотношении смысла и языка — их принципиальную *неизоморфность*.

Интерсубъективно-эгологическое понимание пространственных перемещений тоже предполагает их взаимосвязь с соответствующими временными перемещениями, т. е. тоже поддерживает хронотопическую идею. Когда Я во временных перемещениях вместе с порождаемыми актами объективирует себя прошлого (или себя будущего), вступая с собой прошлым, по Гуссерлю, в диалог¹⁶, оно осуществляет тем самым «опространствующую» себя самого временную метаморфозу: вступая в диалог с собой прошлым или собой будущим, языковое Я превращает себя тем самым не в нозму (не в предмет речи), а в параллельно сосуществующую нозсу — в пространственно отстраненную «точку говорения» как источник речи (прошлое или будущее Я становятся отстраненно чужими «точками говорения»). С другой стороны, когда Я пространственно перемещается по местоименным точкам говорения, оно не может тем самым не двигаться и во времени — вместе с движением актов говорения. Мы увидим впоследствии (см. § «Диапазон тональности»), что возможна версия, по которой верно и обратное — что временные перемещения в зоне «*позиции, на которую...*», напр., сдвиги того, что помещено в фокусе внимания, тоже могут иметь эгологическую пространственную составляющую. Ни одна кинестеза «я» первичного автора не может быть чисто пространственной или чисто временной:

¹⁶ Всеобщий момент Я-полюса — «*присущая ему временность, превращающая его в длящееся Я, конституирующее себя в своих временных модальностях: одно и то же Я, которое теперь актуально присутствует в настоящем, в каждом прошлом (каковое является его прошлым) есть уже некоторым образом другое Я, а именно то, которое было и потому теперь уже не есть, и все же в непрерывности своего времени это одно и то же Я, которое есть, которое было и перед которым лежит его будущее. Как наделенное временностью, оно, актуально теперешнее Я, может тем не менее сообщаться со своим прошлым (и теперь уже не существующим) Я, вступать с ним в диалог, критиковать его, как если бы это был кто-то другой*» (Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Выше цит. С. 231).

они все сложным образом хронотопичны. Поскольку эти «хронотопы» связаны, как здесь полагается, с частными, имманентными высказыванию актами говорения и имплантированными в него точками говорения, в перспективе вполне можно полагать, что среди специфически языковых процессов феноменологии говорения имеется тот, который можно было бы назвать «сменой хронотопов» (но в своем содержательном существе эта идея нуждается в отдельном подробном рассмотрении).

Хронотопически подвижны, таким образом, все намеченные наполнители частных точек говорения. Сдвиги модальностей, тональные сдвиги, смены ФВ, смены точек говорения, наложения и расщепления заполняющих их местоименных «голосов», их коалиции и распады, смены хронотопов — все это, происходя перманентно, может как совпадать, так и не совпадать между собой по месту локализации в высказывании, которое тем самым чревато дополнительным смыслом в самых разных сегментах своего состава. Высказывание предстает как непрерывно, в разном ритме и сразу по нескольким направлениям пульсирующий смысл — как ноэматической, так и ноэтической природы. Экспликация смен ФВ, модальностей, тональностей, местоименно разнотипных точек говорения, хронотопических параметров — это в том числе способ учесть в высказывании несемантизованную или несемантизуемую ноэтическую сторону смысла, т. е. его не прямые формы.

4. 2. ЧАСТНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ТОЧЕК ГОВОРЕНИЯ

§ 92. Речевой центр. Одну из разновидностей точек говорения как частных источников смысла внутри высказывания можно — на основе встречающегося в текстах Бахтина словосочетания (напр., ППД, 250) — назвать «речевым центром»¹⁷: при этом типе перемещений осуществляется смена позиции «я» как своего речевого

¹⁷ Первые — внефеноменологические — попытки обоснования типологических видов частных источников смысла и их смен см. в: *Гоготшвили Л. А. Хронотопический аспект смысла высказывания // Речевые цели: мотивы и средства. М., 1986; Гоготшвили Л. А. Философия языка М. М. Бахтина и проблема ценностного релятивизма // Бахтин как философ. М., 1992.*

центра — на позиции «он», «они» («другой») как чужих речевых центров и обратно. Речевой центр, таким образом, — это точка говорения, принадлежащая либо модификации Я — той, которая повернута в сторону 'он' (РЦ-Я), либо какому-либо чужому (в интенциональном, модальном, тональном или каком-либо другом отношении отчетливо осязаемому и контрастирующему с позицией РЦ-Я) голосу в его любых трансформациях, будь то конкретный оппонент — 'он' (РЦ-Он), или в той или иной степени обобщенное мнение — 'они' (вплоть до речевого центра «ходячее мнение»).

Трудная проблема — определить *статус речевого центра «я»* относительно «автора»; понятно, что ее решение всегда будет находиться в концептуальной зависимости от эксплицитно принятых или подразумеваемых пресуппозиций. Так и здесь: РЦ-Я будет пониматься, в соответствии с произведенной ранее интерпретацией степеней авторства, как одна из модификаций «первичного» автора. «Над» РЦ-Я — чистый автор, который непосредственно не говорит, но управляет размещением смыслов по точкам говорения, в том числе по РЦ-Я, и их различного рода сменами, чередованиями и наложениями. Другими модификационными разновидностями первичного автора являются аналогичные Я-позиции в каждом типе парных, противительно связанных точек говорения (в коммуникативных позициях, создающих и разряжающих напряжение между Я и Ты, и в диапазоне причастности, связанном с отношениями Я — Мы и др.).

Высказывание осуществляет периодические смены речевых центров с РЦ-Я на чужие, а также их разнообразные взаимоналожения и конфигурации. Эти смены и наложения в целевой перспективе производятся «на глазах» у слушателя, для него (для «ты» — см. § «Коммуникативная позиция»). Наглядным примером смен РЦ-Я на чужие являются многочисленные шаблоны прямой и косвенной речи, приводить примеры которых нет надобности. Но слово может быть не только полностью и открыто чужим (прямая речь), не только частично, тематически или тонально, освоенным и трансформированным (различные виды косвенной речи), но и по-разному интерферирующе слитым с условно «прямым» (см. ниже)

словом говорящего, т. е. с РЦ-Я (сюда примыкают и описываемые Бахтиным сложные, скрытые в семантическом отношении, синтаксические процессы, такие, напр., как монументальная, безразличная или оцененная прямая речь, как несобственно-прямая речь, как замещенная, рассеянная чужая речь или гибридные конструкции и т. д. — см., в частности, ВЛЭ, 113 – 137 и др. работы)¹⁸. В таких осложненных случаях взаимоналожения речевых центров найти собственно языковые (синтаксические, семантические или хотя бы тональные) рубежи произошедшей смены или наложения речевых центров трудно, иногда — невозможно, так что в их нешаблонных формах смены РЦ могут быть отнесены к непрямому говорению, поскольку именно через них часто выражается несемантизуемый ноэтический смысл. Механизм осуществления этих смен тоже ноэтический: смены и интерферирующие слияния РЦ — это всегда сдвиг, связь или взаимоналожения актов (их ноэс и/или — опосредованно — их ноэм), исходящих из разных точек говорения.

Непосредственная языковая наблюдаемость смены РЦ в шаблонах прямой и косвенной речи постепенно по стадиям угасает, вплоть до полной ненаблюдаемости. Среди пограничных, с точки зрения наблюдаемости, случаев те, в которых языковой границей смены РЦ могут оказаться известные, но традиционно толкуемые иным образом языковые границы. Так, например, в *гибридных* конструкциях границы разных РЦ проходят по шву сложного предложения, придаточные которых обычно понимаются только логическим образом. В следующем ниже примере из лингвистического текста — *«Раскрытие посреднической роли предложения (между мыслью и языком) служит понятие предикативности, которое выполняет роль универсальной отмычки ко всем тайнам предложения»* — придаточное предложение не является «определятельным» в формальном логико-грамматическом смысле этого слова, или — не является таковым «полностью», скорее оно

¹⁸ Почти всем этим формам есть аналоги в киноязыке; так, Ж Делез говорит о «*несобственно-прямой речи*» у Пазолини как о «*перцепции в рамках другой перцепции*» (Кино. Выше цит. С. 616).

может быть дефинировано как тонально-оценочное (см. анализ этого предложения как содержащего смену безоценочной модальности на оценочную тональность в § 85 «Смены модально-тонального ракурса как способ развертывания смысла при приостановке смен ФВ»). К конститутивным свойствам таких придаточных относится то, что они связаны со сменами РЦ. В данном случае придаточное предложение является оценивающим — с позиции *другого*, чем в главном, РЦ, т. е. с позиции иного речевого центра, смененного на шве подключения придаточного предложения. Придаточное подано здесь с позиции условно авторского РЦ-Я, которая сменила представленную в главном предложении позицию чужого РЦ-Он (в примере, как это ясно из опускаемого здесь контекста, РЦ главного предложения принадлежит оспариваемой и излагаемой точке зрения). В придаточном предложении здесь не столько «определяется» свойство самого предмета речи ('понятия предикативности'), сколько оценивается чужое понимание этого предмета — чужая нозса (хотя, конечно, элемент оценки и определения 'самого предмета' из РЦ-Я тоже присутствует — подробнее о такого рода взаимном референцировании одного предмета двумя голосами см. ниже).

Смены РЦ, подобные описанному выше случаю, т. е. даже без открытых синтаксических показателей, в целом — более простой случай, чем их *наложения*. См., напр., фразу из той же научной работы, которая также представляет собой гибридную конструкцию, но в которой усилен момент тематического наложения РЦ при их одновременном тональном расхождении (здесь опять сначала идет описание чужой теоретической позиции, а затем — ее оценка из РЦ-Я): «*Вот когда все эти условия выполняются, мы получаем закрытый список предложений, назначение которых, очевидно, заключается в том, что они мертвой хваткой берут мысль в тиски синтаксических шаблонов*». Первое придаточное и следующее за ним главное предложение (т. е. фрагмент фразы до «назначение которых...») — это, как с очевидностью следует из контекста, «нейтральное» изложение чужой позиции, т. е. фактически (если отвлечься от смысловых нюансов) этот фрагмент подан из чужого

автору РЦ в форме косвенной безоценочной передачи, вторая же часть фразы, начиная с «назначение которых...», подана одновременно и из РЦ-Он, и из РЦ-Я (тематическая сторона этого фрагмента может адекватно соответствовать мысли из чужого РЦ, но звучащая здесь одновременно с передачей этого тематического содержания, точнее — поверх нее *наложенная*, явно критическая оценка принадлежит РЦ-Я).

Еще более завуалированы и ослаблены языковые границы смен РЦ в тех случаях, когда смена происходит внутри простого предложения. См. известный пример «скрытой цитации» у А. Вежбицкой¹⁹: «*Хороший лыжник улыбнулся*». Именная группа данного предложения определяется как скрытая цитация; формальным основанием для этого вывода служит предложенная А. Вежбицкой проверочная процедура синонимической замены: если замена именной группы на синонимичное сочетание (хороший лыжник = тот, кто хорошо катается на лыжах) ведет к в чем-то «ненормальной» фразе: *тот, кто хорошо катается на лыжах, улыбнулся*, то перед нами скрытая цитация, т. е. в нашей терминологии — смена РЦ.

По замыслу, процедура синонимической замены призвана вскрыть внутреннюю противоречивость фразы с позиций 'семантического языка'. Однако в контексте феноменологии говорения обнаруживаемая таким образом семантическая «ненормальность» может быть понята иначе — как появляющаяся вследствие отсутствия в изолированно взятой фразе хронотопической определенности имеющих в ней «точек говорения». Если перед перефразированием поставить такую цель — «раскрутку» хронотопически определенного смысла фразы, без всякого его оценивания при этом с точки зрения противоречивости или непротиворечивости, то этого можно достигнуть эксплицированием произошедшей здесь смены РЦ: *Тот, кого кто-то назвал хорошим лыжником, улыбнулся*". С точки зрения второй процедуры, соответствующей целям феноменологии непрямого говорения, исходная фраза не «противоречива» — она

¹⁹ Вежбицка А. Описание или цитация? - НЗЛ. Вып. XIII, М., 1982. С. 239.

«двуголоса», причем в одном из стандартных — «нормальных» — вариантов совмещения и смены двух «точек говорения», двух РЦ.

Существенно при этом то, что исходная фраза может оказаться и «самоцитацией» — в случае языковой ретенции к прошлому-Я, т. е. отсылки к предшествующему фрагменту высказывания из Я-позиции (*Тот, кого «Я» раньше назвал хорошим лыжником, улыбнулся*). В этом случае также происходит смена РЦ, но особая: не в собственном смысле пространственная (на чужой РЦ-Он), а временная — как следствие упоминавшейся выше *временной расщепляемости Я*: здесь сменяются РЦ-Я «прошлое» и РЦ-Я «настоящее», причем прошлое РЦ-Я частично, как говорилось выше, объективируется текущим (находящимся в точке-Теперь) РЦ-Я, а значит получает и пространственную в эгологическом смысле составляющую. Я-настоящее получает возможность оперировать с речью Я-прошлого аналогично тому, как оно оперирует с чужим 'он'-речевым центром.

В сложных жанрах возможна, по-видимому, непосредственно пространственная инсценировка взаимоотношений ипостасей расщепленного Я первичного автора — тогда, когда РЦ-Я заполняет одну из своих ипостасей чужим голосом — голосом пространственно противопоставленного «он». В качестве такого инсценированного пространственного перемещения ипостасей расщепленного Я можно квалифицировать, напр., бахтинское описание «диалога с самим собой в душевной жизни Голядкина» (ППД, 285): такой диалог, говорит Бахтин, «*позволяет заместить своим собственным голосом голос другого человека*», т. е. — позволяет наполнить свое второе Я голосом чужого РЦ-Он. Эти происходящие в «диалоге Голядкина с самим собой» смены РЦ уже абсолютно лингвистически не наблюдаемы, но тем не менее и они ощутимы за счет инсценированности ноэтическими механизмами.

Временная и через нее непосредственно пространственная в эгологическом смысле *саморасщепляемость РЦ-Я* говорит в том числе и о том, что неверно было бы считать чистого автора (за которого здесь примем Голядкина, отвлекаясь от автора романа) непосредственным речевым центром: если РЦ-Я понимать как

совпадающий с чистым автором, тогда пришлось бы считать чужой речевой центр полностью и абсолютно чужим, а не выражающим, референцирующим, изображающим, инсценирующим или коммуникативным приемом, с помощью семантического состава которого говорящий выражает не только чужое, но одновременно и «свое» содержание. Из РЦ-Я может направляться только инсценированное *псевдопрямое* слово — слово первичного автора в модификации «речевого центра» (у него есть и другие модификации схожего типа, о которых ниже). Прямого слова, т. е. не инсценированного через конфигурацию разных точек говорения, у чистого автора нет. Он — «нем»; чтобы получить голос, он должен занять определенную точку говорения, вступить в точку говорения, причем парно соотнесенную с другой — коррелирующей по местоименному циклу — точкой говорения, он должен оплотниться, объективироваться в ней — и стать первичным автором, в данном случае — в его парной модификации РЦ-Я. Это не значит, что чистый автор вообще не находит своего выражения; он может найти опосредованное не прямое (несемантическое) выражение через совокупность, включая напластования и нить чередований, всех использованных речевых центров, в том числе как псевдопрямое РЦ-Я, так и чужие РЦ-Он.

Пласты непрямого смысла могут *наращиваться*, напр., — тогда, когда смена РЦ соседствует со сменами языковых модальностей и тональностей. Фрагмент из чужого РЦ может иметь, напр., описательную модальность по отношению к своему референту, а сам — в качестве референта второго порядка для псевдо-авторского РЦ-Я — подаваться, напр., в нарративной модальности. Нарращивается не прямой ноэтический смысл и в случаях совмещения смен и наложений РЦ со сменами и наложениями других типов парных точек говорения (КП и ДП — см. ниже).

§ 93. Референциальная сторона речевых центров. К особо значимым моментам смен и наложений РЦ принадлежит то, что, будучи чужими «точками говорения» в модусе третьего лица («он», «они»), речевые центры обретают — вследствие равной

«объектности» третьего лица и для говорящего, и для слушающего — *объективированность* (вплоть до возможной полной объектности), а следовательно — начинают поддаваться и референции, и наррации, и изображению. Смены и наложения РЦ имеют в этом смысле двойную — референтно-диалогическую, или нозматически-ноэтическую — природу: исконная принадлежность к точке исхождения смысла (точке «он») делает чужие РЦ имманентными высказыванию «точками говорения», присущая им объектная тень приближает чужие РЦ к объекту референции высказывания (к позиции «предмета речи»). Фрагменты, поданные из чужого РЦ, с одной стороны, референтно на что-то направлены, с другой — они сами помещены в позицию референта для РЦ-Я, причем РЦ-Я может иметь одновременно виды и на преломленное сквозь чужое слово (диалогизированное) референцирование того, на что была изначально направлена сама чужая речь, так что при сменах и наложениях РЦ вряд ли возможно говорить о прямом семантически однолинейном смысле. Если здесь и возможно прямое говорение, то только — парадоксальным образом — из чужого РЦ, т. е. как *чужое прямое говорение* (впрочем, и оно, будучи воспроизведено чужим для него авторским РЦ, тоже тем самым псевдопрямое). Речь же из РЦ-Я в любом смысле непрямая.

Парное существование речевых центров приводит к взаимному перениманию свойств: референтно-объектная сторона РЦ-Он в некоторой степени отбрасывает объективирующий отблеск и на РЦ-Я. Эта объектная тень на повернутом в сторону 'он' РЦ-Я дополнительно свидетельствует о его принципиальном отпадении от чистого автора: РЦ-Я (еще раз зафиксируем) — это одна из модификаций первичного автора, всегда для «чистого автора» конкретно оплотненная и объективированная речевая маска, всегда характерная смысловая позиция, которой он пользуется по преимуществу оговорочно.

Продолжение логической нити от факта близости чужого РЦ к объекту референции и частичной теневой объектности РЦ-Я может привести к версии толкования любого предмета речи как свернутой точки говорения (см. ниже параграф «*Предмет речи как свернутая точка говорения*»), в рамках которой возможно полагать, что само

разделение на точку говорения и предмет говорения — вещь абстрактная, что всякий семантизованный предмет (референт) функционирует как свернутая точка говорения, повернутая к той или иной местоименной ипостаси — «мы», «все», «ты», «он» или «я» — и тем объективированная. Это связано с отчужденным характером присутствия языка в сознании: любое именование референта «автоматически» подключает порождающую его и интенционально связанную именно с этим именем точку говорения. Я-позиция может назвать имеемое ею в виду тем именем, которое адекватно позиции Ты, или позиции Он, или позиции Мы. Не исключение здесь и «нейтральная семантика»: как общезначимая, она подключает к высказыванию при любом нейтральном именовании точку говорения «все» — тоже характерологически окрашенную.

§ 94. РЦ и двуголосие. Двуголосие в терминах феноменологии говорения. Один из основных видов РЦ и смен РЦ, относящихся к непрямому говорению, — *двуголосие*; оно подробно обсуждалось в статье «Двуголосие в соотношении с монологизмом и полифонией». Референциальная и коммуникативная цель двуголосия — не «прямые» (ноэматики-семантические) смыслы чужих голосов, а их не получающее в большинстве случаев семантического выражения ноэтическое скрещение (наложение) — либо между собой посредством РЦ-Я, либо с самим РЦ-Я.

Ранее, вне специально феноменологической обработки темы, говорилось о следующих конститутивных особенностях двуголосых конструкций: о двух голосах, разноприродной двуреферентности, трехпредикатности. Так, в сквозном показательном примере со скрещением голосов на границе придаточного предложения (*Зато Калломейцев воткнул, не спеша, свое круглое стеклышко между бровью и носом и уставился на студентика, который осмеливается не разделять его “опасений”*) в придаточном предложении два голоса (авторский и Калломейцева), два разноприродных референта — ‘студент’ и сам чужой голос и, соответственно, три предикации: от голоса Калломейцева на студента, от авторского голоса на студента и от авторского голоса на чужой голос.

Если перевести эти конститутивные особенности на терминологию феноменологии говорения, получим: две точки говорения (два РЦ — РЦ-Я и чужой РЦ), два интенциональных объекта (ноэмы) и трехактность. Во фрагменте «...студентика, который осмеливается не разделять его 'опасений'» одновременно даны и ноэса Калломейцева из чужого РЦ к студенту, и первичная ноэса из РЦ-Я к тому же студенту (безакцентно взятая тематическая сторона этого выражения равно здесь принадлежит и Калломейцеву, и РЦ-Я), и, в-третьих, вторичная ноэса из РЦ-Я, направленная уже не на студентика, но на другой интенциональный объект — на оценочный компонент ноэсы чужого акта говорения, т. е. на тональность смысла, направленного на этого же студентика из точки говорения Калломейцева. Последняя по счету ноэса семантически «невидима». По механизму она является *тональной* переакцентуацией чужой ноэсы: мы одновременно чувствуем в этом фрагменте и тон высказывания о студентике самого Калломейцева, «которому не до иронии», и иронизирующий над этим высказыванием голос (тон) автора.

Двуголосие, следовательно, наглядно демонстрирует феноменологически описывавшиеся выше нозтические процессы. Двуголосие — это сворачивание (нанизывание, наложение и т. д.) в одну языковую конструкцию нескольких актов сознания, их то или иное по конкретному «механизму» языковое неизоморфное инсценирование. В качестве общих свойств двуголосия можно, по-видимому, расценивать, во-первых, то, что из той точки говорения в двуголосых конструкциях, которая опознаваема как РЦ-Я, *всегда исходят два акта* (на общую ноэму и на чужую ноэсу или ее компонент), выражены ли таковые непосредственно семантически или нет, т. е. то, что двуголосие всегда содержит две разнонаправленные ноэсы ведущего голоса. И, во-вторых, можно как об общем свойстве говорить о *расщепленности фокуса внимания* актов говорения, исходящих из РЦ-Я (при наличии двух разных интенциональных объектов внимание одновременно направлено в две стороны: и на студентика, и на чужую речь о нем). В качестве же конкретных

особенностей примера с Калломейцевым можно говорить об *опущении* в семантической ткани одного из двух актов (оценочного акта по отношению к чужой речи), о наложении языковых тональностей (РЦ-Я и передает тональность Калломейцева, и диалогически наслаивает на нее свою тональность).

По всей видимости, в двуголосии возможны не только эти, но все описанные выше приемы инсценирования актов сознания в их разных комбинациях (сращение актов, их опущение, наращивание, расщепление, имплантирование нозс в нозмы и нозм в нозсы, модальные и временные сдвиги, совмещения и т. д., включая и еще не описанные приемы смен и наложений «коммуникативных позиций» и передвижения по шкале «диапазона причастности» и по шкале «диапазона тональности»). Здесь нам пока важно было лишь проиллюстрировать саму возможность описания двуголосия в предложенной феноменологической терминологии, детальное же его феноменологическое описание и анализ — отдельная и особая тема.

Не удержимся и оговорим только тот момент, что при анализе расщепления фокуса внимания речь должна будет вестись об обеих сторонах: о различии *природы референтов* (здесь вырисовывается тема о чужой речи как *особом типе интенциональных объектов*, возможно — типе *ноэм*, не существующих в неязыковых актах сознания или существующих в ином виде) и о различии *типов актов* (различии типов нозс). В статье о двуголосии это различие типов актов было зафиксировано как тематическая и тональная предикации. В феноменологическом контексте тематическая предикация сближается с описанной Гуссерлем *тематизацией*, тональная же предикация в пространстве принятой здесь терминологии вклинивается, как мы уже видели, в дискуссионную зону вокруг «видов тональности». Тональная предикация — это, по введенной выше терминологии, *импрессия* (ирония РЦ-Я над голосом Калломейцева). Она — как и «экспрессия» в смысле Шпета — не имеет семантического облачения. Но если в имевшихся Шпетом в виду случаях о включении «экспрессии» (понимаемой им, напомним, как тональность говорящего) в смысл высказывания и можно спорить, то

применительно к двуголосому слову и его импрессии этот спор теряет реальное значение: при изъятии из смысла такой конструкции невыраженной тональной ноэсы разрушается сама ее смысловесущая двуголосая природа. А значит — трансформируется ее смысл. При включении в содержание фразы семантически неявленной тональности от РЦ-Я и при «слышании» двуголосия — один смысл, при ее изъятии и одноголосом восприятии — другой. Если перестать слышать в примере с Калломейцевым двойную голосовую оркестровку, придаточное предложение трансформируется в одноголосый нарративный акт и его продолжающая ощущаться оценочность ('осмеливается', 'опасений') будет понята как выражающая позицию авторского голоса уже не по отношению к Калломейцеву, а по отношению к студенту²⁰.

§ 95. Неустранимость речевого центра «я». Трехголосие, ирония и метафора. Всегда парная форма существования речевых

²⁰ Это не значит, что никакие разновидности двуголосия не поддаются перефразированию. Второй идущий от РЦ-Я — собственно диалогический и направленный на чужой голос — акт может, как подробно описывалось ранее, быть тематизированным и иметь непосредственно семантическое выражение в самой двуголосой конструкции. И в этом случае двуголосая фраза имеет дополнительный к семантическому составу ноэтический смысл, однако если несемантизованная тональная ноэса при перефразировании невоспроизводима, то тематизованная ноэса — воспроизводима, хотя и не полностью. Напомним подробно анализировавшийся в статье о двуголосии пример на семантически выраженное (тематическое) двуголосие и его перефразирование. *“Мало-помалу все начинали понимать, что человек с такими заслугами перед обществом, из которого он выжал такую кучу денег, не должен оставаться простым гражданином.”* (СВР, 119). Из РЦ-Я подано здесь подчеркнутое придаточное предложение, слова, предшествующие ему (*человек с такими заслугами перед обществом*) и следующие за ним (*не должен оставаться простым гражданином*), принадлежат чужому РЦ, в данном случае — “общему мнению”. Данное придаточное осуществляет совместно с чужим РЦ, во-первых, референцию к Мердлю (*Мердль выжал из общества кучу денег*), во-вторых, референцию к чужому РЦ, здесь — к “общему мнению”, т. е. к положению *Мердль имеет большие заслуги перед обществом*. При перефразировании тематической предикации к этому референту получается: *То, что общее мнение считает заслугами перед обществом, есть умение выжать из него деньги*. Смысловой вытяжкой из этого выражения является *Заслуги перед обществом — это умение выжать из него деньги*. И в параллель: смысловой вытяжкой из приводившегося выше примера на смены ФВ (*У дверей, на каменной скамье, той самой скамье, встав на которую Генерал Друо четвертого марта прочел перед толпой изумленных обитателей Дина прокламацию, написанную в бухте Жуан, сидел жандарм*) может оказаться *«где стол был яств — там гроб стоит»*.

центров («я» и «он») — это встреча первичного автора с ‘другим’ прежде всего «в предмете» (Бахтин); это можно понимать так, что из всех разных ипостасей первичного автора именно РЦ-Я обладает наиболее выраженной референциальной силой. Следует поэтому, видимо, считать, что *псевдопрямое слово с позиции РЦ-Я является необходимой, неизываемой ипостасью первичного автора в любом высказывании*. В пользу такого понимания говорит и то наблюдаемое в речи обстоятельство, что в ней практически не встречаются смены одного чужого речевого центра на другой чужой же речевой центр, минуя РЦ-Я. РЦ-Я всегда «присутствует со свечой» при этом: он может выполнить роль непосредственно семантической «прокладки» между двумя чужими РЦ, может и, никак семантически этого не фиксируя, только «монтажерски» или «операторски» — а значит, с тональной предикацией — сцепить чужие акты и т. д., но всегда остается ощутимо действующей инстанцией. Непосредственный переход с одного чужого речевого центра на другой — очень сложный, если не невозможный, прием; построенная таким образом фраза выйдет из-под контроля говорящего и вызовет не предполагавшийся им смысловой эффект (слушающий чаще всего «насильно» подключает недостающий ему авторский голос в модификации РЦ-Я к одному из чужих РЦ).

Проиллюстрировать это можно на феномене *трехголосия*. Двуголосие и два РЦ — не предел для языка; возможны и трехголосые конструкции. Три голоса в одной конструкции — там, где в двуголосую фразу соединены два тематически представленных чужих голоса, а авторский — третий — голос тонально предикцирует тот из них, который находится в позиции РЦ-Я этой двуголосой конструкции. Второй голос первоначальной двуголосой конструкции тематически предикцирует первый, а сам в свою очередь тонально предикцируется со стороны авторского третьего голоса. Подробнее о феномене трехголосия см. специальные параграфы в статье о двуголосии, здесь нам важно подчеркнуть, что трехголосие подтверждает предположение о неустранимости РЦ-Я первичного

автора, т. е. о невозможности скрестить два чужих РЦ без участия первичного автора. Если из трехголосой конструкции изъять третий чисто тональный голос первичного автора, то во фразе останутся не два чужих голоса, а один: два голоса останутся, но один из них будет воспринят как идущий от РЦ-Я первичного автора. Когда, напр., используется рассказчик и он строит двуголосые конструкции с голосами других персонажей, выступая по отношению к ним как РЦ-Я, слушающий «знает», что этот РЦ-Я — не авторский, а чужой по отношению к нему (инсценированный), и что в каждой такой двуголосой конструкции автор изображает голос рассказчика, так же как и голос персонажа. Вокруг говоримого рассказчиком всегда ощутима тональная оценка говоримого со стороны семантически не явленного автора. Соединить два чужих РЦ в двуголосую конструкцию без того, чтобы тут же не возникла авторская тональная предикация, невозможно.

Такие не прямые смысловые эффекты, как ирония, стилизация, пародия и др., возможны только там, где непосредственно семантически представлены или реконструируемы (в качестве невидимой тональной предикации) как минимум две точки говорения, в том числе два речевых центра. Так, *ирония* — это «встреча» в одной конструкции двух тонально-модальных ракурсов, двух воплощенных оценок (или голосов, точек говорения), их интерференция, перебой (СЖСП, 82)²¹. *Метафора* — иной механизм: это не тональный, а непосредственно семантический перебой в одновременной направленности двух разных лексем к одному и тому же предмету (ноэме), взятый безотносительно к возможной и здесь взаимоориентации с чужими голосами; это именно зона неизоморфной встречи самого слова с предметом. Так, в стихотворении Боратынского, которое анализировал Шпет (см.

²¹ Аналогично — схоже с бахтинским и принимаемым здесь толкованием — объясняет иронию Б. А. Успенский (Поэтика композиции // Успенский Б. А. Семиотика искусства. М., 1995. С. 55 – 56): несовпадение точек зрения — необходимо для эффекта иронии (136); иронический эффект — тогда, когда не совпадают идеологическая и какая-либо другая точка зрения (162). Это — то же, что две бахтинские *воплощенные* оценки или пересечение двух точек говорения.

Экскурс «*Экспрессивная теория Г. Шпета как версия ‘аналитической феноменологии’*»), чувствуется эффект столкновения двух оценок (двух точек говорения) — отсюда импрессивный эффект (оптимизм или пессимизм как такого рода ХХХэффекты в общем плане типологически схожи с иронией и пародией), а в стихотворении Мандельштама «*Я слово позабыл, что я хотел сказать...*» слово метафорично и однотонально: здесь нет двух сталкиваемых точек говорения и тонов, здесь все направлено на инсценировки различных семантических сдвигов вокруг опущенной («позабытой») нозмы (развитие этой темы см. в параграфах о диапазоне тональности и о диалоге с предметом)²².

§ 96. Коммуникативная позиция. Второй вид сменяемых и налагаемых точек говорения в качестве парных внутритекстовых частных источников смысла можно связывать со взаимоотношениями Я с Ты (слушающим). Если закрепить эти взаимокоррелирующие точки говорения термином «*коммуникативная позиция*» (КП), то, соответственно, получим две парно соотносимые точки говорения: КП-Я и КП-Ты. Меняя КП-Я на позицию «ты» или взаимоналагая их, говорящий строит высказывание на границе с внутренней речью слушающего, отдавая на время точку говорения в высказывании в его языковое владение, т. е. разворачивая смысл с его — предвосхищаемой, оспариваемой, подтверждаемой и т. д. — позиции.

«Ты» — одна из главных ролей в имманентном сценарии высказывания. Речь может быть прямо обращена к Ты (прямой

²² Прием ‘опущения’ в схожих целях, но по-своему, применяется и в прозе — см. описание аналогичных процессов М. Мерло-Понти: «*Сюжет романа можно... пересказать... Но важно не то, что Жюльен Сорель, получив известие о предательстве госпожи де Реналь, едет в Верьер и пытается убить ее* <т. е. важен не семантизирующий сюжет пересказ — Л. Г.>, — *а то, что было после получения известия: молчание, полет воображения... Об этом ничего не говорится. Нет нужды в этих ‘Жюльен думал’, ‘Жюльен хотел’... необычное соотношение вещей пропущенных и вещей названных... О стремлении убить не сказано ни слова: оно присутствует между словами, в провалах пространства, на границах времени, значений, как движение в кино между следующими друг за другом кадрами*» (Косвенный язык и голоса безмолвия // Мерло-Понти М. Знаки. М., 2001. С. 85 — 86).

внешний диалог²³, молитва, просьба, приказ), что соответствующим образом отражается на семантической ткани и смысле речи, но помимо такого прямого обращения всякое высказывание содержит имманентного адресата (имплантированного в имманентную высказыванию структуру использованных в нем точек говорения), выстраивая между имманентными «ты»²⁴, «я», «он» и «мы» всегда конкретно определенные сюжетные отношения.

Как и в случае с РЦ, те или иные фрагменты высказывания могут подаваться, сменяя точку говорения КП-Я, в качестве исходящих из этой имманентной точки говорения КП-Ты. Язык предоставляет многообразные способы таких чередующихся смен и взаимоналожений. К открытым, шаблонным формам можно отнести вводные слова, риторические вопросы и другие риторические фигуры, различного рода повороты и развороты темы, открыто (или скрыто) предпринимаемые «на глазах» у слушающего и т. д. К разной степени скрытым приемам, не имеющим непосредственного семантического выражения, можно отнести, напр., актуальное членение предложения, статус определенности имени или именной группы, контекстуальные эпитеты, скольжение текста по шкале данное/новое, выбор именно этой семантической облаченности для субъекта и предиката и т. д. Как одна из форм ориентации на КП-Ты может быть понят и процесс смены фокусов внимания.

Конечно, коммуникативная установка на Ты не является какой-либо новостью со времен античной риторики, однако идея Бахтина состояла в другом — в том, чтобы не просто восстановить дискредитированную в XIX в. риторику в «неориторике», но — одновременно — трансформировать некоторые традиционные составляющие риторического мышления, расценив, в частности, коммуникативную установку на Ты не столько как внешнее

²³ См. пример Б. А. Успенского на «совмещение двух сфер речи: говорящего и слушающего» в прямом внешнем диалоге: «Герой повести Ф. Д. Достоевского 'Игрок', обращаясь к Полине, говорит ей: 'Я бы, на вашем месте, непременно вышла замуж за англичанина'» (Поэтика композиции. С. 55 – 56).

²⁴ В нарратологии говорится в схожем с имманентным Ты смысле о наррататоре.

красноречие, как технику речи (что, безусловно, имеет под собой основания), сколько как внутренний конститутивный признак каждого высказывания, как фундаментальную составляющую языкового сознания вообще.

Возьмем, по уже применявшейся практике, в качестве примера предшествующий, нарочито сконструированный и выделенный курсивом, абзац. В нем произошло несколько смен коммуникативной позиции. Начало фразы, до вводного слова «однако», подано из КП-Ты — с целью предвосхитить аллюзию к риторике (или не «предвосхитить», но ответить на уже возникший запрос читательского ожидания, ослабить его диалогическое напряжение до пусть условной и временной, но уступки говорящему). В дальнейшем текст исходит из КП-Я, но позиция Ты продолжает в него периодически вовлекаться. Это происходит по-разному: с помощью имеющих диалогический заряд контрастивных конструкций (*‘не просто..., но...’*; *‘не столько..., сколько...’*); посредством использования в них «чужого» для КП-Я, но, возможно, «своего» для КП-Ты понятия (*‘неориторика’*); с помощью оборота, «смягчающего» гипотетическое читательское несогласие с, возможно, излишне сильно понятым авторским утверждением (*‘что, безусловно...’*); с помощью сознательного сужения фонового (энциклопедического) состояния сознания слушающего до необходимых в данный момент контекстуальных пределов, когда из общих представлений о риторике вычленяется лишь необходимая «сейчас» говорящему их часть (сближение риторики *‘только’* с техникой речи). Этот фрагмент в целом построен на границе между КП-Я и предвосхищаемой (причем «автор» может, конечно, и ошибаться) читательской реакцией, через игру на возможных ассоциациях: отсечение ненужных, усиление необходимых и т. д. Сквозь смены КП-Я и КП-Ты всегда пробивается при этом луч непрямого смысла — той или иной интенсивности.

Понятие «коммуникативной позиции» так же, как и речевые центры, способно вмещаться в те типологии синтаксических явлений, которые производятся на абстрактно-логических основаниях. См., напр., следующую фразу из художественного произведения,

расположенную в тексте сразу после описания того, как двое — пока не названных автором и не идентифицированных читателем персонажей — идут по лесу: *‘Принцесса, потому что это была она, прислонилась к дереву’*. Подчеркнутый фрагмент подан здесь с оглядкой на КП-Ты и с поддержкой акта понимания в момент сейчас долженствующей производиться идентификации персонажа (подчеркнутый фрагмент «имеет» в виду, что в описываемом эпизоде один из двигавшихся по лесу персонажей, если слушающий еще сам не догадался об этом или не уверен, — именно ‘принцесса’, а не кто-либо иной). С формально-логической точки зрения эта вводная фраза трудно поддается синтаксическому определению. Если воспринимать ее, напр., как придаточное причины, как того требует союз, то получится, что ‘принцесса прислонилась к дереву потому, что это была она’. Можно, конечно, вводить разного рода логические уточнения в формально-логическую классификацию причинных придаточных, типа понятия придаточного как «факультативной ремарки»²⁵, но это расшатывает само понятие придаточного предложения, в терминологии же смен и наложений точек говорения такого рода явления можно характеризовать «отчетливей» и, как представляется, точнее — как придаточное с временной сменой КП-Я на КП-Ты.

§ 97. «Небезопасность» и «неизбежность» оглядки на имманентное «ты». Игра со слушающим небезопасна для КП-Я. При неправильном расчете она может привести и к отклонению референциального луча, и к его «погашению», и к искажению смысла, предназначенного говорящим к пониманию, и к пониманию слушающим непредназначаемого, скрываемого или бессознательного, смысла. У Ж. Женетта есть подробный разбор такого рода случаев, сходно с предлагаемым здесь образом понимаемых как «желательная для отправителя» «установка получателя сообщения»²⁶. Женетт подробно анализирует с этой точки зрения различие двух фраз *«Эта молодая женщина говорит ‘Григри’, потому что она дружна с*

²⁵ Русская грамматика. М., 1980. Т. II. С. 579.

²⁶ Женетт Ж. Фигуры. Том 1. С. 446.

принцем Агригентским» и «Эта молодая женщина говорит 'Григори', чтобы показать, что она дружна с принцем Агригентским». Вопреки желательному для автора «наивному» (или «прямому») типу установки получателя, говорит Женетт, второе «демонстративное» сообщение немедленно дешифруется как сообщение симулятивное, и предложение «Она говорит 'Григори', чтобы показать, что... » трансформируется в «Она говорит 'Григори', чтобы убедить в том, что она дружна с принцем Агригентским»», а тем самым преобразованное получателем понимание «начинает означать противоположное» тому, что должна была означать фраза. «Причинная связь в последний момент выворачивается наизнанку в ущерб знаковой интенции: она говорит 'Григори', потому что она не знает принца Агригентского» (447 – 448). В этом коварстве означивания «заклучена суть разоблачительного языка, который есть по сути своей 'непрямой язык', который выдает умалчиваемое именно потому, что оно умалчивается» (448).

Насколько регулярны и вообще обязательны ли смены КП, если уж они столь небезопасны? В нашем первом нарочито сконструированном примере про Бахтина и риторику можно было бы избежать многих смен и наслоений КП, подав необходимый смысл с точки говорения КП-Я. Напр., начало примера '*Конечно, коммуникативная установка на Ты не является какой-либо новостью со времен античной риторики*' могло быть подано с КП-Я, но тогда бы мысль о принадлежности установки на слушающего к риторике звучала бы как некое «утверждение от Я», что вызвало бы «лишнюю» заминку понимания; могло оно и вообще быть опущено. Однако в первом случае для того, чтобы избежать авторского захвата общего места о риторике, чтобы эта идея не звучала как, якобы, авторская инновация, нужно было бы подключить смену речевых центров (вроде: «Как это отмечено в...» или «Как это неоднократно отмечалось в литературе...» и т. п.) Во втором случае (при опущении начала фразы вместе с «однако») исчезла бы не только — возможно, и лишняя — оглядка КП-Я на слушающего, но вместе с ней и некий момент «авторского смысла». Ведь через семантическое наполнение

фрагментов, исходящих из точки говорения КП-Ты, как и из чужих РЦ, говорящий косвенно передает и «свой» смысл, опосредованно референцирует и «свой» предмет. Если первичный автор в рамках той стилистики, в которой построен наш первый пример, избегает в подобных случаях как смен коммуникативных позиций, так и смен речевых центров, то он тем самым осложняет свои взаимоотношения с читателем: тот либо теряет ориентиры, необходимые для ожидаемого от него понимания границ передаваемого смысла, либо теряет темп понимания, пропуская сквозь себя лишь крупные смысловые кванты и отвлекаясь от деталей, либо понимает факт опущения напрашивающегося «объяснения» с ним в форме смены КП как тоже своего рода «послание» (об осторожности в этом вопросе КП-Я или о жесте молчаливого уважении к его знаниям, о «болтливости» КП-Я и т. д.). По-видимому, полностью исключить из высказывания «скрытые», семантически не означенные, способы смены КП — как и смены РЦ — невозможно, в том числе за счет введения смены РЦ (подробнее см. в параграфе «*Коммуникативные позиции Я и Ты в терминах феноменологии говорения*»).

КП-Я, как и РЦ-Я, не сам чистый автор, а *вторая модификационная форма первичного автора*, т. е. модально и тонально заполненная и частично объективированная точка говорения. Наблюдения над поведением в речи КП-Я приводят — как и наблюдения над РЦ-Я — к мысли, что наличие Я-позиции или Я-точки говорения в той или иной ее модификации и наполненности неустранимо. Возможны только переходы от КП-Я к КП-Ты и наоборот, но невозможно, минуя КП-Я, перейти от одной КП-Ты к другой КП-Ты: напр., к коммуникативной позиции иначе понятого имманентного адресата текста (обращаться к единомышленнику, а затем — без перехода через я-позицию — к оппоненту) или к позиции так же понятого адресата, но по другому поводу. По отношению к смыслу, развертываемому в случаях смен одной КП-Ты на другую КП-Ты, КП-Я обязательно проявляется — либо семантически открыто (в виде ли короткого вводного слова, с помощью ли какой-либо противопоставительной синтаксической конструкции и т. д.), либо

семантически не выражено (осуществляя функцию актора, производящего остающиеся не до конца ясными по «механизму» сцепления семантически неявленных интенционально-коммуникативных «событий»). В противном случае — как и в зоне действия РЦ, где тоже нельзя миновать РЦ-Я, — это за говорящего делает слушающий, т. е. «насиленно» подключает «авторский» голос (КП-Я) к какой-нибудь из заявленных точек зрения «ты», что, конечно, искажает задуманный смысл высказывания.

Язык не предоставляет говорящему возможности отдать свою речь в полную и безраздельную собственность слушающему — как и чужим голосам, чужим РЦ (как и разного рода мы-позициям или все-позиции — см. параграф «*Диапазон причастности*»). Та или иная степень и форма активности КП-Я и РЦ-Я — условие говорения. С другой стороны, Я-позиции не могут взять язык и в свою полную собственность: «Я» и «Ты» совладельцы речи, или, как сказано в МФЯ, язык — это «общая территория между говорящим и собеседником» (МФЯ, 102), а если подключить сюда и речевые центры, и двуголосие, — то и «говорившим ранее».

Будучи, что уже отмечалось, как и речевой центр Я, одной из модификационных и потому ограниченных в своих интенциях форм первичного автора, КП-Я вместе с тем дальше РЦ-Я отстоит от чистого автора с точки зрения его референциального замысла: его повернутость к учету текущего состояния сознания «ты» отвлекает (отклоняет) интенцию высказывания от работы над референтом (продвижением нозматического состава). Не является КП-Я и в буквальном смысле прямым обращением Я к Ты (чистой информацией), так как в собственно авторский замысел входит вместе с тем смыслом, который подается из точки говорения КП-Я, и тот, который подается с точки КП-Ты. Исчерпывающий замысел результирующий эффект и здесь возникает при совмещении всех произведенных в тексте смен КП (и при их наложении на аналогичные процессы в сфере смен и наложений РЦ).

Особый вопрос — *соотношение РЦ-Я и КП-Я*. Обе эти авторские точки говорения (обе модификации первичного автора) носят черты

универсальности: они всегда соприисутствуют в высказывании. Будучи различны по «местоименной» установке и интенции, они не могут ни слиться, ни разойтись. Это два языковых лика (или две личины) первичного автора, смотрящие в разные местоименные стороны (у первичного автора есть и обращенные в другие стороны «лики» — повернутый к «Мы» и повернутый непосредственно к ноэматическому составу).

§ 98. Чужие речевые центры и коммуникативная позиция «Ты». Схожие различия можно усматривать и между чужими РЦ («Он»-позициями) и КП-Ты: в протяженных высказываниях вторичных жанров²⁷ *«он» как «другой» не может перевоплотиться в реальное (не игровое) «ты», «ты» не может перевоплотиться в реального «он».* Даже если говорящий настолько объективирует (овнешняет) предполагаемое им языковое сознание своего слушателя, что получает возможность почти цитировать его и, следовательно, производить над ним все те смысловые действия, которые он обычно осуществляет по отношению к чужому речевому центру (к «другому»), даже в таком редко инсценируемом случае это будет не полновесный, но «игровой» речевой центр, так как слушающий и в таких случаях не может быть освобожден от своей главной роли *особого* участника речевого общения, «на глазах» у которого, для которого говорящий и осуществляет смену речевых центров (и смены ФВ). Меняя речевые центры, вступая в диалог с чужими голосами, говорящий оформляет этот диалог не как реальный, скажем, бытовой диалог с непосредственно противостоящим собеседником, но как действие *для* третьего, для слушающего, для «ты» (возможна и установка языковых высказываний на Абсолютное Ты — эта тема поднимается у Лосева и Вяч. Иванова, косвенно — и у Бахтина, но мы здесь от нее отвлекаемся).

Если коммуникативная позиция слушающего семантически уплотняется в высказывании до ее трансформации в «речевой

²⁷ Мы отвлекаемся здесь от особенностей разговорной речи и стандартизированных типов высказываний, где — обобщенно говоря — «он» и «ты» могут совпадать.

центр», то слушающий вынужден раздваиваться: с одной стороны, он больше обычного вчувствован в этот обыгрываемый в высказывании чужой речевой центр, но, с другой стороны, он продолжает смотреть на происходящее как наблюдатель, для которого и ведется этот «диалог» речевых центров. Если читатель забудет о своей роли третьего и полностью воплотится в чужой речевой центр (наподобие полного вчувствования в одного из персонажей трагедии), то тем самым он закроет свой слух для восприятия других смысловых пластов высказывания, в том числе — не прямых, и их результирующего общеаккордного звучания.

Возможны, конечно, случаи, когда говорящий использует позицию «он» (РЦ) как позицию «ты» (КП), но это всегда именно особый ХХХинсценировочный «прием», надстраивающийся над исходным фундаментальным различием этих позиций. У Бахтина есть анализы схожих с имеемыми здесь в виду явлений, возможных в сложно построенной романной прозе, где и КП-Я, и КП-Ты, как и РЦ-Я и чужие РЦ, отличаются от таковых в нехудожественных видах речи. Те диалогические отношения, которые устанавливаются в нехудожественной речи между точками зрения «я» и «ты», могут получить в романе дополнительную функцию и стать опосредованной другими инстанциями формой взаимоотношения с читателем. В частности, герой, т. е. «он», может замещать КП-Ты, как, напр., в синтаксической структуре речи Макара Дежушкина из «Бедных людей» Достоевского, где второй персонаж, Варенька, является адресатом эпистолярной речи Дежушкина, т. е. где герой — «он» для автора — использован как «ты» псевдочитателя (см. ППД, 274 и след.). Варенька здесь *занимает двойную точку говорения*: для Макара Дежушкина она — носитель точки говорения «ты», т. е. КП-Ты, но для действительного читателя и для имманентного адресата романа Достоевский использует ее голос в качестве чужой «Он»-точки говорения, т. е. в качестве РЦ, как и голос самого Макара Дежушкина. *Вторичная КП-Я* (аналог вторичного автора) здесь отдана в распоряжение Дежушкина, но общая «рамочная» КП-Я (и РЦ-Я) и здесь остаются за первичным автором. В непосредственно

семантическом виде в эпистолярной речи Девушкина эти первично-авторские РЦ-Я и КП-Я могут не проявляться, но и в таком случае они продолжают «действовать» — непрямо, несемантически: размещая и комбинируя четыре «не свои» точки говорения: два чужих речевых центра (Девушкина и Вареньки) и их же, но в ипостаси разыгрываемых взаимоотношений КП-Я и КП-Ты.

Есть здесь и скрытая пятая точка говорения — КП-Ты имманентного роману в целом адресата, с которым говорит не Девушкин, а Достоевский, но только «язык» этого разговора уже почти не имеет никакого отношения к языку прямой семантики и прямой тональности. Это язык «режиссерски» и «операторски» выразительных смен и монтажа частных источников смысла, частных внутритекстовых точек говорения. Автор здесь лингвистически бесплотен, он — чистый автор, тем не менее он пронизывает своей активной интенцией всю не только жанрово-композиционную, но синтаксическую, семантическую и тональную ткань текста. Все эти процессы очевидным образом схожи с гуссерлевыми описаниями различных «происшествий» с нозсами и нозмами в потоке чистого сознания — с той разницей, что они неизоморфно инсценируются здесь языком.

§ 99. Коммуникативные позиции Я и Ты в терминах феноменологии говорения. Как и РЦ, смены и наложения КП-Я и КП-Ты наглядно демонстрируют феноменологически описывавшиеся выше нозетические процессы инсценирования языком актов сознания — мы уже видели это на примере анализа эпистолярной речи Девушкина.

Но как обстоят в этом отношении дела во внехудожественной речи? И здесь смены КП инсценируют универсальные процессы в протекании актов сознания. Смены и наложения КП столь же неотмысливаемое, говорили мы, качество речи, как и смены и наложения РЦ. Как бы ни сжимать или ни расширять текст, идя на словесные стяжения или растяжки ради того, чтобы избежать явных смен РЦ и КП (а эти смены помимо прочего влияют на объем текста), не удастся избежать тех смен этих частных источников смысла,

которые связаны с синтаксическими универсалиями языка в его инсценирующей по отношению к течению актов сознания функции.

В случае с КП более наглядно, чем при смене других парных точек говорения, видно, что одной из таких неизбежных универсалий является описывавшийся выше процесс *фокусирования внимания*. Управление временной последовательностью сменяющих друг друга ФВ, их порядком *никогда не ведется исключительно и только по порядку развертывания референта или по порядку развертывания авторской мысли* (по времени излагаемого и времени повествования²⁸), оно всегда включает ту или иную оглядку на слушателя (такой оглядкой может быть и выбор именно данного смысла для позиции ФВ, и выбор для него именно этого семантического облачения, и выбор времени его длящегося пребывания в фокусе, и выбор ракурса модальности и тональности его рассмотрения и т. д.). Полные взаимные покрытия порядка излагаемого и порядка повествования можно усматривать, по-видимому, лишь относительно крупных фрагментов как результирующий общий итог «совпадения», неустранимое же влияние слушающего на порядок последовательности ФВ, не связанное напрямую ни с порядком излагаемого, ни с порядком повествования, просматривается при внимании к синтаксису фраз в его молекулярной и атомарной структуре. Относительно первых двух порядков эти связанные с оглядкой на слушателя перебивы в течении могут выступать как временные «паузы» или как временные «растяжки», или как «отклонения в сторону» от порядка излагаемого и порядка повествуемого (на процесс смен ФВ влияют, конечно, и смены РЦ, но они вторичны относительно смен коммуникативной позиции: ведь смены РЦ тоже строятся с учетом КП-Ты — «для» него, на его «глазах»).

Обращенность КП-Я к адресату, встреча с «ты» на территории «ты» — иной, *собственно коммуникативный*, тип диалогических отношений в отличие от их референциально ориентированного типа в

²⁸ См. разбор этих времен и их сложных взаимных отношений в «Фигурах» Женетта (Т. 2. С. 69 – 71 и сл.).

случае РЦ, где первичный автор встречается с «другим», как говорилось, в предмете. С этим фундаментальным отличием связана и иная направленность языковых инсценировок актов сознания в зоне КП: если в случае РЦ преобладает тенденция к сворачиванию и сращению актов сознания, то в случае КП — тенденция к *наращиванию* дополнительных актов сознания. Если в зоне РЦ увеличивается количество интенциональных объектов (за счет появления в этом качестве чужой речи), что потенциально обогащает референциальный замысел, то в зоне КП увеличивается количество нозс к тому же составу интенциональных объектов, что ведет (очередная особенность КП) к более дробным и не всегда необходимым самому первичному автору аттенциональным перемещениям — т. е. к *увеличению количества смен ФВ на «теле» одного интенционального объекта* (появления в полном смысле «нового» интенционального объекта при сменах и наложениях КП обычно не происходит). С другой стороны, установка на КП-Ты может содействовать и наращиванию явно и скрыто использованных чужих РЦ, и вообще — увеличению количества использованных точек говорения. КП-Я стремится в таких случаях «обежать» свой предмет с разных сторон (а значит, и с разных «точек говорения»), чтобы точнее высветить для Ты имеемое в виду.

Наращивание нозс тем интенсивней, чем менее искусно высказывание в инсценировке. Понятно поэтому, что с точки зрения чистой референциальной направленности речи смены и наложения КП-Я и КП-Ты, наращивающие нозсы, часто носят *избыточный* характер — в том смысле, что первичный автор выставляет при продуцировании высказывания частокол таких «оговорок», которые «ему самому» в его направленности на предмет не только «не нужны», но и «мешают». Постоянные оглядки на слушающего могут полностью дезорганизовать референциальную направленность («Подумав так, Иван Николаевич начал исправлять написанное. Вышло следующее: "Вчера вечером я пришел с М. А. Берлиозом, впоследствии покойным,..". И это не удовлетворило автора. Пришлось применить третью редакцию, а та оказалась еще хуже

первых двух: "Берлиозом, который попал под трамвай...", а здесь еще прицепился этот никому не известный композитор однофамилец, и пришлось вписывать: "не композитором"... — М. Булгаков). Во многом именно вследствие избыточности и одновременно потенциальной дезориентирующей силы чистая коммуникативность как таковая («верноподданническое» обращение первичного автора только к Ты — в ущерб предмету) часто изолируется от референциальности или ставится «ниже» ее (напр., в аналитике).

Однако демонстративное небрежение слушающим обычно ведет к тому же результату — к снижению референциальной силы речи. В пределе говорящий при исключительной нацеленности на референцирование может отказаться и от фундаментальных механизмов связного течения речи, напр., от упорядоченной смены ФВ, или, парадоксальным образом, вообще от фокусирования внимания, сохранив в высказывании структуру внутренней речи, где значимыми мыслятся одни только нозы, поскольку нозы и так внутренне «очевидны». Естественная во внутренней, во внешней речи «ноэмоктомия» приводит к перекрыванию возможности референцировать, что выявляет имплицитно всегда наличную установку референциальной направленности как таковой в том числе и на коммуникативное понимание. Можно в этом смысле сказать, что истина — категория коммуникативная.

В принципе, можно даже говорить, что референция и коммуникативность в глубине одно²⁹, но при этом, по-видимому, будет иметься в виду иная, или иная по качеству, коммуникативность, не

²⁹ Или — близко связанное: «эстетика восприятия не может исследовать проблему коммуникации безотносительно к вопросу о референции»; способность к коммуникации и способность к референции должны полагаться одновременно (Рикер П. «Время и рассказ». Т. 1. С. 95). См. также об их нераздельности/неслиянности (со ссылками на идеи Бахтина) в: Валерий Тюпа. Очерк современной нарратологии (РГГУ. Критика и семиотика. Вып. 5. М., 2002. С. 5-31): «Предмет нарратологического познания может включать в себя любые — не только художественные и даже не только вербальные — знаковые комплексы, манифестирующие неслиянность и нераздельность двух событий: референтного (некоторая история, или фабула) и коммуникативного (дискурс по поводу этой истории).»

преследующая никаких риторических и вообще прагматических целей. При максимальной степени стремления к референции без прагматической оглядки на слушающего, — это возможно и в логической речи (см. идею логики как этики коммуникации в статье о Лосеве «Эйдетический язык»), и, напр., в поэзии, где имманентная коммуникативность всякой референции проявляется в особой «точке говорения» — в бескорыстной *коалиции Я с Ты* в их общей направленности на предмет, вплоть до отказа и от Я, и от Ты в коалиционном «мы» или в нейтрализующей точке говорения «все» (см. параграф «Диапазон причастности»).

§ 100. Кто говорит, кто слушает? Мерло-Понти и Гуссерль. Последний абзац выводит на вопрос о правомерности или об интерпретации гуссерлева разведения актов выражения и актов извещения (а вместе с ним и на схожие бахтинское и лосевское различия функций становления смысла и коммуникации). Эта гуссерлева тема разворачивается в таком контексте следующим образом: приводит ли глубинная коммуникативность любого означивания к обязательному появлению при говорении второго Я как «другого» и, далее, к неразличению, как пишет М. Мерло-Понти, того, *кто слушает, и кто говорит* (феноменология говорения позволяет обнаружить, что когда я говорю или когда я понимаю, я экспериментирую с присутствием во мне другого и с моим присутствием в другом; когда я говорю, я выступаю перед самим собой в качестве «другого» другого; «*поскольку же я понимаю, я уже не знаю, кто из нас говорит, кто слушает...*»³⁰). Приводит ли многообразие «точек говорения» к тому, что Гуссерль называл «интенциональной трансгрессией», порождающей уже и чуждого «другого» и «других» — когда, в формулировке Мерло-Понти, «*я оказываюсь окруженным ими, в то время как считаю, что это я их осаждаю*» (61)?

Осажденность «другими» (аналогичными в нашей терминологии — чужим РЦ), неразличение того, «кто говорит, кто слушает» (КП-Я и

³⁰ Мерло-Понти М. В защиту философии. Выше цит. С. 64-65.

КП-Ты) — естественная органика внутренней речи в ее первых подступах к протяженной смысловой длительности завершеного сложного высказывания. В том числе и эту органику внутренних актов сознания и инсценирует высказывание в периодических сменах и наложениях РЦ и КП, но именно — инсценирует, а значит, так или иначе преодолевает: «успешное» высказывание различает до известной степени (мы отвлекаемся пока от всеобщности значений) и «свое», и «чужое», и тех, кто говорит, а кто слушает. Во внутреннем органичном «копошении» языковых актов пуповина между РЦ-Я и КП-Я может быть перерезана не до конца — как и между ними и их визави («Он»-позициями и «Ты»-позициями), но в высказывании она всегда как минимум ослаблена, и эти точки говорения занимают каждая свои позиции в смысловой мизансцене сценария высказывания. Если высказывание с этим не справляется, понимающий сделает это сам и по-своему: рассредоточение смыслов по точкам говорения, их сценарная дислокация есть для него условие понимания (*«выход к смыслу возможен только через ворота хронотопа»*, говорил Бахтин), их инсценированность есть толчок к индуцированию внутренних смысловых актов (в которых — уже индуцированных — распределенность смыслов по ролям впоследствии опять может распасться или перераспределиться «по-своему»).

Гуссерль учитывал эти условия: он отказывался от себя-извещающей функции значений не вообще во внутренней языковой жизни (такое толкование было бы «онаивниванием» феноменологии), но в момент завершающей конституирование *логической* экспликации нозмы. Логической — значит, производимой в «уже» проведенном и инсценированном языковом пространстве с обособившейся от чужих РЦ и КП-Ты и конкретно наполненной точкой я-говорения. В логической речи инсценированная специфика РЦ-Я состоит в его коалиционном сближении-слиянии с чужими РЦ, а специфика КП-Я — в самоугасании в пользу «чистой» референциальности, безотносительной к *прагматической* коммуникативности (и, соответственно, в «призыве» к самоугасанию в слушающем КП-Ты).

Гуссерлево «ниспадание» смысла через язык в локальность и временность можно понять в том числе и как распределение смыслов по оформленным по местоименному циклу точкам говорения; гуссерлевы «загадочные»³¹ слова «*трансцендентальная субъективность есть интерсубъективность*» можно понять как интриго- и сюжето-образующее сбирание и инсценирование в единое смысловое действие этих точек говорения чистым автором и/или трансцендентальным Я.

§ 101. Речевые центры, коммуникативные позиции и вторичный автор. РЦ-Я и КП-Ты, говорили мы, суть модификационные разновидности первичного автора. А как локализован среди этих или других точек говорения *автор вторичный?*

Вторичный автор здесь понимается, если говорить в общем, не дифференцированном пока плане, как «рассказчик» в художественном произведении (традиционный и одновременно классический пример — Белкин). Рассказчик — инсценированная специальная инстанции говорения, особая точка говорения. С одной стороны, это — разновидность чужого РЦ (рассказчик близок по степени объективации к персонажу и к любому чужому голосу, к «он»). С другой стороны — это и разновидность РЦ-Я: ведь рассказчик, если брать его в качестве только чужого РЦ, будет частично лишен своей законной второй половины — всегда имеющейся у чужого РЦ пары РЦ-Я. Рассказчик — *симбиоз РЦ-Я и РЦ-Он*: двуустая точка говорения. Одни уста — тематические, другие — тональные, т. е. в полном объеме голос слышим из этого симбиоза речевых центров в двух формах — тематической (семантически явленной как голос самого рассказчика в качестве обычного РЦ-Он) и тональной. Создавая вторичного автора в качестве чужого РЦ, первичный автор ополовинивает свое коррелятивное ему РЦ-Я: он отказывается от тематической составляющей своего голоса, но сохраняет за собой возможность тонального подключения к тематическому голосу РЦ-

³¹ Мерло-Понти М. Там же. С. 64.

вторичного автора, точнее — к тональному управлению им, почти доминированию.

Вторичный автор двуприроден и в другом ракурсе: по отношению к РЦ-Я первичного автора это — РЦ-Он, по отношению же к персонажам он — РЦ-Я. Ведя себя по отношению к персонажу как РЦ-Я и создавая с ним тематические и тональные двуголосые конструкции, вторичный автор вместе с тем сам подвергается тональной предикации от тематически невидимого РЦ-Я первичного автора. В таких двуголосых конструкциях, составленных из РЦ вторичного автора и РЦ персонажа, оба голоса для первичного автора чужие (подробнее о рассказчике см. в статье о дДвуголосии). Тем самым тематически молчащий первичный автор сохраняет возможность доминировать в романе и над РЦ персонажей, ведь через тональную предикацию голоса рассказчика он косвенно тонально предикцирует и голос персонажа. Рассказчик — инсценированная фигура тематического молчания первичного автора при сохранении тонального доминирования, иногда весьма жесткого.

В терминах феноменологии говорения эту дислокацию голосов можно определить как наслоение трех исходящих из разных точек говорения нозс на один нозматический состав. «Трех» — как минимум, поскольку в дело вмешиваются и КП-Ты, разные для всех трех голосов. Непрямые смыслы высекаются здесь от любого передвижения точек говорения. Во внеязыковом сознании (в чистом смысле) такая конфигурация, по-видимому, невозможна.

§ 102. Первичный и вторичный авторы на нарратологическом фоне. Понятия первичного и вторичного автора аналогичны современным типологиям нарраторов, в частности, противопоставлению недиегетического и диегетического (В. Шмид), или экстрадиегетического и интрадиегетического (Ж. Женетт), или первичного, вторичного, третичного и т. д. (Б. Ромберг) нарраторов³².

³² Подробно с этими и другими имеющимися версиями типологии нарраторов можно познакомиться по книге *Шмид В. Нарратология*. М., 2003. С. 77 – 88.

Сходство перекрывается, однако, различием. В феноменологии говорения на первый план выдвигается не само по себе разведение и типология разных видов авторов и рассказчиков, а сквозные увязывающие смысловые соотношения между чистым, первичным и вторичным автором (и персонажами) и влияние этих взаимоотношений на результирующий смысл высказывания, включая его не прямые (несемантизированные) формы. Основу для взаимокорреспондирующего и смыслопорождающего соотношения первичного и вторичного авторов дает их равное толкование как *точек говорения*, имманентно сопричастующих и перекрещивающихся в высказывании. Первичный и вторичный автор (рассказчик) находятся между собой, как мы видели, в отношениях, аналогичных соотношению речевых центров «я» и «он» в двуголосом слове — в той его модификации, которая характеризуется погашением тематической составляющей РЦ-Я при сохранности тональной. В конечной перспективе толкование первичного и вторичного авторов направлено в феноменологии говорения на выявление сложных способов создания смыслового единства высказывания при имманентном наличии в нем разнотипных и «дробно» сменяющих друг друга точек говорения, «влагаемых» друг в друга чистым автором³³. Абсолютное тематическое молчание чистого автора (входящее в само определение этого понятия) и возможность угасания тематической активности доминирующей точки говорения первичного автора свидетельствуют, с точки зрения феноменологии говорения, о неотмысливаемости тональных «механизмов» создания смыслового единства высказывания и, соответственно, о взаимозависимости тематизма и тональности (аналогичной, но не изоморфной ноэтически-ноэматической корреляции в актах сознания).

§ 103. Диапазон причастности. Третий тип точек говорения, подвергающихся внутри высказывания смещающимся пульсациям, связан с «*диапазоном причастности*» (ДП). Существо происходящих в этом случае смысловых процессов состоит в изменениях,

³³ Понимание этой функции чистого автора схоже с функциями «абстрактного автора» у В. Шмида (Нарратология. С. 76 – 77).

вызванных перманентным скольжением точки говорения по диапазону местоименной шкалы «я» — «мы» — «все» (эту линию можно продолжить до «никто», как оборотной стороны «все», — эта отдельная тема специально оговаривается ниже). Крайние полюса этой шкалы — абсолютное «я» и абсолютная всеобщность — не имеют реальных языковых форм для своего проявления, так что скольжение по диапазону причастности осуществляется между, с одной стороны, в том или ином отношении условным «я» и, с другой стороны, разными типами частично обобщаемой точки говорения (см. в этом смысле гуссерлев синтез Я и Мы и описание разных типов «мы-переживания» в его соотношении с «я-переживанием» в МФЯ, 104 и след.). «Скользят» по диапазону причастности и тем относятся к «условным 'я'», противопоставляющимся и/или в разной степени причащающимся к разнообразным типам «мы», в том числе и рассматривавшиеся выше РЦ-Я и КП-Я, т. е. обе эти я-позиции всегда содержат в себе меняющуюся «долю» мы-позиции.

Чистое «я» не может проявиться в тексте по понятным причинам: любое, включая и не реализующееся в конкретных высказываниях, языковое сознание личности есть ее внутренняя, но не суверенная территория. Во внутренние, собственно языковые процессы индивидуального сознания всегда вместе с языком проникает «другой» в его различных формах. Высказыванию это свойственно тем более. Здесь будет принята точка зрения, что *любое «мы» — тоже форма дружности*³⁴. Будучи ориентировано на определенную языковую модальность, тональность, стиль или жанр речи, каждое высказывание изначально принимает тем самым некоторую условную и всегда в той или иной степени чужую речевую маску, опирающуюся на то или иное *жанровое «мы»*, каждое из которых как точка говорения «заранее» типически заполнено модусами бытия свойственного ему «референта», языковыми модальностями (нарративной, описательной, изобразительной и др.), тональностью

³⁴ «'Я' может реализовать себя в слове, только опираясь на 'мы'» — СЖСП, 67.

(по диапазону ее осей 'смех/страх', 'экспрессия/импрессия'), способами смен и наложений ФВ, РЦ и КП.

Не исключение здесь и «нейтральная» — научная, логическая и т. д. — речь. «Все» — согласно развиваемой здесь точке зрения — *тоже форма дружности*: когда Гуссерль говорил, что всеобщность значений препятствует выражению всех «обособлений» данного конкретного переживания, он мог иметь в виду и то, что «я» всегда вынужденно преломляет свое выражение через призму «все», всегда в той или иной степени 'чуждую' (неполную, неадекватную, в чем-то излишнюю) для данного конкретного переживания. Логическая речь в этом смысле не там, где «объективное», а там, где «я» стремится к своей полной растворенной причастности к точке говорения «все». Удержаться вблизи этой точки говорения долгое время высказывание не может: реагируя на всплывающие «он»- и «ты»-позиции, оно постоянно перемещается по другим разнообразным и ограничивающим ее частным «мы»-позициям. В окружении же этих и возможных других иначе местоименно ориентированных «я»-, «он»- и «ты»-позиций *«все»-позиция* тоже начинает обрастать и наполняться специфической характерностью. «Все» — не родовая объемлющая точка говорения, а одна из разновидностей многочисленных типов «мы»; как и другие точки говорения, она жанрово, стилистически, модально и тонально обособленна и специфична (см. ниже).

Невозможность проявления чистого «я» для языкового смысла благотворна. С одной стороны, смысл состоится и в том случае, если ничего, кроме типической точки говорения «мы», в высказывании не будет. С другой стороны, осознание условности любой возможной речевой манеры позволяет говорящему «дистанцироваться» от них, точнее прочувствовать и огранить свой собственный замысел, говоря не на языке, а через язык (Бахтин), не непосредственно из точки говорения, а сквозь нее (сквозь конфигурацию и инсценировку разных точек говорения). Пробно объективируя себя в языке (примеривая различные образы первичного автора и соответствующие ему парные лики РЦ-Я, КП-Я, ДП-Я), «я» получает возможность «подлинно диалогического отношения к себе самому» (ЭСТ, 301), т. е. может

условно и безусловно ставить себя и в позицию своего слушателя, и в позицию своего оппонента, «пробуя» складывающийся смысл, и, соответственно, может корректировать его выражение.

Степень условности «я» первичного автора и его причастного включения в то или иное «мы» может существенно колебаться (от почти полностью отчужденного «все» или какой-либо максимально отодвинутой от «я» условной игровой маски — до почти непосредственной индивидуальной тональности), но никогда не сходит на нет. Даже крик боли, если он рассчитан на услышанность (несет коммуникативный импульс), сохраняет свой жанровый смысл.

Невозможность проявления абсолютного «мы» («все») не менее благотворна для языкового смысла. Чем ближе по направлению к точке «все» продвигается высказывание, тем меньше утончающих смысл языковых возможностей используется; отношения между «я», «он», «ты» и «мы», модальные и тональные наполнения угасают, язык модифицируется, приближаясь к системе простых индексов, причем не по типу логической или математической символики, а скорее по типу системы дорожных знаков (разработанная логическая или математическая символика лишь по замыслу, т. е. по имманентной модально-тональной организации, может считаться все-позицией; в действительности это частная «мы»-позиция, весьма ограниченная при этом по «кругу избранных»).

§ 104. Разновидности «мы»-позиций. Можно выделить несколько типов «мы». Оформляя свое высказывание по канонам того или иного жанра, говорящий задает тем самым *рамочный* тип «мы». Он будет стабильным ориентиром для всех других используемых в высказывании вариантов мы-позиций, вместе с тем «Я»-позиция сохраняет относительную свободу передвижения в этом рамочном жанровом «мы». Характерный рисунок пульсирующих и подвижных отношений между «я»-позицией первичного автора и рамочным «мы» принадлежит к фундаментальным показателям специфики каждой языковой модальности и тональности, каждого жанра и стиля речи — и каждого конкретного высказывания, всегда это «мы» индивидуально модифицирующего. Сменам такое рамочное, в широком смысле

жанровое, «мы» подвергается преимущественно в составе вторичных сложных жанров, прежде всего в романе (как «энциклопедии жанров»). Внутри же одножанрового высказывания сменам поддаются другие — частные, нерамочные виды причастного «мы».

Прежде всего — те, которые образуются за счет модификации речевых центров и коммуникативных позиций. РЦ-Я, который сменяется на чужие речевые центры, может вступить с одним из своих оппонентов во временный союз и образовать *коалиционное «мы» речевых центров* высказывания (РЦ-Мы), сохраняющее или увеличивающее дистанцию по отношению к КП-Ты, насыщающее отношения с «ты» новыми смысловыми нюансами. Для слушающего в таком случае снимается порождающее дополнительные смыслы напряжение между РЦ-Я и этим вовлеченным в коалицию чужим речевым центром, но возникает дополнительное напряжение по отношению к этой новой, возможно, агрессивной к нему (или во всяком случае — с чем-либо к нему обращаемой) точке говорения. В дальнейшем такое коалиционное «мы» может либо опять распасться, либо влиться в базовое рамочное «мы» высказывания, перестав тем самым подаваться и пониматься как речевой центр и обратившись в ДП-Я. Временную (не влившуюся в рамочное «мы») коалицию РЦ-Я с чужим речевым центром можно поэтому квалифицировать как *однонаправленную* разновидность двуголосого слова в его бахтинском понимании³⁵.

Аналогичные процессы возможны и в зоне коммуникативной позиции: КП-Я тоже может коалиционно слиться с КП-Ты, создав третий вид причастного «мы» — *коалиционное «мы» говорящего со слушающим*, противопоставленное чужим речевым центрам (иногда и рамочному «мы»). Коалиции «я» либо с «другим» против «ты», либо с «ты» против «другого» — это внутритекстовые, временные «мы», меняющие на протяжении высказывания напряжение текста по

³⁵ В одних случаях двуголосая синтаксическая конструкция, как описано в ППД, содержит в себе два *разнонаправленных* голоса, т. е. РЦ-Я так или иначе противопоставляет себя звучащему здесь же чужому голосу, в других случаях можно говорить об *однонаправленном* двуголосии. Согласие — это тоже диалогическая позиция (ЭСТ, 300).

диапазону причастности и в разной мере контрастирующие с рамочным жанровым «мы». Там, где временная коалиция местоименных позиций отвечает смысловому замыслу говорящего, его, в частности, референциальной интенции, коалиционные «мы» постепенно адаптируются и угасают вплоть до включения их в рамочное «мы»; там, где коалиция была направлена на временный, коммуникативный или риторический, эффект, говорящий через необходимое время сигнализирует слушающему о распаде коалиции.

Отдельным видом мы-позиции является широкое *коалиционное «мы», объединяющее я, он и ты*³⁶, которое движется по направлению ко «все», но реально останавливается на позиции того или иного жанрового «мы». Жанровые «мы» тоже неоднородны в этом отношении: в одних случаях жанровое «мы» предполагает фундаментальное, преднаходимое и искомое, единство «я», «он» и «ты» (например, в академических научных жанрах, в позиции «все» логической речи и — в иной модальности — в поэзии), в других случаях оно предполагает преднаходимый и искомый союз «я» и «ты» против «другого» (полемические жанры) или союз «я» и «другого» против «ты» (догматические жанры). Никакая широкая коалиция точек говорения («мы» как союз я, он, ты) не может выйти ко «все» и потому, что жанровые «мы» различны, и по другим причинам, в частности, по причине своей референциальной установки на различные языковые модальности — наррацию, описание, изображение и др.: здесь можно было мыслить нечто вроде «все рассказывающие» (и все воспринимающие высказывание в качестве именно рассказа), «все описывающие», «все мыслящие логически» и т. д., но никогда не просто «все» говорящие — и мыслящие — в абсолютном смысле. Это также разновидности «мы» — *модальные*.

Модальные параметры влияют также на внутритекстовые колебания высказывания по диапазону причастности, которые

³⁶ См. в СЖСП, 80 разделение инклюзивных и эксклюзивных форм: инклюзивные (включающие) формы — тогда, когда говорящий, направляя смысл от «мы», имеет в виду и слушающего, включает и его в это «мы» (коалиция с КП-Ты); эксклюзивные (исключительные) — когда говорящий под «мы» имеет в виду только себя и другого.

происходят параллельно с изменением конкретной синтаксической модальности составляющих высказывание предложений и их частей. К номенклатуре собственно синтаксических средств движения высказывания по диапазону причастности относятся чередование наклонений (восклицательные, вопросительные, изъянительные), смена личных, неопределенно-личных и безличных предложений, чередование предложений констатации, оценки, бытийных и т. д. Степень обобщенности «мы», степень включенности «я», «ты» или «другого» в «мы» различны для всех этих синтаксических конструкций. Сменяя модально-синтаксические формы речи, говорящий может менять и степень причастности этих «местоименных» точек говорения к активизируемому здесь и сейчас источнику смысла (точке говорения). Так, при включении в речь «эгоцентрических слов» и «эгоцентрических грамматических форм» диапазон причастности сужается до максимально возможного в каждом данном жанровом «мы» уплотнения «я». При безличных конструкциях диапазон причастности расширяется до максимально возможного в данном жанровом «мы» обобщения, когда все моменты смысла, связанные с условностями данного ракурса изложения, как бы выводятся из игры и в силе оставляется установка на полную тождественность слова и воспроизводимого с его помощью смысла — тем не менее и здесь позиция «все» недостижима. В общем случае здесь используется точка говорения *«все описывающие»*, помнящая о других модальных типах «все»-позиции и им противостоящая.

Особо стоит, конечно, вопрос о *соотношении рамочных (жанровых) и модальных «мы» с чистым и первичным авторами*. Понимание этих соотношений зависит от исходных постулатов. Входить в эту тему в ее реальном объеме здесь не приходится (см. один из возможных подходов в статье о двуголосии), скажем лишь общие слова, относящиеся к проблеме диапазона причастности. Чистый автор применяет позицию рамочного и/или модального «мы», пользуясь ею оговорочно и сам оставаясь — согласно принятой нами обостренной версии — «молчащим» («немым»). Что касается первичного автора (точки говорения, из которой формально исходит

речь — будь то РЦ-Я, КП-Я или лирический герой в поэзии, который тоже может быть понят как первичный автор), то он во многом предопределен жанровым «мы», т. е. он сам несет в себе энергию базового «мы». Но и между первичным автором и жанровым «мы» тоже возможны колебания в разных фрагментах высказывания по степени их причастности к «я»- или «мы»-позиции. Применительно к лирике возможно частное толкование этих колебаний как связанных с изменением в степени причастности лирического «я» к тому или иному фрагменту стихотворения, которое в целом освещается рамочным «мы» лирики (степень причастности лирического «я» к акту оценки можно, напр., рассматривать как более высокую, чем степень причастности лирического «я» к констатации, больше опирающейся на базовое лирическое «мы»³⁷). Переходы от ослабленных, с точки зрения причастности лирического «я», фрагментов текста к усиленным и наоборот, меняющие сферу влияния базового «мы», приводят к *пульсации* текста по диапазону причастности³⁸. В моменты этих переходов стихотворение «испускает» дополнительные — семантически невыраженные (непрямые) — смыслы, порождаемые и этими переходами, и связанными с ними другими смещениями, в частности, модальными. См., напр., передвижение от самовысказывания, активизирующего я-позицию, к наррации и затем к описательной констатации (сентенции), активизирующей рамочное

³⁷ См. об этом в: Гришина Е. А. Структура поэтического текста с точки зрения теории речевых актов. АКД. М., 1989. С. 16.

³⁸ Ср. схожую идею пульсации «я», отмеченную с иначе обоснованных исходных позиций, в статье Жолковского А. К. «Инфинитивное письмо: тропы и сюжеты»: «Модально-альтернативное мерцание лирического “я”, “человека вообще” и более или менее конкретного “другого” задает некий метафоризм первой степени, каковой может далее наращиваться, например, приписыванием неопределенному субъекту “чужих” характеристик; так, у Блока (‘Грешить бесстыдно, непробудно...’) вслед за по-декадентски двусмысленным “своим” грешить появляются явно “чужие” предикаты вроде ‘обмерить и переслюнив купоны... в тяжелом завалиться сне’, идентифицирующие типового “русского обывателя”». Жолковским, по-видимому, подразумевается иной модус причастности и пульсации лирического «я»: не по вектору я/мы, а по вектору я/он (т. е. ближе к идее РЦ). Исключено ли, однако, прочтение этого блоковского стихотворения по вектору я/мы? Чужесть он-другости в нем, несомненно, ощутима, но это можно понять и как чужесть «мы»-другости при отдаляющейся, сопротивляющейся ей — как здесь — я-позиции.

лирическое «мы»: *«Я слово позабыл, что я хотел сказать. / Слепая ласточка в чертог теней вернется / На крыльях срезанных, с прозрачными играть. / В беспомыслии ночная песнь поется».* (Мандельштам).

Описанные выше особенности передвижения высказывания по диапазону причастности к «мы»-позиции опознаваемы — как и в случае всех других частных разновидностей точек говорения — в качестве языковых инсценировок ноэтических процессов, происходящих в актах сознания. Если давать какие-то общие характеристики, то передвижения высказывания между позициями «я» и «мы» сокращают — как и смены РЦ — состав актов, но делают это более радикально, поскольку мы-позиция только в специальных случаях транспонируется из подразумеваемой ноэтической ситуации в референцируемую зону, требующую отдельного семантического облачения (а значит и дополнительных актов говорения). В случае прямого диалога с тем или иным «мы», в которое «я» себя не включает (напр., в пародии на жанр и его «мы»-позицию), это «мы» функционирует как чужой РЦ (как «они»). Более детальное освещение этой темы предполагает предварительные штудии чисто феноменологического синтеза Я и Мы. Скажем лишь, что, по-видимому, в этой зоне могут получить прописку такие сложные и острые темы, как точка говорения «никто», как проблема «анонимных» высказываний, как тема «смерти» автора (к последней теме мы еще вернемся).

§ 105. Диапазон тональности. Тональность в ее особом понимании в рамках феноменологии говорения подробно рассматривалась вышеранее. В общем смысле тональность определялась выше как общая эмоционально-волевая и модальная настроенность (структура) сознания, влияющая на последовательность актов переживания. Соответственно и в языке, как уже говорилось, имеются свои инсценированные формы тональной структуры сознания, а значит — опосредованно — имеются аналогичные свойства и у высказывания как инсценированного переживания сознания. В качестве особенного качества тональности

сознания описывалось то, что, определяясь в своем исходном смысле трансцендентальным кругозором внутреннего переживания, функционально и по наполнению она вместе с тем зависит от своих нозем и трансцендентных «объектов» *и даже может переходить на них, становясь их качеством или свойством.*

Вот это последнее отличительно-особенное свойство тональности — ее внедряемость в предмет — и формирует тот процесс, который подразумевается здесь под передвижением точки говорения по шкале тональности. Пульсация высказывания по диапазону тональности отражает подвижность отношения «я» к «это» как к предмету речи, формы и степени влияния «я» на свой предмет (ведь «выходя» вовне себя — на объект и «предмет речи», сознание, с одной стороны, в некоторой мере предопределяет своей исходной тональностью то, в каком облике предстанет перед ним этот объект, с другой стороны — наделяет и сам предмет тональностью; а значит — меняет модус его бытия).

Вместе с тем позиция «это» толкуется здесь шире традиционного 'предмета речи'. В феноменологии говорения «это» берется как транскрипция всего, что может помещаться в референциальную зону высказывания: кроме предмета речи, вобравшего в себя излучения тональности сознания, это может быть и чужой он-голос (РЦ), поставленный в позицию ФВ, и переведенная в ту же позицию КП-Ты, и ретенциальное или протенциальное Я, и разного типа «мы».

§ 106. Тональная метафора. В терминах феноменологии говорения можно сказать, что тональность чисто нозтическое явление: тональность — всегда нозса по отношению к нозме (семантически явленная или не явленная нозса по отношению к семантически явленной или не явленной нозме). Получить семантическую явленность тональность может, напр., в атрибуте или предикате (*Тайна, о братья, нежна...*); различные варианты семантически неявленной тональности тоже уже затрагивались выше (напр., через интонацию или тональную предикацию в двуголосии). Будучи нозсами, тональности часто *опущены* или *нарощены* поверх

семантики, особенно значимым образом — в поэзии. См. сложный случай совмещения опущенной нозмы и нарощенных на нее нескольких тональностей у Мандельштама: *‘Все не о том прозрачная твердит, / Все ласточка, подружка, Антигона...’* В первой строке опущена некая нозма (вопрос о ее восстановимости — сложен и непринципиален здесь для нас) и выражена скрытая тональная к ней нозса (*все не о том прозрачная твердит* — это не наррация и не описание, а именно — тональная оценка), на которую во второй строке нанизываются еще три тональные нозсы, формально облаченные при этом в *нозматический* семантический облик (*‘Все ласточка, подружка, Антигона’*), из которого можно извлечь «смысловую интенцию» этих нозс. В своей скрещенной совокупности все эти частично явленные в своем смысле легким касанием семантики тональные нозсы непрямо «референцируют» тем самым опущенный предмет речи, внедряясь в него непосредственно или создавая вокруг него тональный ореол.

Как можно оценить такое с точки зрения тропологии? Это можно было бы, как кажется, назвать «*тональной метафорой*» (по аналогии с описанной в СЖСП «интонационной метафорой» — 71) или, возможно, «тональным символом» (ведь нозма остается непосредственно не явленной — как в ивановских антиномических конструкциях). Непрямой (внесловесный) смысл такого рода метафор и символов в «перегруппировке ценностей» (СЖСП, 85), в терминах же феноменологии говорения — в переконфигурации и наложении тональных нозс, рождающих не прямое восприятие предмета речи при его формально-семантическом опущении. Это именно — троп (или символ), т. е. отношение языка к «предмету», выраженное разными тональными нозсами, а не конфигурация разных точек говорения относительно одного предмета, которая в большей степени выражает иное — не «предмет», а соотношение этих совмещенных и скрещенных точек говорения между собой. В тональной метафоре не перебой разных оценок одного и того же из разных точек говорения (как, напр., в иронии — СЖСП, 82), а перебой тональностей, исходящих из одной точки говорения.

§ 107. Взаимозависимость тональности и тематизма.

Тональность, конечно, значима, как это видно по толкованию иронии, и в сфере скрещения различных точек говорения, так что можно говорить наряду с тропологической и о другой — эгологической — стороне: о связи тональности с точкой говорения и о гипотетически утверждаемой нами значимости этой связи не только для поэтического, но и для нозматического смысла высказывания. Точка говорения есть, по определению, характерологически заполненная позиция, характерологическая же заполненность точки говорения в свою очередь предопределяет ту или иную тональность отношения к предмету. И здесь значимость тональности может достигать максимальной степени: есть основания полагать, что, с феноменологической точки зрения, *тональность до некоторой степени способна определять тематический (семантический) состав речи*, влияя тем самым на формирование самого предмета речи и во многом на строение высказывания о нем. В большинстве случаев эта максимально значимая тональность при этом не высказывается (СЖСП, 80), т. е. *не вводится в семантическую ткань высказывания*.

Как конкретно это может происходить? Влияние тональности на семантически-тематическую сторону речи может осуществляться, напр., через типовые мы-позиции. Поскольку говорить непосредственно от себя «я» не может и говорящий всегда избирает какое-либо *жанровое рамочное «мы»*, избранная им исходная точка говорения всегда так или иначе заранее характерологически заполнена. Поэтому для каждого говорящего выбранной — ихз состава предданных — точкой говорения предопределена в том числе и подразумеваемая жанровая тональность отношения к предмету; как преднайденная же в точке говорения тональность в свою очередь влияет на становление тематической стороны речи, т. е. на, казалось бы, «свободный» выбор ее семантического облика, а тем самым и на способ как-данности самого предмета (его профиль, рельеф, перспективу, ракурс), на способ представленности в речи ее предмета. Перебирая разные возможные семантические облики для

выражаемого смысла и выбирая один из них, «я» ориентируется не только на сам предмет (ориентированность только на сам предмет не может привести к одному имени, но всегда — к появлению разных, в определенном наборе совспыхивающих, семантических возможностей), но и на «мы» уже выбранного (или оспариваемого, или параллельного и т. д.) жанра — на то, чтобы избранный способ тематизации предмета не вышел за рамки тональности избранного в данном случае типа «мы».

Если зависимость тематизации предмета от других свойственных каждому типу «мы» компонентов общей «подразумеваемой ноэтической ситуации» (от «горизонта» акта, а значит, и от «окружения» предмета, от способа видеть и понимать видимое) представляется убедительной, то зависимость тематизации от тональности может показаться, на первый взгляд, малозначительной. Однако дело идет не о выборе между 'хорошим' и 'лучшим', а о выборе между 'хорошим' и 'плохим', 'высоким' и 'низким', 'хвалой' или 'бранью', 'смехом' или 'серьезностью' (или 'страхом'). И тогда мыслимое как «одно и то же» предстанет в одном жанровом «мы» в соответствии с его подразумеваемой, имплицитной и обычно не высказываемой тональностью и оценкой как «смерть», в другом — как «жизнь». Или — как то же слово, но иначе переакцентированное: в одной жанровой тональности романтизм или символизм 'значат' нечто 'высокое', в другом — нечто 'заслуживающее иронического отношения'; в одном типе «мы» 'предикативный акт' значит 'универсалия', в другом 'частное свойство', в третьем — 'причина метафизичности мышления' и т. д. Тематизм здесь фундирован тональностью и оценкой, а значит, в определенной степени подразумеваемая неэксплицируемая тональность, т. е. элемент непрямого смысла, способна влиять на становление мысли и на тематизацию смысла высказывания. Избежать влияния тональных ноэс практически невозможно, поскольку и «нейтральность» превращается в таком контексте в одну из разновидностей тональности. Каждое языковое сознание всегда так или иначе тонально организовано: эта организованность определяется

активными в нем (авторитетными или перманентно оспариваемыми) типами «мы» и иерархическим саморасположением «я» относительно этих типов «мы». Конечно, «я» не безвыходно заперто в темнице какого-либо одного «мы», оно может менять их даже в пределах одного высказывания, пульсирующего в этом случае по диапазону мы-тональности. Однако дифференциация, утончение и уточнение смысловых нюансов («богатый смысл») в большей степени возможны в случае как можно более полной включенности «я» в «мы» или в «содружество» разных «мы», *т. е. там, где язык принципиально не прямой* — где нет необходимости выводить на семантическую поверхность из общего ноэтического кругозора и окружения подразумеваемые пласты тональности, оценок, способов и ракурсов видения и — даже — некоторые тематические пласты (где не нужно реконструировать опущенные ноэсы и ноэмы). Как только «я» начинает чувствовать оковы «мы» — оковы связанного с этим «мы» «ноэтического языка» и подразумеваемых ноэтических ситуаций сознания, как только оно начинает стремиться к выходу за его ноэтические ограды, заполняющие и ограняющие строящееся высказывание привносимым «не своим» для говорящего смыслом, оно вынужденно отворачивается от предмета и начинает семантически эксплицировать и перебарывать нормально несказываемое и подразумеваемое, растрачивая энергию фразы на эту ориентированную больше на «ты», чем на предмет, переоценку и перетематизацию. Предмет в таких случаях теряет дифференцированность и тонкость обработки, становится объектным, неповоротливым и непрозрачным.

Вместе с тем ни один цельный ноэтический язык, опирающийся на разработанное «мы», не может полностью удовлетворить сознание; само их разнообразие, которого трудно избежать, приводит к тому, что на каждый ложится объектная тень от других языков. Бахтин видел выход из этого положения в том, чтобы взаимоизображать языки и стоящие за ними типические мы-позиции в полифоническом дискурсе и выходить на «предмет» *сквозь* это взаимоизображение. Как бы ни оценивать реальность возможности

прорыва к предмету таким «откровенно» оговорочным способом, в любом другом случае выход на предмет — в условиях интенциональной расхищенности разными ноэтическими языками семантики, синтаксиса, тональностей, оценок, способов и ракурсов видения — всегда также оказывается «непрямым», и только в лучшем случае это будет осознанная, а не темно-гибридная речь.

§ 108. Тональные смены по тематическим основаниям и тематические смены по тональным основаниям. Если брать за крайние полюса тональности (как это предложено в статье о бахтинском двуголосии) смех и серьезность (или, возможно, смех и страх), то можно говорить об особом типе смен — о смене тональностей, в том числе о смене полюсов тональностей в одной фразе (бахтинский пример: *«Смерть тебе, синьор отец!»*). Мы назвали это «тональной сменой по тематическим основаниям» — потому, что смена тональности вызывается в таких случаях стремлением тонально переосмыслить значимость предмета (в приведенном примере — тенденция к снижению высокого). Возможна и тематическая смена по тональным основаниям, т. е. случаи, когда, напр., строго выдерживаемая однотональность высказывания (обычно свойственная не заигрывающей с прозой поэзии) диктует семантически «неожиданную», но тонально строго определенную тематизацию (семантизацию) смысла — как в «прославляющей» поэзии Вяч. Иванова: *«умереть — знай — жизнь благословить...»* (2, 422).

4. 3. ТОЧКА ГОВОРЕНИЯ, ОЖИВЛЕННЫЙ ПРЕДМЕТ РЕЧИ И ИНСЦЕНИРОВАННАЯ «СМЕРТЬ АВТОРА».

§ 109. Предмет речи как свернутая точка говорения. В порядке предварительных набросков коснемся того возможного направления развития эгологической темы, в котором и сам предмет речи тоже может мыслиться как своеобразная точка говорения. В качестве общей философемы эта идея имеет долгую историю, но — без

специально языкового наполнения³⁹. Впрочем, и в ее языковом понимании в этой идее нет, собственно говоря, ничего экстравагантного — если иметь в виду, что значительная доля высказываний направлена на чужую речь. Даже при отсутствии прямой ссылки на чужую речь многие используемые слова, напр., термины, являются аббревиатурами чужой позиции (овеществленным чужим смыслом) и как таковые обладают энергией точки говорения, способной порождать смыслы. Это и значит, что предметом речи является в таких случаях именно «точка говорения» — речевой центр «он» во всех его модификациях. Могут стать предметом в этом смысле и другие точки говорения — «ты», «мы», а в «самовысказывании» предметом речи может стать точка говорения «я». Во всяком случае для феноменологии говорения в ее эгологическом контексте возможность толкования предмета речи как точки говорения не требует никаких резких концептуальных сломов или терминологических смещений.

Могут ли и каким образом быть поняты в качестве точки говорения другие типы предметов речи, в частности, предмет как референт? Известна версия, что для мифологического сознания *олицетворение* предмета — обычный и даже доминирующий способ к нему отношения. Но такого же рода элементы персонификации есть и в других типах речи, напр., в бытовых оценочно-тональных высказываниях: так, в высказывании «*Дождь!*» при взгляде за окно элемент укоризны относится именно к предмету речи, а не, скажем, к «ты» собеседника. В бахтинском кругу заостряли эту идею, говоря, что вообще любое называемое, изображаемое, рассказываемое

³⁹ В частности, Э. Кассирер толковал в этом направлении дискурсивную модальность: и при созерцании (т. е. и при феноменологической установке), говорит неокантиански настроенный Кассирер, дискурсивный характер мышления остается живым и действенным. *«Ибо предмет не останавливается перед созерцанием просто в своей индивидуальной определенности и индивидуальной особенности, а начинает двигаться перед ним. Он не представляет собой простой «образ», а развертывается в ряд образов и их полноту...»*. В поддержку Кассирер приводит слова Гете: *«Я не успокаиваюсь, пока не найду определенную точку, из которой можно многое вывести или, вернее, которая добровольно выводит из себя многое и передает мне»*. (Кассирер Э. Избранное. Индивид и космос. М.-СПб., 2000. С. 344).

событие имеет своего «героя» (носителя), *«назван он или нет»* (СЖСП, 78); исходная феноменологическая формула «высказывание — о чем» постепенно трансформируется в бахтинской полифонической концепции в формулу «высказывание — о ком».

Для высказывания иметь «героя», быть «о ком» — значит так или иначе подразумевать за ним некую «спящую», редуцированную, зародышевую точку говорения. Высказывание всегда должно быть готовым к тому, что любой его референт может «проснуться» и «заговорить» (оказаться точкой говорения). Лотман, в частности, отмечает, что в пушкинском строчках — *‘Так ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, / Голодный лев следит оленя бег пахучий’* — *«для выражений «ноздри пыльные» и «бег пахучий» нельзя подобрать единой точки зрения; первая будет иметь субъектом человека, наблюдающего льва, вторая — самого льва, поскольку человек не способен воспринимать след оленя как обладающий запахом, тем более резким («пахучий»)»*⁴⁰. В терминологии феноменологии говорения — здесь нельзя подобрать не столько единой точки зрения, сколько *«единой точки говорения»*: эпитет «пахучий» подан из условной точки говорения «льва», т. е. непосредственного предмета речи — «проснувшегося» и заговорившего. То, что Лотман называет здесь же далее *«рассеянным субъектом, состоящим из различных центров, отношения между которыми создают дополнительные художественные смыслы»*, в терминах феноменологии говорения можно назвать чередованием и взаимоналожением разных имманентных высказыванию точек говорения, в том числе точек говорения предмета, создающих дополнительные «непрямые смыслы». Ситуацию не сильно меняет то возможное толкование, что «пахучесть» чувственно воспринимается львом, а само слово «пахучий» произносится из некой другой точки говорения: ведь в любом случае возможность второго все равно фундируется первым,

⁴⁰ Лотман Ю. М. Художественная структура «Евгения Онегина». — Труды по русской и славянской филологии. IX: Литературоведение / Отв. ред. Б. Ф. Егоров. Тарту, 1966. (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 184). С. 5–32.

так что слово «пахучий» можно в крайнем случае понять как «косвенную» или «двуголосую» передачу «речи» (оценки) льва.

В общем плане можно, по-видимому, полагать, что как только нечто становится *предметом речи*, получающим эксплицированное наименование, оно становится и потенциальной чужой точкой говорения, способной «диалогически» соотноситься с такими же дремлющими в тексте чужими РЦ (Федин: *«Цветухин и Мефодий шли навстречу Пастухову, покачивая головами, как будто говоря без слов, что вот ты и покидаешь нас, изменщик, а мы должны оставаться и завидовать твоему счастью»*). Может потенциальная точка говорения предмета соотноситься и с «авторским голосом». Так, назвав стихотворение «Сказка о Козе», Бунин сразу же активизирует свернутую в этом названии точку говорения, чередуя по мере движения стихотворения этот чужой речевой центр (РЦ «Козы») со своим:

«Это волчьи глаза или звезды – в стволах на краю перелеска? (РЦ «Козы») / Полночь, поздняя осень, мороз. (РЦ-Я) / Голый дуб надо мной весь трепещет от звездного блеска, (РЦ «Козы») / Под ногою сухое хрустит серебро. (РЦ «Козы») / Затвердели, как камень, тропинки, за лето набитые. (РЦ «Козы») / Ты одна, ты одна, страшной сказки осенней Коза! (РЦ-Я) / Расцветают, горят на железном морозе несытые / Волчьи, божьи глаза. (РЦ-Я или — интереснее — коалиционное «мы» РЦ-Я и РЦ «Козы»). Это — инсценированный «диалог с предметом», вставленный в тональную оправу авторского голоса.

Идею предмета речи как свернутой точки говорения можно усмотреть и в глубине тезиса о всеобщности значений: даже при понимании и использовании в соответствующих типах высказываний значений в качестве «нейтрально общих», вместе с каждым наименованием за именованным предметом встает («маячит») в таких случаях точка говорения «все», на которую я-точка говорения (соотнесенная со «все» по диапазону причастности) не может не направлять тематический или только тональный референциальный луч. С такой, всегда дремлющей 'около' или 'за' названным

предметом речи точкой говорения можно вступать в столь же сложные и разнонаправленные «диалогические» отношения, как с любой отчетливо выявленной точкой говорения «он», «ты» или «мы».

§ 110. Предмет речи как свернутая точка говорения и лосевский концепт «эйдетического языка». Лосевский концепт «эйдетического языка»⁴¹ тоже может быть проинтерпретирован как ведущий к этой же идее, причем более радикализованной. Если в предшествующем параграфе мы придерживались мягкой версии описываемой гипотезы, говоря, что свернутой точкой говорения нечто становится с момента его именованя, т. е. в момент его трансформации в предмет речи, то в лосевской концепции сразу же «говорящими» на эйдетическом языке (т. е. исходящими из некоей трансцендентной сознанию точки говорения) считаются и «еще» не названные, и в принципе «неименуемые» на естественном языке (априорные) смыслы, усматриваемые вне и до всякого применения к ним естественного языка. Назвать такой смысл на естественном языке — уже значит вступить с ним «в диалог» (обратиться из другой точки говорения, каковой — в таком случае — оказывается уже и сам естественный язык в целом). Отсюда — саморазвитие и самодвижение смысла в дискурсивной модальности аналитической и диалектической речи понималось Лосевым как череда ответных реплик на развивающиеся при их умственном созерцании высказывания эйдетического языка; эти ответные реплики могут быть и конкурентным наименованием, и вопросом, и несогласием, и от себя предлагаемым развитием и т. д. (тайна языка, говорит Лосев в ФИ, — именно «в общении с предметом»).

§ 111. Предмет как свернутая точка говорения, Гуссерль и Рикер. Ничего экзотичного, украшательски метафоричного или непременно метафизического в идее именованного предмета речи как дремлющей и способной просыпаться точки говорения нет — ведь всякое именование предполагает занятие конкретной точки говорения, всегда заранее определенным образом заполненной, и

⁴¹ См. в наст. сб. статью «Эйдетический язык».

потому наделяет аналогичными свойствами референцируемую из занятой точки говорения точку-визави.

Если выражать эту идею в принятой сегодня манере разговора на эти темы, то можно получить общеизвестную и широко принятую максиму: гуссерлев акт эксплицирующего выражения-наименования — как и любой языковой акт — есть акт извещения в форме самоизвещения (когда не ясно, кто слушает, а кто говорит, когда язык становится формой смыслового я-самоотношения). Однако понятие *самоизвещения через именование предмета* акцентирует, как представляется, одну сторону этого явления, предлагаемое же здесь понимание предмета речи как свернутой точки говорения — другую. В первом случае речь идет о саморасщеплении «я» на я-говорящее и я-слушающее, во втором случае — о появлении при любом акте номинации даже «в одиночестве душевной жизни» чужой относительно «чистого я» точки говорения (язык всегда — чужой, уже потому — что всеобщий). Ведь и первичный автор, и РЦ-Я, и КП-Ты (как модификационные формы первичного автора) суть для молчащего чистого автора в определенной мере «чужие» точки говорения, «чужие» — уже тем, что «отчуждены» от него, дистанцированы и условны.

Вовлеченность интенционального объекта высказывания во взаимоотношения между разными типами точек говорения в высказывании предполагается (в иной терминологии) многими авторами, причем такое понимание упрочивается тем сильнее, чем сложнее структура имеющегося в виду интенционального объекта, как, напр., структура предмета историографии — 'истории', которая тоже толкуется многими как «говорящий» референт (как некая совокупность точек говорения: история как история «говорящих» документов эпохи — писем, циркуляров и т. д.). По всей видимости, в схожем смысле П. Рикер говорит о необходимости опять «отвоевать референциальное измерение» у «структуралистской ортодоксии», выключившей восприятие знака из отношения к референту⁴², сближая

⁴² Рикер П. Память, история, забвение. М., 2004. С. 346.

с этой целью референт историографии с письмом (письменный текст — говорящий референт, «вещь», имплицитно содержащая точки говорения). Историографическую операцию «ошибочно, — пишет Рикер, — определяют как писание истории... История — вся письмо» (329). Это можно понять как «историографическую модификацию» предмета речи как точки говорения. То же движение по направлению к сближению точки говорения и предмета характерно и для рикеровского понимания метафоры, которая, по Рикеру, есть «*модальность референциальности в точке смыкания «видеть как» <аналог свернутой точки говорения> и 'быть как'*» (347)⁴³.

§ 112. Особенности свернутой точки говорения предмета речи относительно других типов точек говорения. Вместе с тем свернутая или дремлющая точка говорения предмета — точка «это» — не может не обладать, по-видимому, некоторой особостью среди точек говорения я, он, ты, мы, все и т. д. Искать и формулировать эту особость можно в разных направлениях — в зависимости от принятого семантически-терминологического облачения самой идеи. Как одно из перспективных возможных направлений толкования этой особости Бахтин, напр., мыслил сопоставление этой темы с традиционными учениями о возвышенном, низком, прекрасном и т. д. Действительно: понимание предмета как дремлющей точки говорения концептуально соответствует содержащимся в этих традиционных учениях и утверждавшимся Бахтиным иерархически-ценностным отношениям

⁴³ Авторы, стремящиеся преодолеть «метафоричность» кантианства, связанную, по такой оценке, с категорией трансцендентального субъекта, а значит — стремящиеся, как казалось бы, и к снижению в языке значимости актовой и интенциональной стороны (а с ними — и точки говорения), тоже тем не менее склонны сближать исторический референт с языком, но не в его актовой, как у Рикера и как предлагается и здесь, а в его «готовой» ипостаси — как вещи-«текста»: «*Существующее различие между языком и действительностью, таким образом, теряет свое *raison d'etre*... научный язык больше не «зеркало природы», но в той же мере часть самой реальности... Язык, как он используется в науке, есть вещь... вещи в реальности приобретают «языкоподобную» природу <!>... и Х. Уайт, и Рикер... любят говорить, что прошлая реальность должна быть рассмотрена как текст, написанный на иностранном языке с теми же самыми лексическими, грамматическими, синтаксическими и семантическими измерениями, как и любой другой текст». (Анкерсмит Ф. Р. Взлет и падение метафоры... С. 326).*

«я» к предмету своей речи (как к «равному», стоящему «выше» или «ниже»). Такие иерархические отношения лежат, по мысли Бахтина, в традиционном разделении речей с 'высоким', 'низким' или 'нейтральным' содержанием. Во всяком случае иерархически-ценностное отношение точки говорения «я» просто к «предмету» своей речи (к 'дождю') понятно — если понятно — менее, чем иерархическое отношение одной точки говорения к другой точке говорения, хотя бы и только потенциальной.

Через иерархически-ценностное отношение точки говорения к ее предмету (но, конечно, не только через это) во многом можно было бы определять имплицитную заданную *тональность* жанровых «мы» по отношению к тому содержанию, на охват, выражение или референцию которого органично направлен каждый данный жанр. Для феноменологии непрямого говорения это принесло бы дополнительные плоды: поскольку имплицитная иерархическая тональность жанровой точки говорения по отношению к своему предмету речи обычно, как уже говорилось, входит в подразумеваемую поэтическую ситуацию и потому не выводится на семантическую поверхность речи, она во многом определяет не только явленный основной тон высказывания, но и его не прямые смыслы.

§ 113. Неотмысливаемость точек говорения в языковом сознании и в любом типе высказываний. Типологическое разнообразие точек говорения и происходящих с ними конфигурационных преобразований можно оценивать как свидетельство в пользу идеи об универсальности наличия, как минимум, двух «точек говорения» в любом и каждом высказывании (точки говорения в зонах РЦ, КП и ДП всегда парные: «я — он», «я — ты», «я — мы»), в действительности же — всегда большего их количества (тем более, если предмет также считать свернутой точкой говорения).

Их природа не субъективна: точки говорения не творимы, а преднаходимы чистым автором (их реальное же семантическое наполнение может быть субъективным). Каждое языковое сознание

содержит в себе тот или иной набор типических точек говорения, каждый его языковой акт осуществляется через занятие той или иной из этих предназначенных точек говорения. Возможность сотворения говорящим принципиально новой по типу точки говорения — вопрос не столько спорный, сколько имеющий отношение только к высшей степени искусным и «новаторским» высказываниям, зачинающим, напр., новый жанр, т. е. новый тип «мы», или новый тип дискурса — в том смысле, в каком М. Фуко говорил о Марксе и Фрейде как об «основателях дискурсивности»⁴⁴. Но и в последнем случае эта «сотворенная» новая точка говорения становится в дальнейшем «преднаходимой».

Выше уже говорилось о всякий раз осуществляемом говорящим выборе точки говорения того или иного жанрового «мы»; но помимо жанровых сознание преднаходит и точки говорения, противопоставленные по иным параметрам (социальные языки, направленческие, поколенческие, ситуативные и т. д.). Весь лексико-семантический и характерный синтаксический состав языка предстает перед языковым сознанием как «интенционально расхищенный» (Бахтин), т. е. слова заранее «намекают» — фактически «говорят» — языковому Я, строящему высказывание, об особенностях своей тональной, модальной и тематической направленности на предмет, т. е. *за словами осязательны «точки говорения»*. Когда говорящий строит, напр., высказывание «все тела протяженны», он сигнализирует слушающему о произведенном выборе жанрового «мы» логической речи, тендирующего к позиции «все», и только поэтому (если заострять) слушающий не понимает это высказывание в том, напр., смысле, что речь идет о стройности девичьих тел. Речь *не* из точки говорения невозможна; только привычка или модальные пристрастия могут заставить усмотреть в каком-либо типе речи анонимную точку говорения или «смерть» точки говорения (и у Гуссерля его «высказывание-в-себе» *все тела протяженны* тоже понимается как

⁴⁴ Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине. М., 1996. С.31.

имеющее за собой определенную Я-инстанцию — в той мере, в какой Гуссерль признал в конечном счете чистое Я нередуцируемым).

Тезис о неустранимости точек говорения и их разнообразных конфигураций направлен, как понятно, на поддержку идеи неотмысливаемости ноэтической составляющей фундамента языка. К уже сказанному по этому поводу добавим еще один аргумент. Отказ от типологической ноэтической стороны дела автоматически влечет за собой — как, на наш взгляд, фактически и получается — не только отказ от интенциональности (на что идут, если идут, в большинстве случаев принципиально, хотя интенциональность при этом часто персонифицируется и из чистой интенциональности феноменологии, в результате продвижения по не совсем ясно проложенным теоретическим тропам, превращается в коммуникативную интенцию говорящего) и авторства, включая молчащего «чистого автора» и деперсонализованную «полую» форму «чистого актора». В конечной перспективе отказ от ноэтической стороны и соответствующих понятий чистого актора или автора ведет, как представляется, и к отказу от того, ради чего он изначально производился, — *к отказу от референциальных (истинностных) потенций языка*, которые мыслятся при этом как не зависящие от персонифицированных и говорящих разное и по-разному субъектов. В терминологии феноменологии говорения (где референция, напомним, понимается в редуцированно-сжатом варианте как одна из языковых модальностей) отказ от типологической стороны ноэтики означает, что языковому высказыванию отказывается тем самым в способности индуцировать и инсценировать в воспринимающем сознании «референцируемое» — конкретно определенный, не зависящий от внешних обстоятельств и субъективных коннотаций смысл, в том числе не прямой. Без чистого языкового актора, жанрово типологической Я-инстанции, без инсценированности хотя бы полрой точки говорения теряют, как мы старались показать выше, индуцирующую референциальную силу и все аналитические «истины» и математические формулы. В том числе и гуссерлевы «предложения в себе» (' $2 \times 2 = 4$ '; 'все тела протяженны'). С позиции феноменологии говорения ситуация

выглядит так, что Гуссерлев исходный тезис «*назад — к самим вещам*» можно понимать как «*назад — к индуцирующей референции*». После долгих колебаний Гуссерль для того и остановил в конечном счете редукцию на границе чистого гносеологического Я, освобожденного от всех персонифицированных, психологических, социальных и т. д. черт, чтобы поддержать тем самым не релятивистскую, а, напротив, — референциальную и истинностную — индуцирующую — силу «объективных» высказываний.

Посмотрим на то же в обостренной постановке: не повисает ли в воздухе без типологической ноэтики и понятия чистого автора или актора утверждение о наличии индуцирующей «референциальной» силы у поэзии? Ответ, как кажется, и здесь должен быть положительным — аналогично тому, как схожая проблема смотрится с противоположной аналитической стороны. Мандельштамовские строки — «*Я слово позабыл, что я хотел сказать. / Слепая ласточка в чертог теней вернется / На крыльях срезанных, с прозрачными играть. / В беспамятстве ночная песнь поется*» — и при максимальном отвлечении от конкретного автора «говорят» нечто из «объективного» смысла схожим (но не тождественным) образом со «*Все тела протяженны*»: и здесь чистый актер и чистый автор (и их модификации в форме точек говорения) играют аналогичную чистому Я сознания роль — инсценированно индуцируют в воспринимающем сознании конкретно определенный, в том числе не прямой, смысл (воспроизводят акты отнесения выражений к смыслу). Различия между аналитической речью и поэзией — в типе рамочных и частных точек говорения, в сюжете их инсценировок, в манере и последовательности смен ФВ, в модальности и тональности. Если отказаться для поэзии от свойственного ей ноэтически типологического актора и идеи чистого автора, «сами» мандельштамовские строки ничего не будут в силах «объективно» сказать — индуцировать и инсценировать. Ситуация будет тем самым отдана, подтверждая худшие опасения аналитически интерпретировавшего феноменологию Шпета, на откуп интертекстуализму, готовому привлечь для «понимания»

стихотворения все что угодно, находя в конечном счете их «объективный» смысл в субъективных особенностях поэтики Мандельштама, если не в психоаналитических упражнениях над его личностью — т. е. в субъективной ноэтике в виде психологии, идеологии, субъективного бессознательного и т. д. вместо ноэтики типологической (сказанное не противоречит идее возможных исторических изменений в смысле поэзии — таковые происходят вместе с историческими изменениями в типологических ноэтических ситуациях и точках говорения).

С предлагаемой нами позиции, таким образом, известная критика идеи о возможности существования, напр., повествовательного текста без точки зрения — справедлива, но не точнее ли было бы говорить о невозможности повествовательного текста без точки говорения? Автор может молчать, может «умереть», покончить лингвистическим самоубийством — все равно в речи будут звучать, индуцируя акты сознания в воспринимающем сознании, определенным образом инсценированные «точки говорения» (включая сам предмет). «Анонимность» — тоже разновидность точки говорения.

§ 114. Гипотетически о сменах точек говорения изнутри семантики и извне ее. «Подыскивая слово», мы подыскиваем точку говорения. Из того обстоятельства, что к «одному и тому же» предмету можно применить разные слова, точнее, как кажется, выводить тезис не о многозначности слов, а о возможности и наличии разных точек говорения относительно одного и того же предмета. По существу, примерно то же имел в виду и Гуссерль в «Интенциональных предметах», анализируя причины возможности разных, как он говорил, «*точек зрения восприятия*» на один и тот же предмет и соответствующей возможности применения разных слов — ведь в выявляемых Гуссерлем различиях между разными возможными словами к одному предмету фиксируется то, что является характерно отличающим наполнением именно точек говорения о предмете, а не «объективными» различиями в самом предмете. Возможные наименования, пишет Гуссерль, в «*своем разнообразии не выражают никакого внутреннего богатства собственно предметных*

моментов, но только богатство форм отношений, точек зрения и поворотов познания.»⁴⁵.

Применяя к смыслу «пахнущее» определенной точкой говорения слово, «я» может вступить с этим именовани^{ем} в активные отношения, поскольку стоит ему сколько-нибудь дистанцироваться от выбранной типичной точки говорения, она «сама» начинает говорить в его высказывании, что в том числе и делает каждый предмет речи потенциальной, или свернутой, точкой говорения. Давая имя субъекту строящегося предложения, «я» «включает» аналитическую точку говорения — *точку говорения изнутри слова* (изнутри семантики), сразу начинающую испускать саморазвертывающийся из имени смысл. Аналогично — как связанный именно с имплицитной точкой говорения, дремлющей в каждом слове, а не с абстрактной всеобщей семантикой — можно интерпретировать и тезис Деррида о самоизвещении говорящим себя каждым используемым им словом.

Присовокупляя же «извне» к избранному для своего предмета имени *синтетический* предикат, «я» вступает в смысловое соотношение с аналитическим саморазвертывающимся именем субъекта и фактически создает тем самым двуголосую коалицию точек говорения «изнутри» семантики и «извне» ее. В том числе, по-видимому, и то осязаемое смысловое усилие, которое часто приходится применять говорящему при соединении в высказывании двух крупнозначимых слов, всегда в некоторой части есть усилие преодоления того противоборства, которое исходит из имманентной

⁴⁵ Приведем и более широкий контекст: «Скажем, имеются разнообразные точки зрения восприятия в представлении и в познании того же самого предмета <близкий гуссерлев аналог обсуждаемой темы> или положения дел, другими словами, имеется множество различных значений в отношении той же самой предметности, того же предмета, и в них основываются разнообразные истины, которые в своем разнообразии не выражают никакого внутреннего богатства собственно предметных моментов <не относятся к нозмам или к референтам>, но только богатство форм отношений, точек зрения и поворотов познания», т. е. модальных сдвигов, смен ФВ, точек говорения и т. д. Все эти процессы, зафиксируем, относились Гуссерлем к нозтической сфере. Предельно упрощая в целях наглядности, можно сказать, что смена семантического облачения одной и той же предметности при гуссерлевых «разнообразных точках зрения восприятия в представлении и в познании того же самого предмета» происходит в связи со сменой точки говорения (или ее модального наполнения).

точки говорения, стоящей за словом, «говорящей» навстречу «я» «изнутри» себя. Любая речь в этом смысле есть *чередa смен точек говорения изнутри семантики и извне ее*. (Дополнительные аргументы и более развернутое толкование точек говорения извне/изнутри можно найти в статье о двуголосии).

Языковое сознание и в состоянии пассивного покоя не только наполнено, но и структурировано дремлющими или активными в нем имманентными точками говорения; порождая же высказывание, «я» постоянно сменяет точки говорения, скользит между ними, спланирует и расторгает их возможные коалиции, стараясь 'протолкнуть' или 'извлечь' смысл, проходя сквозь частокол и узоры точек говорения. Смысловая цель речи может пониматься как находящаяся вне точек говорения, но выйти к ней и вообще продвигаться в смысле можно только сквозь лабиринт точек говорения.

§ 115. Неизымаемость интерсубъективной эгологии. Мы говорим об «интерсубъективности» — с тем, чтобы подчеркнуть местоименную ролевую организацию точек говорения и в высказываниях, и в языковом сознании. С другой стороны, мы оставляем название «эгология» — с тем, чтобы подчеркнуть, что «я» сохраняет в высказывании режиссерскую объединяющую функцию, даже и в том случае, если все непосредственно я-точки говорения молчат. Если точки говорения — неотмысливаемая универсалия языкового сознания, то «интерсубъективная эгология» неизымаема из феноменологии говорения без того, чтобы не выйти за пределы феноменологии.

Для языковой сферы, впрочем, аргументы о полном снятии эгологии вряд ли могут рассматриваться в полную силу: можно и должно мыслить снятие или нейтрализацию трансцендентального чистого Я как полновластного хозяина и единоличного собственника смысла, утверждая значимость «другого» («он», «ты», «мы»), но эгология этим не отменяется, а упрочивается: все формы «дружести», «мы»-позиции, «смерти Я» и в целом «интерсубъективность» — это внутренняя эгологическая тема (тема имманентного высказыванию внутреннего расщепления эгологического пространства на

местоименные позиции). «Я» формирует внешние границы эгологического пространства, модификаты я, он, ты, мы, все — внутренне заполняют это пространство.

Неизымаема без последствий эгология и из проблем референции — референт тоже в определенной мере понятие эгологическое: без референциального жеста, всегда направленного из какой-либо точки говорения (и воспроизводимого в индуцируемой точке понимания), без имени, также являющегося свернутой точкой говорения, трудно понять что-либо в качестве именно «референта».

§ 116. Инсценировки из точек говорения. Аналогично тому, как в чистой ноэтике (в последовательности актов сознания) усматриваются сокращения, сращения, опущения, наложения, синтезы, дизъюнкции и т. д. ноэтически-ноэматических структур, феноменология говорения может, как мы видели, усматривать в высказывании схожие процессы разнообразных инсценировок из имманентных сознанию и привносимых извне точек говорения. Возможна и еще одна аналогия: как количество инсценируемых актов сознания всегда больше инсценирующих их актов говорения, так в высказывании активизированных (непосредственно семантически зазвучавших) точек говорения всегда меньше потенциально наличных.

Чтобы пояснить, что имеется в виду, сошлемся на известное различие того, *кто видит* и *кто говорит*: изображаемое или рассказываемое может «усматриваться» (видеться) с точки зрения персонажа (потенциальной точки говорения), а непосредственно изображаться или рассказываться из другой точки говорения: тем самым эти точки говорения ‘сращиваются’ (аналогично гуссерлевым сращениям в ноэтически-ноэматической сфере). Напомним известный пример Б. А. Успенского: *«комната, в которую входит Ставрогин, улица, по которой он идет, описываются такими..., какими их увидел посторонний наблюдатель, воспользовавшийся его*

*перспективой»*⁴⁶. Явление схвачено в удачном ракурсе и, как кажется, верно объяснено, но не точнее ли было бы понять эту «перспективу» Ставрогина как его редуцированную в данном случае до чувственной формы «точку говорения»? Будучи сам «предметом речи», тем более — в прямой форме «героя», Ставрогин — по намеченному выше толкованию предмета речи как свернутой точки говорения — является потенциальной точкой говорения: она может активизироваться как действительно «говорящая», а может в различных направлениях *редуцироваться*, срачиваясь с другой точкой говорения, отдавая ей свой голос, свои глаза, слух и чувства, но всегда тем не менее оставаясь потенциально ощутимой точкой говорения⁴⁷.

Точка говорения, как здесь полагается, удобна в качестве обобщающего родового понятия, во всяком случае — в качестве операционально полезного. Если присовокупить к предыдущему примеру со Ставрогиным пример со львом, следящим пахучий бег оленя, то наряду с различием *кто видит* — *кто говорит* и их сращениями, возможно проводить различия и тем самым усматривать разнообразные сращения тех, *кто ощущает* — *кто говорит*, *кто чувствует* — *кто говорит*, *кто думает* — *кто говорит*, *кто сознает* — *кто говорит*, а также обратный параллельный ряд: *кто говорит* — *кто оценивает*, *кто говорит* — *кто пересказывает*, *кто говорит* — *кто чувствует*, *кто говорит* — *кто слушает*, *кому*

⁴⁶ Поэтика композиции. Выше цит. С. 140. Обсуждаемые здесь «инсценировки из точек говорения» по многим параметрам схожи с идеей Б. А. Успенского о точке зрения как «*центральной проблеме композиции произведения искусства*» (с. 9), главное различие, помимо концептуальной развилки между феноменологией и структурализмом, в самом принципе определения «точек», обладающих силой организации инсценировки и/или композиции: в феноменологии говорения в основе выявления точек говорения — интерсубъективная эгология (местоименная шкала), в «Поэтике композиции» «точки зрения» соотносятся с планами идеологии, фразеологии, психологии и т. д., т. е. — в феноменологическом контексте — с типами ноэс. Вместе с тем имеются и схоже понимаемые параметры — *извне/изнутри*, и близко толкуемые процессы смены точек зрения, наложения точек зрения и др.

⁴⁷ Такого рода явления подробно анализируются и в нарратологии. См. обзор различных версий (связанных с понятиями 'точка зрения', 'перспектива', 'фокализация', 'рефлектор' и др.) и собственную версию автора в: Шмид В. Нарратология. М., 2003. С. 109 – 120; 121 – 130.

говорят — кто слушает и т. д. На каждое из этих различий легко навскидку представить соответствующие примеры. Так, описанная выше тематически не явленная тональная предикация в двуголосии — это случай различения *кто говорит — кто оценивает* (говорить может чужой речевой центр «он», а тональную, семантически не выраженную, оценку осуществлять авторский РЦ-Я).

Степень редукции параллельной точки говорения и ее сращенности с доминирующей (активизированной) точкой говорения может быть разной: редуцируемая точка говорения может быть как лишена тематизма при сохранении тональности, так и лишена тональности при сохранности тематизма, или может быть вообще лишена тематической и тональной составляющих, сохраняя тем не менее — условно — ‘перцептивную’ активность. Так, в нашем примере на смены ФВ — *«Услышав шаги старика, мальчик оглянулся, а старик, заметив его, почувствовал, что бледнеет, если только могло побледнеть это мертвенно бледное лицо»* — имеются помимо описывающего (или рассказывающего) голоса еще две редуцированные и сращенные с этим голосом точки говорения, разводящие инстанции *кто чувственно ощущает — кто говорит, кто чувствует — кто говорит*.

Вопрос о степенях и разных направлениях редукции точек говорения, об их различных сращениях, наложениях, конъюнкциях с другими точками говорения — отдельная сложная тема. Здесь нам было важно лишь наметить возможность такого подхода ко всему спектру анализируемых в литературе явлений этого рода. Носителем перспективы, фокализации, перцепции, рефлексии, эмоции, ощущения, оценки и других чужих (исходящих из иных точек) смыслообразующих векторов, скрещивающихся (налагающихся, сопрягающихся и т. д.) с непосредственно (семантически) звучащей в данном фрагменте точкой говорения, может быть только то, что является потенциальной точкой говорения (это не только предмет речи и имманентные сознанию точки говорения, но местоименные позиции высказывания — он, ты, мы, все, о которых говорилось выше).

Частично затронем мы здесь лишь одну из этих тем — о специфике авторской позиции.

§ 117. Авторская позиция как типическая конфигурация точек говорения. Инсценированные смерть и самоубийство автора. Собственной единоличной и полноценной точки говорения у автора нет. Здесь можно мыслить, как кажется, лишь некое сложное негомогенное явление — «*авторскую позицию*», которую в самом общем и предварительном смысле можно понимать не как единую — одну — точку говорения, а как ту или иную типическую совокупную конфигурацию разновидностей я-позиции в составе описанных выше парных точек говорения (РЦ, КП, ДП, ДТ, «извне/изнутри») и как характерную манеру смен и наложений фокусов внимания, модальных и тональных сдвигов (разумеется, список параметров не исчерпывающий). Авторская позиция — это собственно «эгологический» полюс в интересубъективном языковом пространстве. При всей значимости интересубъективных расколов эгологического пространства, авторская позиция как позиция «я» остается для высказывания, по всей видимости, конституирующей силой — ведь и номенклатура, и чередования, и наложения разных типов точек говорения поддаются описанию как именно ее разнообразные текущие передвижения по этим точкам говорения, ее коалиции с ними, ее наложения и ее я-модификации, соответствующие этим типологическим разновидностям точек говорения.

Авторская позиция всегда расщеплена, как можно толковать, исходя из описанного выше, на несколько «ликов»: обращенный к «он» (РЦ-Я), в том числе ко вторичному автору, если таковой используется, к «ты» (КП-Я), к «мы» (ДП), к «оно» (ДТ). Однако эта расщепленность ведет не к рассеиванию и распылению смысловой авторской позиции (к смерти автора), а к ее упрочиванию за счет большей дифференцированности и детализации. Авторская позиция

может пользоваться не всеми из этих «ликов», но тот или иной их набор наличен всегда⁴⁸.

Авторские позиции не были бы значимыми, если бы они не могли быть типологическими. Если искать стержень для типологии авторских позиций, то прежде всего, вероятно, здесь можно надеяться на обнаружение характерных наборов точек говорения и типовых особенностей их инсценируемой конфигурации (но пока это только обозначение вектора далекой перспективы). Можно в качестве типологического параметра принять и степень нарастания и/или угасания смысловой энергии авторской позиции, в частности — *тематическую и тональную ступени саморедукции авторского голоса* в двуголосых конструкциях (т. е. в конструкциях с чужим РЦ). Как пример возможных по этой градации типических авторских позиций можно привести бахтинское различие монологической и полифонической авторских позиций в романе. Подробно этот способ различения был описан выше (в статье о Двуголосии), здесь воспроизведем лишь общую схему возможных степеней саморедукции авторского голоса. Таких ступеней можно выделить (если отвлечься от переходных явлений) три: на первой ступени РЦ-Я и КП-Я полнозвучны в обоих — тематическом и тональном — отношениях. Доминируя в романе, они осуществляют на этой ступени и тематические, и тональные вторичные предикации всех чужих точек говорения, в той или иной степени и модальности объективируя и овеществляя их. На второй ступени авторский РЦ «отказывается» от

⁴⁸ Тезис о «смерти автора» вряд ли стоит понимать буквально и абсолютно, во всяком случае — у М Фуко. Идея М. Фуко больше и богаче этого броского лозунга. Конечно, не по содержательно концептуальному, но по структурно-функциональному пониманию говоримое здесь не находится в жестком противоречии с концепцией М. Фуко, который, в частности, также усматривал в тексте и общую «функцию-автор», и первое, и второе, и третье «я»: *«На самом деле все дискурсы, наделенные функцией-автор, содержат.. множественность Эго...»*. Функция-автор обеспечивается не одним Эго: *«в подобных дискурсах функция-автор действует таким образом, что она дает место распределению всех этих трех симультанных Эго»* (Что такое автор? Выше цит. С. 29). Функция-автор *«определяется не спонтанной атрибуцией дискурса его производителю, но серией специфических и сложных операций; она не отсылает просто-напросто к некоему реальному индивиду — она может дать место одновременно многим Эго, многим позициям-субъектам...»* (с. 30).

тематической объективации и тематического подавления чужой точки говорения, но сохраняет возможность ее тональной — семантически неявленной (непрямой) — оценки. На третьей ступени РЦ-Я «отказывается» и от тематического выражения, и от несемантизированной тональной оценки чужих точек говорения. В грубом приближении первая и вторая ступени соответствуют монологической авторской позиции (первая ступень: условно “прямое” авторское слово из РЦ-Я и КП-Я; вторая: различные формы *вторичного автора*), третью ступень двойной саморедукции авторского голоса можно интерпретировать как соответствующую «полифонической» авторской позиции.

Мы отвлекаемся здесь от обсуждения бахтинской идеи «полифонического романа» по существу; о двух возможных, с нашей точки зрения, версиях ее интерпретации — мягкой и жесткой — см. в наст. изд. статью «Двуголосие в его соотношении с монологизмом и полифонией». Здесь нам важно зафиксировать, что отказ авторской позиции от обеих лингвистических половинок активности РЦ-Я не означает «смерти автора», «в живых» остается «чистый автор»: хотя он непосредственно не говорит — ни тематически, ни тонально, но именно в его компетенции остаются комбинирование чужих точек говорения, их наложения, взаимные тематические и тональные пересечения, коалиции и т. д. Можно, как кажется думать, что в распоряжении такой авторской позиции остается, как минимум, функции КП-Я; особо **XXX?наполнен**на, по-видимому, при такой авторской позиции и рамочная (жанровая) точка говорения «мы», так что отказ от тематизма и тональности (как и в случае нейтрального сознания и нейтральной модальности) — не смерть или лингвистическое самоубийство автора, а одна из разновидностей авторской позиции (или авторской функции). С точки зрения феноменологии говорения, в высказывании не может не быть авторской позиции (или функции) — поскольку не может не быть точек говорения.

Если в философии «смерть субъекта» (чистого Я), тем или иным образом связываемого с автором, может расцениваться в

концептуальном плане как свершившееся или свершаемое событие, то для феноменологии говорения и соответствующей типологии авторских позиций вопрос о том, действительно ли возможно это событие, т. е. осуществимо ли полное «умертвление» автора и погашение его активности, имеет иной смысл. И в том случае, если субъект в авторской ипостаси действительно смертен, и в том случае, если его смерть — вопреки «медицинскому заключению» философии или предсмертным запискам самого автора-самоубийцы — фиктивна, в типологии авторских позиций тем самым «самовычленяется» среди прочих и такая «ячейка», такая типическая композиция точек говорения, в число конститутивных операторов которой входит презумпция отсутствия (смерти) я-модификаций местоименных позиций. *Смерть автора должна демонстрироваться* в конфигурации точек говорения — иначе она не будет ощутима; это — один из возможных инсценируемых речью артефактов восприятия, а не реальное свойство речи. *Позиция инсценируемой смерти автора*, имеющая свои специфические особенности и характерологические детали в свойственной ей конфигурации смен точек говорения, ФВ, модальностей, тональности и т. д., именно как таковая «специфическая форма» может и должна быть вписана в качестве одной из разновидностей авторской позиции в ряд других типологических позиций, в том числе основанных на презумпции «живого» автора. Наверное, можно полагать и большее: феноменологически можно различать и описывать не одну, а несколько версий «позиции умершего автора», которые отражают либо различные этапы и формы самопогашения или «умертвления» авторской активности (или этапы и формы возрождения авторской личности), либо имеют различающиеся интенции и телеологию.

То же и в обратном случае, т. е. в случае обоснованного философского сомнения в возможности абсолютно субъективной речи. При утверждении о том, что в каждом «ошибочно» претендующем на абсолютную субъективность высказывании всегда наличны те или иные моменты, не зависящие от говорящего субъекта и, напротив, на него влияющие, *позиция с установкой на абсолютное*

доминирование автора также должна тем не менее получить свою нишу в искомой типологии авторских позиций, т. е. должна быть описана в своих характерно определенных специфических особенностях в манере комбинирования точек говорения, телеологически направленных на достижение эффекта абсолютного доминирования Я-позиции (хотя бы никакая конфигурация точек говорения никогда такого и не достигала бы).

Философские дискуссии о судьбе субъекта и интересующие нас здесь характеристики типов авторских позиций, с одной стороны, лежат, таким образом, в разных плоскостях, не предполагающих прямого переноса принятых решений друг в или из друга («умерщвление» субъекта в философии приводит к увеличению количества поддающихся феноменологическому усмотрению типологических позиций автора), с другой — эти плоскости тем не менее взаимоотражаемы. Язык богаче всего, что можно так или иначе концептуализировать (в гипотетический момент концептуального схватывания его «последней тайны» язык самим фактом этого схватывания опять обростает непознанными пространствами). В пределе можно думать, что каждая цельная философская концепция субъекта преломленно соответствует (выведена из) той или иной реальной типической форме авторской позиции, которая никак генетически не зависима, в своей имманентной присущности языковой жизни, от соответствующих философем о статусе субъекта, появляющихся по своим собственным «философским» причинам и в темпоральной несогласованности с формированием самих авторских позиций. И наоборот: каждый присущий языку тип авторской позиции нашел, находит или принципиально может найти свою корреляцию в философской рефлексии о субъекте.

ЭКСКУРС 1.

«Ноэсы, ноэмы и их отношения с семантикой у Гуссерля».

§ 1. Ноэсы и ноэмы. § 2. К проблеме соотношении у Гуссерля понятий «ноэматики» и сфера значений (семантика).

§ 1. Ноэсы и ноэмы. Поскольку термины «ноэса» и «ноэма» будут рассматриваться в феноменологии говорения как такие понятия, которые обладают операциональной силой, переходящей в прямой тематизм, приведем контексты (из «Идей I»), в которых Гуссерль вводит эти понятия.

К ноэсе: *«Формует материалы, обращая их в интенциональные переживания и внося сюда специфику интенциональности, то самое, что придаст специфический смысл высказываниям о сознании: именно в связи с этим сознание eo ipso указывает на нечто такое, сознание чего оно есть. Поскольку же, далее, выражения вроде „моментов сознания“, „осознанности“ и тому подобные словообразования, и равным образом и выражение „интенциональные моменты“ совершенно непригодны по причине многообразия эквивокаций, какие еще выступают впоследствии со всей отчетливостью, то мы вводим термин „ноэтический момент“, или же, короче, „ноэса“. Ноэсы и составляют специфику нуса в самом широком смысле этого слова, — нус и возвращает нас, согласно со всеми его актуальными жизненными формами, к cogitationes, а затем и к интенциональным переживаниям вообще...»* (§ 85).

К ноэме: *«Любое интенциональное переживание благодаря своим ноэтическим моментам есть именно переживание ноэтическое; это означает, что сущность его в том, чтобы скрывать в себе нечто, подобное „смыслу“, скрывать в себе даже и многогранный смысл и затем, на основе такого наделения смыслом и воедино с этим, осуществлять иные свершения, которые именно благодаря такому наделению смыслом и делаются „осмысленными“. Вот примеры таких ноэтических моментов: направленность взгляда чистого „я“ на тот предмет, который благодаря наделению смыслом подразумевается, имеется в виду, мнится „я“, на тот предмет, который „у него на уме“; затем схватывание и фиксация такого предмета, между тем как взор уже обратился к другим предметам, вступившим в его „мнение“; равным образом деятельность эксплицирования, сопряжения, совместного схватывания, занятия многообразных позиций веры, предполагания, оценивания и т.д. Все это можно обрести в соответствующих переживаниях, всегда построенных весьма по-разному и переменчивых внутри себя. Однако, как бы ни указывал этот ряд показательных моментов на реальные компоненты переживаний, он одновременно указывает — благодаря „смыслу“ — на компоненты нереальные. Многообразным датам реального, ноэтического наполнения всегда отвечает многообразие дат коррелятивного „ноэматического наполнения“, дат, подтверждаемых в действительно чистом интуировании, — говоря коротко, это даты „ноэмы“ — термин, который мы, начиная с этого момента, будем употреблять постоянно. Восприятие, к примеру, обладает своей ноэмой, на нижней ступени — смыслом восприятия, то есть воспринимаемым как таковым. Подобно этому всякое воспоминание обладает воспоминаемым как таковым, именно как своим,*

точно так же, как в нем есть „подразумеваемое“ и „сознаваемое“; суждение в свою очередь обладает как таковым тем, о чем выносится суждение, удовольствие – тем, что доставляет удовольствие, и т. д. Поэматический коррелят, который именуется здесь (в чрезвычайно расширительном значении) „смыслом“, следует брать точно так, как „имманентно“ заключен он в переживании восприятия, суждения, удовольствия и т. д., то есть точно так, как он предлагается нам переживанием, когда мы вопрошаем об этом чисто само переживание» (§ 88).

§ 2. К проблеме соотношения у Гуссерля понятий «ноэматика» и сфера значений (семантика). Почти тождественно эта связь понималась ранним Гуссерлем, в частности — в ЛИ, 83, где высказывалось убеждение в «идеальности и объективности значения», которое «не может поколебать многозначность». Почти такое же понимание в «Интенциональных предметах». В «Идеях I» многое из того, что раньше называлось значением, отойдет к ноэмам и отношения между ноэматикой и семантикой дифференцируются в многообразных деталях и утончатся: *«Феноменологически взаимосвязь дана уже вообще возможными поворотами взгляда, которые могут совершаться в пределах любого акта, причем те составы, какие доставляются этими поворотами взгляду, сплетены между собою разного рода сущностными законами. Первичная установка – это установка на предметное, ноэматическая рефлексия ведет к составам ноэматическим, ноэтическая — к ноэтическим. Интересующие нас сейчас дисциплины путем абстракции изымают из этих составов чистые формы, а именно: формальная апофантика – ноэматические, параллельная ей ноэтика — ноэтические формы. Формы ноэматические и ноэтические скреплены друг с другом, а те и другие скреплены с онтическими формами, какие схватываемы путем поворота взгляда назад – к онтическим составам. Любой формально-логический закон можно обратить, путем поворота, в закон формально онтологический. Тогда мы судим: вместо суждений – о положениях дел, вместо членов суждения (например, именных значений) – о предметах, вместо значений предиката – о признаках и т. д. И речь уже не идет об истине, о значимости предложений суждения, но о составе положений дел, о бытии предметов и т. д. Само собою разумеется, что и феноменологическое содержательное наполнение поворота допускает свое прояснение путем возвращения к содержательному наполнению соответствующих понятий. Впрочем, формальная онтология выходит очень далеко за пределы сферы таких простых обращений формальных апофантических истин. К ней прирастают обширные дисциплины – путем тех „номинализаций“, о каких мы уже говорили прежде. В суждениях во множественном числе множественное выступает как тезис множественности. Путем обращения в имя это множественное число становится предметом „множество“, и так возникает основополагающее понятие учения о множествах. В таком выносятся суждения о множествах как предметах, обладающих своеобразными видами свойств, отношений и т. д. Это же значимо и для понятий „отношения“, „количественное число“ и т. д. – как основополагающих понятий математических дисциплин. Вновь, как и тогда, когда мы говорили о простых учениях о предложении, мы должны сказать, что задача*

феноменологии – не в том, чтобы развивать эти дисциплины, т. е. не в том, чтобы заниматься математикой, учением о силлогизмах и т. п. Феноменологию интересуют лишь аксиомы и понятийный состав таковых, задающий рубрики для феноменологических анализов...» (§ 148).

Эккурс 2

Гуссерлевы акты выражения и акты извещения.

Выделяя среди других типов актов сознания языковые акты — акты выражения в общем смысле, — Гуссерль, как известно, выделял две их разновидности: связанные и не связанные с «извещением» (коммуникацией в широком смысле). Сам Гуссерль акцентировал и в ЛИ, и в «Идеях 1» ту разновидность, которую понимал как безотносительную к извещению: акты выражения как специфического логического (логосного) выражения актов чистого сознания (аналитический и предикативный синтезы). Эта — внекоммуникативная — разновидность актов выражения понималась Гуссерлем как непосредственно конституирующая процесс логических экспликаций, предикаций, положенности, дизъюнкции, конъюнкции и т. п. смысловых предметностей сознания, которые, с его точки зрения, безотносительны к «деятельности» по созданию форм речи, реально направленной к другому сознанию. Фактически — это не язык в его обычном понимании, не речь, а особая операциональная сфера сознания, аналогичная той, которая акцентируется в логике и семантике. Проблемам референции последних соответствует гуссерлево понятие «знаков, обладающих значением» (ЛИ, 41). Значение *выражения* не равно, не совпадает, по Гуссерлю, с его *извещающей* функцией; значения выражений остаются теми же самыми и в одиночестве «душевной жизни вне коммуникативных сообщений» (ЛИ, 45). Слово при этом «возбуждает в нас смыслопридающий акт» и «указывает» (*Hinzeigen*) в очевидном усмотрении на соответствующую предметность (ЛИ, 49). В случае же оповещений (коммуникации) об этом нет речи: в коммуникативном высказывании — там, где А целенаправленно оповещает о положении дел В, очевидное усмотрение «исключено»: мы действительно обнаруживаем при понимании связь между А и В или устанавливаем сами такую связь при создании высказывания, *«однако говоря таким образом, мы не имеем в виду, что между А и В наличествует отношение с очевидностью усматриваемой объективно необходимой связи»* (ЛИ, 38). В оповещении на первом плане — выражаемые акты, «осмысленное выражение как конкретное переживание», в логическом значении вне коммуникативных сообщений на первый план выдвигаются сами значения, при рассмотрении которых возможно и должно, по ЛИ, отвлечение от актов сознания и обращение к идеальному соотношению между собой смысловых предметностей этих актов: вместо самого явления выражения и осуществляющих смысл «актов», во внекоммуникативной логической сфере можно *«рассматривать то, что определенным образом 'дано' в них: само выражение, его смысл и соответствующую предметность. Мы осуществляем поворот от реального отношения актов (важное для нас обстоятельство — Л. Г.) к идеальному отношению их предметов, или, скорее, содержания»* (ЛИ, 51 — 52).

Сферу применимости понятий 'значение' (т. е. ноэтический аспект) и 'означивание' (ноэтический аспект), а вместе с ними и понятия 'выражение' как специфицирующего сущность языка, следует, говорит Гуссерль, переосмыслить и расширить, выведя ее за пределы исключительно «гласящей» речи (т. е. за пределы исследуемой лингвистикой чувственно ощутимой речи во всех ее модификациях — слышимой-произносимой-

написанной и/или имеющей имманентный сознанию акустический/графический образ): «...почти неизбежный и одновременно важный шаг состоит в расширении и подходящей модификации» слов значение и означивание (а вместе с ними, следовательно, и слова «выражение»), «вследствие чего они известным образом находят применение во всей поэтически-ноэтической сфере», т. е. понятия значения и означивания могут и должны, по Гуссерлю, применяться ко всем актам, сплетены таковые с актами направленного вовне чувственного и коммуникативно организованного языкового выражения или же нет: «Со всеми рассмотренными выше актами (имеются в виду не связанные со значениями и языком вообще акты — Л. Г.) сплетаются выражающие — в специфическом смысле «логические» слои актов... Итак в общей форме предположим: Логическое значение есть выражение» — § 124). Эта добавленная Гуссерлем — под- или над-страиваемая — ступень некоммунитивных выражений в общей лестнице модифицирующего выражения есть сфера логических значений, которые толковались как активизирующие исключительно идеальную сторону слов и потому как не связанные ни с их чувственным обликом, включая акустические и графические образы, ни с коммуникативностью (извещением).

Логические акты выражения не абсолютизировались Гуссерлем — они сами в себе содержат у Гуссерля свои принципиальные ограничители. Так что неверно, с этой точки зрения, полагать, напр., что внекоммуникативные акты логического выражения из «Идей 1» заступили то место, которое в «Логических исследованиях» занимали 'объективные высказывания' («Объективные высказывания — те, содержание которых устанавливается или может быть установлено только из их фонетического проявления без обращения к выражающей себя личности и к обстоятельствам этого высказывания...» — ЛИ, 84). Гуссерль уточнял и утончал свою позицию. В «Идеях 1» введены как минимум две существенные поправки. Первая — та, что акты логического выражения стали подчеркнуто рассматриваться в дофонетической (или внефонетической) ипостаси языка (о фонетическом проявлении логических языковых актов речь уже не шла). Вторая — та, что исходная возможность установления объективного содержания без обращения к выражающей себя личности (т. е. описание ситуации с позиции отношений говорящего и слушающего) сменилась на объективное логическое выражение вообще безотносительно к общению — как к его воспринимающей, так и к его создающей стороне. Но — это принципиально — не вообще безотносительно к сознанию. Логически акты выражения не являются, по Гуссерлю «Идей 1», ни актами сообщения, направленными к сознанию от другого сознания (и это не вызвало серьезных возражений с точки зрения самой концептуальной возможности существования такого рода феноменов сознания), ни извещением для себя самого (а вот эта последняя возможность, а значит и акты выражения в их абсолютно внекоммуникативном и внефонетическом понимании, принципиально оспаривалась многими, наиболее подробно и настойчиво, кажется, Деррида), но они подчеркнуто трактовались как акты сознания.

Если в ЛИ — при подчеркивании актовой природы в создании и понимании высказываний — говорилось тем не менее о возможности и необходимости отвлечения при рассмотрении значения и смысла от этой «актовой» стороны выражений (речь шла при этом о некоммунитивной

сфере; термина нозма в его полном объеме и значении еще не было), то к периоду «Идей 1» позиция Гуссерля изменилась в сторону признания нередуцируемости чистого Я и, соответственно, в сторону повышения смысловой значимости актовой стороны дела. В этом смысле можно говорить, что в «Идеях 1» свойственное ЛИ отвлечение смысла от актовой стороны (от нозтики) было подвергнуто сомнению и коррекции, во всяком случае — оно наполнилось новыми усложнениями градационного свойства. Так, если в акцентированных в ЛИ некоммункативных актах логического выражения нозтика отступает на второй план (взгляд от актов переводится на идеальные взаимосвязи выраженных в них смысловых предметностей) и на авансцену выдвигается смысл выражений, связанный почти исключительно с нозматическим составом ($2 \times 2 = 4$; *все тела протяженны* и т. д.), то в «Идеях 1» Гуссерль, хотя и оставляя доминирующую роль за нозматикой, уже вводит нозтическую составляющую во внекоммуникативные акты говорения — напр., в качестве имплантированной компоненты. Хотя во внекоммуникативных актах выражения Гуссерля эти нозтические компоненты смысла имеют, с нашей точки зрения, соответствующую принципу редукции тенденцию к погашению вплоть до нейтрализации или прамодалности, тем не менее говорить об абсолютном примате нозматического смысла в феноменологии Гуссерля было бы большой натяжкой.

Подробнее об усилении гуссерлева акцента на нозтике (никак не умаляющем внимания к нозматике) см. в Экскурсе 6 «*Концепт нозтического смысла и § 85 «Идей 1»*».

ЭКСКУРС 3.

Концепт ноэтического смысла и § 85 «Идей 1».

Хотя акцент на ноэтике в значительной степени опознавательный знак теорий смысла в корректирующих Гуссерля версиях феноменологии, именно Гуссерля, на наш взгляд, следует поставить в начало ряда теорий такого типа. Так и предлагаемый нами концепт «ноэтического смысла» в ядре своем может быть вычитан из Гуссерля.

Введя в § 90 понятие «*ноэматического смысла*», в § 130 Гуссерль производит «ограничивание сущности 'ноэматический смысл'», и это ограничивание ведется как раз в направлении к тому, что мы назвали «ноэтическим смыслом»: из состава ноэматического смысла Гуссерль выводит такие семантизируемые образования, как «по мере мысли», «ясно-наглядно», «по мере восприятия» и т. д., т. е. все ноэтической природы. Мы говорили выше, подготавливая тезис о ноэтическом смысле, о разных типах актов (об актах восприятия, модальных актах, актах оценки), влияние же типа акта на смысл есть одно из исходных феноменологических положений, причем даже для сферы редуцированного сознания: «...*сколь бы родствен ни был этот смысл различных переживаний, сколь бы существенно тождествен ни был он по своему основному составу, он, во всяком случае, различен в различных видах переживаний*» (§ 91).

Эти различающиеся в различных видах переживаний смыслы и предложено в тексте называть в сфере языка *ноэтическими смыслами*. Гуссерль ставит различия в смыслах в зависимость от типа актов, т. е. оценивает их не как субъективные, а как типические по своей ноэтической природе смыслы, и при этом локализует эти смысловые различия в чистом сознании (тем более они «должны быть» в нередуцированном сознании, каковым является реальное языковое сознание). Хотя, таким образом, понятие ноэтического смысла — это новопроизведенный здесь нами конструкт, он не принципиально выходит за рамки гуссерлевого понимания смысла.

Вместе с тем сопоставляться с гуссерлевым пониманием в полном объеме «ноэтический смысл» не может, поскольку он — по определению — разворачивается в полной мере в высказываниях живой речи, у Гуссерля же речь о смысле в основном шла лишь применительно к логическим актам выражения — смысл у Гуссерля преимущественно связан с ноэматической стороной: «*Ноэматический коррелят, который именуется здесь (в чрезвычайно расширительном значении) „смыслом“, следует брать точно так, как „имманентно“ заключен он в переживании восприятия, суждения, удовольствия и т. д., то есть точно так, как он предлагается нам переживанием, когда мы вопрошаем об этом чисто само переживание*» (§ 88).

И все же именно Гуссерлем, а не феноменологами второй волны заложено, как представляется, основание для ноэтического понимания смысла. О том, что феноменологии следует, по Гуссерлю, придавать особую смысловую значимость ноэтическим моментам и ноэтике в целом, можно судить по § 85 «Идей 1» — «*Сенсуальная ὄλη, интенциональная μορφη*». Параграф и концептуально значим, и выразительно ясен — Гуссерль, как

обычно, иллюстрирует здесь изложение феноменологического смысла своей ноэтической идеи «показательной» сферой чувственных восприятий. Именно здесь впервые введено понятие 'ноэса', приуроченное к интенциональной морфе. Кроме того здесь же содержится одно из наиболее прозрачных толкований знаменитого феноменологического акта «наделения смыслом». Поскольку именно сочленение этих двух тем (ноэтика и смысл) и составляет здесь для нас главный интерес, дадим — с комментариями — сводку важных в этом плане фрагментов гуссерлева параграфа.

«... переживания берутся здесь такими, какими предстают они в имманентной рефлексии — как единые временные события, и здесь мы обязаны в принципе различать: все те переживания, какие в „Логических исследованиях“ были названы „первичными содержаниями“; и те переживания или же моменты переживаний, какие заключают в себе специфику интенциональности <впоследствии интенциональность будет увязана с ‘наделением смыслом’>. К числу первых принадлежат известные „сенсуальные“... переживания, ‘содержания ощущения’ вроде данных цвета, вкуса, звука и т. п. <...> Равным образом сюда же принадлежат и сенсуальные ощущения удовольствия, боли, щекотания и т. д., а также и сенсуальные моменты сферы „влечений“. Подобного рода конкретные данные переживаний мы обнаруживаем в качестве компонентов в более всеобъемлющих конкретных переживаниях, интенциональных как целое, причем обнаруживаем их так, что над названными сенсуальными моментами располагается как бы „одушевляющий“ их, наделяющий смыслом... слой — такой слой, благодаря которому из того сенсуального, что не заключает в себе никакой интенциональности, как раз и складывается конкретное интенциональное переживание». В дальнейшем этот «слой», наделяющий сенсуальные моменты (моменты «телесности») смыслом и создающий интенциональность, будет связан с ноэтическими моментами ('ноэсой').

Непосредственно вслед за этим фрагментом Гуссерль выходит на интересующую нас проблему: *«Сейчас невозможно решать вопрос о том, необходимо ли и всегда ли такие сенсуальные переживания в потоке переживания заключают внутри себя какое бы то ни было „одушевляющее постижение“..., или же, как мы тоже говорим, всегда ли они выполняют интенциональные функции».* Имеется в виду: все ли — а точнее, всегда ли — сенсуальные переживания содержат в себе ноэсу — как то, что наделяет их смыслом, одушевляет? Все ли переживания интенциональны? Имеют смысловую предметность? Могут ли быть интенциональными ощущения боли, запаха, влечения и т. д. или это всегда «просто» сенсуальные — не интенциональные, не смысловые — переживания? Здесь Гуссерль оставляет этот вопрос нерешенным, тем не менее ясно, в каком направлении предполагается его решать: по Гуссерлю, не все действительные сенсуальные переживания *«заключают внутри себя какое бы то ни было ‘одушевляющее постижение’»*, но тем не менее сенсуальность как таковая не преграждает, но открывает путь к интенциональности, смыслу и ноэтике.

Интересующие нас, в частности, эмоциональные переживания тоже могут опираться на сенсуальные переживания. Интенциональны ли эмоции? Интенциональна ли экспрессия? Тональность? Представляют ли они собой ноэсы, содержащие смысл? Это принципиальные вопросы для языкового

разворота темы — ведь только то, что наделено смыслом, что одушевлено, может стать предметом сознательного¹ языкового выражения — как прямого, так и непрямого, полного или неполного, семантического или несемантического (в дальнейшем эта проблематика будет обсуждаться в связи с понятиями экспрессии, импрессии и в целом тональности). Что касается мнения Гуссерля, то, насколько можно судить из последующего, он склонен был видеть в эмоциях интенциональные переживания: *«Во всяком случае во всей феноменологической области... главенствующую роль играет примечательная двойственность и единство сенсуальной гюле и интенциональной морфе. На деле, эти понятия материи и формы <это пара понятий коррелятивна нозме и нозсе> прямо-таки навязывают себя нам, когда мы актуализуем какие бы то ни было ясные созерцания или же со всей ясностью осуществленные оценивания, воления, акты вкуса и т. п. <т. е. область эмоций, оценок, тональности>»*. То же, что обладает интенциональностью, имеет, по Гуссерлю, смысл. В общем приближении именно эта разновидность смысла, присущая оцениванию, волению, актам вкуса и т. д., и составит основное содержание того, что названо нами *«ноэтическим смыслом»*.

Гуссерль тоже выходит далее в комментируемом параграфе на ноэтику. Объяснив, почему считает невыгодным из-за разного рода терминологических двусмысленностей использовать понятия 'первичное содержание' и 'чувственное содержание', Гуссерль заключает необходимостью ввода новых терминов, включая 'ноэсу': *«Все это, вместе взятое <всякого рода двусмысленности, связанные с употреблением понятия «чувственное»>, было вынужденно порождено давним переносом „чувственности“ в первоначально более узком смысле на сферу душевности и воления <на интересующую нас сферу>, а именно на интенциональные переживания, в каких в качестве функционирующих „материалов“ выступают чувственные данные только что названных сфер. Так что у нас вновь появляется потребность в новом <заменяющем «чувственность»> термине... — в качестве такового мы выберем выражение „гилетические данные“, или же „материальные данные“, — или попросту „материалы“...»*. И далее — выход к ноэтике, формулирующей эти материалы: *«Формует материалы, обращая их в интенциональные переживания и внося сюда специфику интенциональности, то самое, что придает специфический смысл высказываниям о сознании: именно в связи с этим сознание *eo ipso* указывает на нечто такое, сознание чего оно есть. Поскольку же, далее, выражения вроде „моментов сознания“, „осознанности“ и тому подобные словообразования, и равным образом и выражение „интенциональные моменты“ совершенно непригодны по причине многообразия эквивокаций..., то мы вводим термин „ноэтический момент“, или же, короче, „ноэса“. Ноэсы и составляют специфику нуса в самом широком смысле этого слова, — нус и возвращает нас, согласно со всеми его актуальными жизненными формами, к *cogitationes*, а затем и к интенциональным переживаниям вообще <т. е. не только к когнитивным актам>... Одновременно тут весьма кстати оказывается и то, что слово „нус“ напоминает об одном из отмеченных своих значений, именно о*

¹ Это не значит, разумеется, что в высказывании ничто не может быть выражено «бессознательно», но это — другая тема.

„смысле”, хотя „наделение смыслом”, осуществляющееся в ноэтических моментах, объемлет многое, а то „наделение смыслом”, какое примыкает к отчетливому понятию смысла, — лишь в качестве фундамента».

Получается: да, когнитивные акты составляют фундамент смысла, но смысл ‘объемлет многое’ — в том числе сферы душевного и воли. Отсюда — *«с хорошим основанием можно было называть и психической эту ноэтическую сторону переживаний»*, но после разбора терминологических сложностей, Гуссерль отказывается от этой возможности: *«Итак, мы остаемся при слове „ноэтическое” и тогда говорим: В потоке феноменологического бытия есть слой материальный и слой ноэтический. Феноменологические рассуждения и анализы, особо относящиеся к материальному, могут называться гилетически-феноменологическими; те же, что, с другой стороны, сопряжены с ноэтическими моментами, — ноэтически-феноменологическими»*. *«Несравненно более важные и богатые анализы, —* заключает параграф Гуссерль, *— производятся на этой стороне ноэтического»*. Включая — добавляем от себя — анализы ноэтических компонентов смысла языковых высказываний, имеющих как прямые, так и не прямые формы выражения.

ЭКСКУРС 4.

Доминирование ноэтического смысла над ноэматическим у М. Хайдеггера

Здесь, разумеется, не предполагается охватить означенную тему в ее сколько-нибудь полном объеме; мы коснемся ее в той мере и в том ракурсе, которые интересны для наших узких целей — для контрастного сопоставления с другими версиями того, что названо здесь «*ноэтическим смыслом*» (в частности, для проводимого непосредственно в тексте сопоставления с Бахтиным). Речь пойдет только о небольшой работе М. Хайдеггера «Что такое метафизика?»¹. При ее цитировании в угловых скобках помещены наши краткие комментарии.

Оспаривание сугубо ноэматического подхода к смыслу можно усмотреть в хайдеггеровской критике науки как подчеркнуто дающей слово «исключительно самому предмету» — аналогу «ноэмы»: *«В каком-то отношении к сущему находятся ведь и донаучная и вненаучная деятельность или бездеятельность человека. У науки в противоположность им есть та характерная особенность, что она присущим только ей образом подчеркнуто и деловито дает первое и последнее слово исключительно самому предмету»*. 'Сущему' как сфере ноэматических уловлений противопоставлено 'Ничто', которое мы и предлагаем толковать как сферу «ноэтических» уловлений в их особенном, хайдеггеровском понимании (см. ниже): *«Наука не хочет ничего знать о Ничто. Но с той же очевидностью остается верным: когда она пытается высказать свою собственную суть, она зовет на помощь Ничто... как раз когда человек науки удостоверяет за собой свою самую подлинную суть, он явно или неявно говорит о чем-то другом <ноэматика скрывает за собой какое-то иное измерение смысла>. Исследованию подлежит <'говорит' наука> только сущее и больше — ничего; одно сущее и кроме него — ничто; единственно сущее и сверх того — ничто»; значит: «Ей требуется то, что она отвергает»*.

¹ *Heidegger M. Was ist Methaphysik? — In: Heidegger M. Gesamtausgabe. Bd. 9, Frankfurt a. M., 1976.* Текст представляет собой краткую лекцию, прочитанную Хайдеггером в 1929 г. при вступлении в должность профессора философии Фрейбургского университета. Будучи отдельно издана под названием «Что такое метафизика?» в Бонне в 1929 г. и без изменений переиздана в 1930 и 1931 гг., эта лекция получила широкую известность. Есть, в частности, основания полагать, что именно эта лекция могла быть известна Вяч. Иванову, возможно, единственное высказывание которого — о значимости в европейской культуре символа «Ничто» — можно толковать как в той или иной мере связанное с именем Хайдеггера. См. в письме к Дю Босу от 15 октября 1930 г. о «*вождедении... бессмыслицы как высшего символа поклонения Ничто*» (111, 425). Л. Витгенштейн, по оценке В. В. Бибикина, также изначально знакомился с Хайдеггером именно по этому изданию (*Бибикин В. В. Витгенштейн и Хайдеггер. Один эпизод // Историко-философский ежегодник. 2003*).

«Наш вопрос <вопрос о Ничто: что и как оно есть> обычно привлекаемое основное правило всякого мышления вообще, положение об избежании противоречия, общезначимая “логика” отсекают... в корне. Мышлению, которое по своей сути всегда есть мышление о чем-то <о ноэматическом составе> поистине пришлось бы, занявшись продумыванием Ничто, действовать наперекор собственной сущности... Поскольку, таким образом, нам вообще отказано в возможности сделать Ничто предметом <ноэмой>, со всем нашим вопрошанием о Ничто мы уже подошли к концу — при условии, что в данном вопросе “логика” <ноэматический гуссерлев смысл> возвышается как последняя инстанция, что рассудок есть средство, а мышление — способ уловить Ничто в его истоках и принять решение о путях его потенциального раскрытия. ... Так ли уж надежна, однако, предпосылка этих рассуждений?»

«Не надежна», говорит Хайдеггер и предлагает выйти не только «за» ноэматику, но и «за» рассудочную ноэтику — в некую — условно — экзистенциально-экспрессивно-тональную первоосновность всего: *«Мы будем утверждать: Ничто первоначальнее, чем Нет и отрицание <рассудочная ноэса>. Если этот тезис правомочен, то возможность отрицания как действия рассудка и вместе с ней сам рассудок зависят неким образом от Ничто... Где нам искать Ничто? Как нам найти Ничто?»*

Чтобы найти Ничто, надо знать ‘сущее в целом’. Ноэматика здесь бессильна, но можно искать ‘сущее в целом’ в экзистенциально-тональной сфере ‘настроенностей’ сознания — в скуке, тоске, радости, волевой деятельности (по существу — это гуссерлевы «ноэсы сферы душевного и воли»): *«Даже тогда, и именно тогда, когда мы не заняты непосредственно вещами и самими собой, нас захватывает это “в целом” — например, при настоящей скуке. До нее еще далеко, когда нам просто скучна эта книга или тот спектакль, та профессия или это безделье. Она врывается, когда “берет тоска”. Глубокая тоска, бредящая в безднах нашего бытия, как глухой туман, сдвигает все вещи, людей и тебя самого вместе с ними в одну кучу какого-то странного безразличия. Эта тоска приоткрывает сущее в целом. Другую возможность такого открытия таит радость от близости человеческого бытия... Подобное настроение, когда “все” становится таким или Другим, дает нам — в лучах этого настроения — ощутить себя посреди сущего в целом. Наша настроенность не только приоткрывает, всякий раз по-своему, сущее в целом, но такое приоткрывание — в полном отличии от просто случающегося с нами — есть одновременно фундаментальное событие нашего человеческого бытия <«ноэсы сферы душевного и воли» первичны по отношению к ноэматическому составу и рассудочной ноэтике>. То, что мы называем такими “ощущениями”, не есть ни мимолетный аккомпанемент нашей мыслительной и волеполагающей деятельности, ни просто побудительный повод к таковой, ни случайно наплывающее состояние из тех, с какими приходится как-то справляться».*

Но и это паллиатив: *«Впрочем, как раз когда настроения ставят нас таким образом перед сущим в целом, они скрывают от нас искомое нами Ничто».* В истинном смысле выводит нас к Ничто архетипическое в этом отношении «настроение» или «состояние» (т. е. архетипическая ноэса): — «ужас»: *«Случается ли в бытии человека такая настроенность, которая,*

подводит его к самому Ничто? Это может происходить и действительно происходит — хоть достаточно редко — только на мгновения, в фундаментальном настроении ужаса (страха)». Ужас не обычная ноэса — он беспричинен и беспредметен (безноэмен): «Под этим “ужасом” мы понимаем не ту очень частую склонность ужасаться, которая, по сути дела, сродни излишней боязливости. Ужас в корне отличен от боязни. Мы боимся всегда того или другого конкретного сущего, которое нам в том или ином определенном отношении угрожает. Боязнь перед чем-то касается всегда тоже чего-то определенного... боязни присуща эта очерченность причины и предмета...».

Если относительно душевно-волевой сферы ноэматика еще сохраняет свое, впрочем, и там уже часто «подсобное», значение, то здесь Хайдеггер предлагает полную «предметоктомию», перерождающуюся в «ноэмоктомию»: *«Хоть ужас есть всегда ужас перед чем-то, но не перед этой вот конкретной вещью. Ужас перед чем-то есть всегда ужас от чего-то, но не от этой вот конкретной вещи. И неопределенность <не только несемантизируемая, но неоформленная и неоформляемая ноэмность> того, перед чем и от чего берет нас ужас, есть вовсе не простой недостаток определенности, а сущностная невозможность что бы то ни было определить <сущностная невозможность ноэматизировать и тем более семантизировать>. Она обнаруживается в нижеследующем известном объяснении. В ужасе, мы говорим, “человеку делается жутко”. Что “делает себя” жутким <какая «ноэма», какой субъект?> и какому “человеку”? Мы не можем сказать, перед чем человеку жутко <идея состояний, лишенных ноэм в принципе>. Вообще делается жутко. Все вещи и мы сами тонем в каком-то безразличии. Тонем, однако, не в смысле простого исчезновения, а вещи поворачиваются к нам этим своим оседанием как таковым. Это оседание сущего в целом насаждает на нас при ужасе, подавляет нас. Не остается ничего для опоры. Остается и захлестывает нас — среди ускользания сущего — только это “ничего”. Ужас приоткрывает Ничто <полное отсутствие ноэм, идей, смыслов как элементов «сущего»>.*

Для феноменологии говорения, конечно, центральная линия всей этой темы — то, какую языковую транскрипцию из Ничто и «фундаментального настроения ужаса» выводит Хайдеггер. Эта линия соткана им из разных нитей. С одной стороны, Хайдеггер дистанцирует язык от «фундаментального настроения ужаса» (*«Ужас пребывает в нас способность речи»*), но, с другой стороны, дистанцируется, похоже, не весь, а связанный именно с ноэматическим смыслом язык: *«Раз сущее в целом <все ноэматическое> ускользает и надвигается прямо-таки Ничто, перед его лицом умолкает всякое говорение с его “есть”»*. Поскольку «есть» всегда — там, где оно относится к ноэме (X есть Y), Хайдеггера, по-видимому, можно понять в том смысле, что всякая исключительно ноэматическая речь и только ноэматические смыслы ('то, о чем' речь) изначально ущербны. *«Ничто приоткрывает себя в настроении ужаса — но не как сущее <не как ‘обычная’ ноэма>. Равным образом оно не дано и как предмет...»* Как Ничто — не ноэма, так Ужас в качестве фундаментального настроения — не обычная ноэса: *«Ужас вовсе не способ постижения Ничто»*, хотя именно благодаря Ужасу *«и в нем Ничто приоткрывается»*, но делает это не так, как открывается в ноэсах

ноэватическое сущее. В Ужасе сущее «оседает», «при ужасе сущее в целом становится шатким» — наблюдается расщепление и распад ноэватического состава, но не полный: он «все-таки не уничтожается ужасом так, чтобы оставить после себя Ничто... Скорее, Ничто дает о себе знать, собственно, вместе с сущим и в сущем как целиком ускользающем». Фактически здесь — как надо, видимо, понимать — не идея абсолютного распыления, аннигиляции ноэватического состава («при ужасе вовсе не происходит уничтожение всего сущего»), а идея снятия покрывала абсолютности с ноэватического смысла, идея его погружения в творящую пустоту Ничто и превращение его былых форм в условность, в неполноту (если не в 'непрямоту'). Ужас «отшатывает» — отшатывает от себя, и Ничто тем самым опять «отсылает к тонущему сущему в целом». Ничто тем самым опять возвращает нас к ноэватике, но это уже другая ноэватика — прошедшая горнило смерти: присущее Ужасу и Ничто «отталкивающее отсылание» к ускользающему сущему в целом «приоткрывает это сущее в его полной, до того сокрытой странности как нечто совершенно Другое — в противовес Ничто». Ничто и Ужас — эти символы абсолютной внесубъектной ноэтики — одаривают, таким образом, исходную нерелектурирующую в Ужасе и потому ущебную ноэватикку ранее сокрытой странностью казавшегося когда-то нормальным предметного и — полной достижимости: «В светлой ночи ужасающего Ничто впервые достигается элементарное раскрытие сущего как такового: раскрывается, что оно есть сущее, а не Ничто». Это можно толковать так, что фундаментальная экзистенциально-экспрессивная ноэса впервые дает ноэме, по Хайдеггеру, раскрыться как именно ноэме. Фундаментальное ноэватическое состояние — «вовсе не пояснение задним числом, а изначальное условие возможности всякого раскрытия сущего вообще»; оно изначальнее любого ноэватического смысла.

Можно, радикализуя идею, сказать, что у Хайдеггера в истоке языка — внесубъектная праноэса. Решающий в этом отношении момент состоит в том, что фундаментальная модальность Ужаса, являющаяся изначальным условием уловления сущего в форме ноэм и смыслов, локализуется Хайдеггером до чистого Я и его свободных актов: «Без изначальной раскрытости Ничто нет никакой самости Я и никакой свободы». Вот итоговая формула Хайдеггера: «Тем самым ответ на наш вопрос о Ничто добыт. Ничто — не предмет, не вообще что-либо сущее <не «то, о чем», не ноэма в широком смысле>. Оно не встречается ни само по себе, ни рядом с сущим, наподобие приложения к нему. Ничто есть условие возможности раскрытия сущего как такового для человеческого бытия» — то есть Ничто в широком смысле есть вместе с Ужасом праноэса, в том числе для чистого феноменологического Я. Как 'праноэса сущего' Ничто обладает относительно Я предсуществованием. Понимание акта и интенции в таком случае также полностью де-персонифицируется. В перспективе «истинно» говорить может, с такой точки зрения, только сам язык.

На естественно возникающую здесь заминку понимания Хайдеггер тут же отвечает: «Только теперь наконец должно получить слово слишком уже долго сдерживавшееся сомнение. Если наше бытие может вступить в отношение к сущему..., только благодаря выдвинутости в Ничто, если Ничто изначальное открывается только в настроении ужаса <т. е. если ноэватические смыслы возможны в своем неущебном существе только

будучи погружены в фундаментальный Ужас Ничто, в фундаментальную бессубъектную и безъобъектную праноэсу», не придется ли нам постоянно терять почву под ногами в этом ужасе, чтобы иметь возможность вообще экзистировать? А разве не мы же сами признали, что этот изначальный ужас бывает редко? Что главное, мы ведь все так или иначе экзистируем и вступаем в отношение к сущему, каким мы не являемся и каким мы являемся сами, — без всякого такого ужаса. Не есть ли он прихотливая выдумка, а приписанное ему Ничто — передержка?»

То, что этот изначальный ужас бывает лишь в редкие мгновенья, означает *«Только одно: на поверхности и обычно Ничто в своей изначальности от нас заслонено <изначальность тональной праноэтики по отношению к нозматике для нас обычно заслонена>. Чем же? Тем, что мы в определенном смысле даем себе совершенно затеряться в сущем <в хаотично воспринимаемых нозматических смыслах>. Чем больше мы в своих стратегемах поворачиваемся к сущему, тем меньше мы даем ему ускользнуть как таковому; тем больше мы отворачиваемся от Ничто»*. Но тем бесповоротней остаемся на смысловой поверхности бытия: *«Зато и тем вернее мы выгоняем сами себя на общедоступную внешнюю поверхность нашего бытия»*, тем вернее остаемся на облегченной нозматической поверхности смысла, отсекая сами себя от его тонально-ноэтических измерений и фундаментальных тонально-ноэтических предусловий.

Нозматический смысл сам по себе не может восприниматься человеком абсолютно — фактически он при неложном взоре «отчуждающе странен» — неполон, неотчетлив, небуквален, размыт и т. д., и только *«единственно потому, что в основании человеческого бытия приоткрывается Ничто»*, эта отчуждающая странность сущего *«способна захватить нас в полной мере»* и то — потому, что пробуждает и вызывает в нас «удивление» своей странной, ранее неосознаваемой неполнотой. *«Только на основе удивления — т. е. открытости Ничто — возникает вопрос “почему?”. Только благодаря возможности “почему?” как такового мы способны спрашивать определенным образом об основаниях и обосновывать»*. Жизнь внутри одного только нозматического смысла (интерпретируем) — бесследное скольжение по поверхности смысловых глубин, сплошь тонально-ноэтических.

Экскурс 5

Экспрессивная теория Г. Шпета как версия 'аналитической феноменологии'

§ 1. Аргументация Шпета. § 2. Шпет, Боратынский, смысл и экспрессия. § 3. Шпетовская экспрессия, симпатическое переживание, «комическое» и гипотеза Эйнштейна. § 4. Парафразы и «очищенный» от экспрессии смысл стихотворения Боратынского. § 5. «Объективная» смысловая значимость «экспрессии». § 6. Система оговорок Шпета, усложняющих и в конечном счете размыкающих ситуацию. § 7. Поэтический пропуск в сферу смысла. § 8. «Ноевская», экспрессия и синтаксис. § 9. Суггестивная сила шпетовских идей. «Аналитическая феноменология».

§ 1. Аргументация Шпета. Шпет выделяет восемь моментов понимания слова: «Услышав произнесенное *N* слово, — пишет Шпет, — независимо от того, видим мы *N* или нет, осязаем его или нет, мы умеем воспринятый звук отличить, (1) как голос человека – от других природных звуков... (2) как голос *N* – от голоса других людей... (3) как знак особого психофизического (естественного) состояния *N*... Все это – функции слова естественные, природные, в противоположность социальным, культурным. До сих пор слово еще ничего не сообщает <а значит и смыслом не является>; сам *N* есть для нас "животное", а не член, *in potentia* или *in actu* сознаваемого, общежительного единства. Далее (само собою разумеется, что эта последовательность не воспроизводит временного эмпирического ряда в развитии и углублении восприятия), – мы воспринимаем слово как явление не только природы, но также как факт и "вещь" мира культурно-социального. Мы воспринимаем, следовательно, слово (4) как признак наличности культуры и принадлежности *N* к какому-то менее или более узко сознаваемому кругу человеческой культуры и человеческого общежития, связанного единством языка. Если оказывается, что язык нам знаком, каковая знакомость также непосредственно сознается, то мы его (5) узнаём как более или менее или совершенно определенный язык, узнаём фонетические, лексические и семасиологические особенности языка, и (6) в то же время понимаем слышимое слово, т. е. улавливаем его смысл <только в шестом моменте вводятся смысл и сообщение>, различая вместе с тем сообщаемое по его качеству простого сообщения, приказа, вопроса и т. п., т. е. вставляем слово в некоторый нам известный и нами понимаемый смысловой и логический номинативный (называющий вещи, лица, свойства, действия, отношения) контекст. Если кроме того мы достаточно образованны, т. е. находимся на соответствующей ступени культурного развития, мы (7) воспринимаем и, воспринимая, различаем условно установленные на данной ступени культуры формы слова в тесном смысле морфологические ("морфемы"), синтаксические ("синтагмы") и этимологические (точнее, словопроизводственные) ...».

«Экспрессия»¹ относится Шпетом к последнему, восьмому моменту и оценивается как особо отстоящая от других моментов понимания: *«Особняком стоит еще один момент восприятия слова, хотя и предполагающий восприятие слова в порядке культурно-социальном, т. е. предполагающий понимание слова тем не менее как факт естественный, сам лежащий в основе человеческого (и животного) общения. Это есть (8) различие того эмоционального тона, которым сопровождается у N передача понимаемого нами осмысленного содержания "сообщения". Мы имеем дело с чувственным <т. е. не осмысленным, не смысловым> впечатлением (Eindruck) в противоположность осмысленному выражению (Ausdruck), с со-чувством с нашей стороны в противоположность со-мышлению. Тут имеет место "понимание" совсем особого рода — понимание в основе своей без понимания, — симпатическое понимание. Здесь восприятие направлено на самую личность N, на его темперамент и характер, в отличие от характера и темперамента других людей, и на данное его эмоциональное состояние, в отличие от других его прошлых или вообще возможных состояний. Это есть восприятие личности N, или персонное восприятие и понимание. Оно стоит особняком, носит природный характер и возвращает нас к (3) <т. е. к «(3) как знаку особого психофизического (естественного) состояния N, в котором он «сам N есть для нас 'животное', а не член, in potentia или in actu создаваемого, общежительного единства»>. Только теперь восприятие эмоционального состояния N связывается нами не просто с психофизическим состоянием N, а с психофизическим состоянием, так или иначе приуроченным нами к его личному пониманию того, что он сообщает, и его личному отношению к сообщаемому, мыслимому, называемому, к экспрессии, которую он "вкладывал" в выражение своей мысли.»*

Исключаемую из «смысла» экспрессивность слова Шпет мыслил широко: сюда относились кроме тона и другие явления — напр., представления, волнения, желания, симпатии, антипатии, т. е. — переведем на гуссерлев язык — нозы душевных и волевых актов, нозы актов аксиологических и оценочных, фактически — все нозы и нозтика в целом (см. в тексте статьи). Все нозы — «личные», «субъективные», общий смысл — только в семантизованном составе. Фиксируя в последнем фрагменте работы теоретическое обоснование экспрессивной теории, Шпет начинает тему с тех «представлений», которыми N сопровождает свое сообщение». Это, по Шпету, его личные, персональные переживания, его личная реакция на сообщаемое. *«Сообщая нам нечто, он вольно или невольно "передает" нам также свое отношение к сообщаемому, свои волнения по поводу его, желания, симпатии и антипатии <акцент и здесь ставится на субъективном характере>. Все эти его переживания в большей мере, чем через слово, передаются нам через его жестикуляцию, мимику, эмотивную возбужденность».*

¹ Следует, видимо, специально оговорить то обстоятельство, что здесь, в Экскурсе о «теории экспрессивности» Шпета, мы, соответственно, применяем понятие «экспрессии» в его шпетовском смысле; но этот смысл отличен от того, который придается нами этому понятию в рамках феноменологии говорения (см. текст статьи — раздел 2. 5., § 56 «*Диапазон тональности по оси 'экспрессия/импрессия'*»).

§ 2. Шпет, Боратынский, смысл и экспрессия. В надежде на контрастную показательность иллюстрации посмотрим на шпетовскую теорию экспрессии как не входящей в смысл высказывания «в действии» — на шпетовскую интерпретацию стихотворения Боратынского.

Шпет: *«Величайшая углубленность интуиций разума — не в том, что они якобы доставляют нас в "новый" запредельный мир, а в том, что, проникнув через все нагромождение онтических, логических, чувственных и не-чувственных форм, они прямо ставят нас перед самой реальной действительностью... Боратынский написал:*

*Старательно мы наблюдаем свет,
Старательно людей мы наблюдаем
И чудеса постигнуть успеваем²—
Какой же плод науки долгих лет?
Что, наконец, подсмотрят очи зорки?
Что, наконец, поймет надменный ум
На высоте всех опытов и дум?
Что? Точный смысл народной поговорки.*

Как странно, что эта мысль облечена в пессимистическое выражение! Как будто здесь не указано на постижение величайшего из уповаемых чудес! И не это ли надменность ума — считать такой результат не стоящим усилий наблюдения зорких очей, опытов и дум?».

Этот мимоходом и вскользь произведенный анализ стихотворения Боратынского несколько противоречит здесь же излагаемой теории экспрессивности. «Пессимистическое выражение» — разве это не экспрессия стиха и разве ее, следовательно, надо изымать из смысла? Дело даже не в том — хотя, конечно, и в этом тоже, — что Шпет скорее всего ошибается, считая, что смысл стихотворения облачен в «пессимистическое» выражение (во всяком случае Боратынский вряд ли имел в виду что-либо похожее на то, что содержится в известном афоризме Витгенштейна: «В долинах глупости для философа произрастает больше травы, чем на голых вершинах ума»); дело в том, можно ли, как предлагает теория Шпета, полагать, что этот привоображенный «пессимизм» (или скорее всего иная присутствующая в стихотворении «экспрессия») не влияет на смысл стихов, не составляет его неотмысливаемого компонента. Действительно ли этот «пессимизм» или другая экспрессия не относится к смыслу стихотворения, не — что в теории Шпета то же самое — «сообщается»? Ведь если даже принять, что здесь — именно пессимистическая тональность, то и тогда при изъятии экспрессии смысл стихов существенно сместится — в сторону, условно, «танталовой тщетности» всех опытов и дум.

То, что именно такого экспрессивного тона в стихотворении совсем нет и что Шпет привнес пессимизм от себя (что, кстати сказать, входит в противоречие с той шпетовской идеей, в доказательство которой и приводится это стихотворение), никак дела не меняет: в этих стихах есть другая «пропущенная» Шпетом, но также влияющая, с нашей точки зрения, на смысл сообщения «экспрессия». О точной формулировке этого мнения-экспрессии говорить трудно, но уж если искать в предложенном Шпетом поле, то здесь можно усмотреть не пессимизм надменного индивидуального ума, а скорее «оптимизм». Приблизительно: в антиномической игре

² Неточность цитирования: у Боратынского — «уповаем».

«народная поговорка — надменный индивидуальный ум» здесь выражена оптимистическая самоирония последнего над своими притязаниями мнить себя высшей формой познания.

При желании можно повернуть интерпретацию и так, чтобы усмотреть здесь «пессимизм» — но совсем не тот, о котором говорит Шпет. Пессимизм можно усмотреть в том случае, если поменять источник исхождения и направление искры экспрессии, пробегающей по вольтовой дуге антиномичного смыслового натяжения между надменным индивидуальным умом и общим коллективным знанием. Экспрессию стихотворения можно воспринять как «пессимистическую» в том случае, если оценивать направление движущейся по этой дуге смысловой искры противоположным мыслимому в интерпретации Шпета: пессимизм понизит ценностный статус не народной поговорки, как получается у Шпета в его трактовке мнения Боратынского, а индивидуального ума. Если же мыслить как предмет оценки народную поговорку, что предлагается в шпетовской интерпретации, то по отношению к ней у Боратынского здесь, напротив, то, что скорее можно назвать оптимизмом.

Собственно говоря, имеются основания думать, что сам Шпет здесь фактически тоже полагает, что «пессимизм» Боратынского (т. е. экспрессия стихотворения, каковой бы она ни была, а значит, и элемент поэтики) входит-таки в смысл стихотворения: это ли не надменность ума, говорит Шпет, *считать*, что «такой результат не стоит усилий наблюдения зорких очей, опытов и дум»? «Считать» — значит, Шпет мыслил здесь не побочную внесмысловую экспрессию, а «момент смысла» — момент замысла Боратынского, «сообщенного» в стихе. «Пессимистическая» экспрессия тем самым в некоторой степени все же мыслится Шпетом — вопреки теории — входящей в смысл стихотворения.

Дело, повторимся, не в толковании смысла экспрессии, а в том, что какая бы она в данном случае ни была, она относится к смыслу стихотворения, но не к нозматическому или, по-шпетовски, к семантическому, а — к тому, который выше был назван *ноэтическим смыслом* или нозэтическим компонентом смысла. То, что Шпет называет «экспрессией», имеет, с нашей точки зрения, много форм выражения, причем не только субъективных, но и типологически общих. Последние и значимы для феноменологии говорения в первую очередь, — они составляют нозэтический смысл, непосредственно входящий в смысл высказывания, будучи его задуманным и предназначенным к «сообщению» компонентом.

Но на самом ли деле Шпет понимал ситуацию столь однолинейно? Не было ли здесь каких-то подводных течений? Во всяком случае для поэзии все это звучит экстравагантно. Да и кроме того, в радикальном шпетовском теоретическом замахе к экспрессии скопом были отнесены многие в действительности отличные по природе и функциям языковые явления. И действительно: по мере разворачивания радикальной шпетовской теории смысла лицом к поэзии в ней все отчетливее возрастало напряжение, которое в конечном счете вылилось в тонкое различие форм экспрессии, в повышение некоторых из них до ранга «логических форм смысла» (чего так и не случилось во многих более поздних нозматически-семантических теориях смысла) и, главное, в острую и точную постановку

фундаментальных проблем в этой сфере (что свойственно обычно именно радикальным концепциям).

§ 3. Шпетовская экспрессия, симпатическое переживание, «комическое» и гипотеза Эйнштейна. Для подтверждения оценки исходных постулатов шпетовской теории смысла как «внеэтических» и нацеленных преимущественно на семантику (в ее качестве языкового поработителя гуссерлевой ноэматики) приведем — с параллельным комментарием — одно из рассуждений Шпета, связанное с симпатическим переживанием и потому имеющее косвенное отношение к теме инсценирования языком актов сознания

«Нет надобности думать, — пишет Шпет, — что определенного качества переживание N возбуждает в нас переживание того же качества.» Надо, видимо, понимать это так, что ноэса не может вызвать в слушателе такую же ноэсу, а вот семантика (ноэма) — может. Но есть ли гарантии и «надобность думать», что определенный смысл N, т. е. определенный семантический состав, возбудит в нас тот же смысл — ту же ноэму? Как вообще можно «возбудить» смысл без ноэсы? Без индуцирования актовой стороны в воспринимающем сознании? Что: смысл можно просто «передать» как вещь из рук в руки в обертке из слов? *«Не только степени симпатического переживания неопределенны и меняются от воспринимающего к воспринимающему, но даже качество переживания у воспринимающего не предопределяется качеством переживания N. Его радостное сообщение может вызвать в нас тревогу, его страх — раздражение и т. п.»* Продолжим это «т. п.»: «пессимизм» Боратынского может вызвать у Шпета удивление, но при этом Шпет будет согласен со смыслом стихотворения Боратынского.

Разумеется, Шпет прав: ноэсы в смысловом отношении часто расплывчаты и изменчиво-подвижны «при передаче» от сознания к сознанию, но разве семантика уж столь объективированно-предметна и статуарна? Невозможно разве, чтобы семантика слова N, назовем его A, вызвала в нас смысл B? Это тем более вероятно, если ноэсы сплошь «субъективны», а воспринять ноэматический смысл без ноэсы нельзя. *«Со-переживания наши, однако, следует отличать от самостоятельных, не симпатических реакций наших и на содержание сообщаемого, и на собственные чувства N».* Фактически Шпет предлагает здесь воспринимать и понимать ноэмы и ноэсы в отдельности. *«Так, его страх по поводу сообщаемого (имеется в виду семантически фиксированный говорящим страх) вызывает непосредственно, симпатически раздражение, а само по себе сообщаемое может вызвать при этом недоумение о причинах его страха, а сознание того, что N испытывает страх по такому поводу, может вызвать чувство комического и т. п.»* Эти точные шпетовские рассуждения хорошо ложатся на вводимый нами далее вслед за Бахтиным «диапазон тональности по оси экспрессия/импрессия» (см. одноименный параграф). Но не может ли оказаться так, что ощущаемое слушателем «недоумение» будет показателем непонятости для него передаваемого смысла? Да и разве само «недоумение» — не смысл? Смысл — поскольку «недоумение»; оно есть содержательная искра, вспыхивающая от смещения ноэтических и ноэматических составов относительно друг друга (наподобие описанных Гуссерлем опущений или стяжений).

Кроме того: разве не может «недоумение» быть специально инсценированным? Если может, то считать ли его тогда входящим в смысл сообщения? Лингвистически значимы как раз те случаи, когда то же, напр., упомянутое Шпетом «комическое» намеренно выражается (напр., в пародии), а не независимо ощущается слушающим. При этом обнаруживается удивительная вещь: оказывается, что такое «намеренное комическое» организовано схожим с описываемым Шпетом образом (за счет «зазоров» между нозмами и нозсами, за счет их смещений относительно друг друга). Как же толковать это намеренное комическое? Как смысл? Но оно ведь не входит, как того требует теория Шпета, в непосредственно семантический (нозматический) смысл высказывания, что считается условием бытия смыслом. Или толковать это намеренное комическое как экспрессию, не имеющую отношение к смыслу? Но ведь если лишить, напр., остроту комического эффекта, порождаемого нозматическим смыслом (различного рода инсценированными конфигурациями нозс), ее семантическое значение становится бессмысленным.

Шпет говорит далее: *«Во всяком случае, слово выполняет, играя роль такого возбудителя (возбудителя комического), новую функцию, отличную от функции сообщающей, — номинативной, предизирующей, семасиологической, — и в структуре своей выделяет для выполнения этой функции особый член»*. Замечание — существенное: оно одновременно и подчеркивает семантическую подоснову шпетовской теории смысла, и начинает «размыкать» ее исходную теоретическую замкнутость. Семантическая подоснова сохраняется и здесь: для выполнения какой-либо действительно смысловой функции в структуре высказывания должен быть специальный для этого «член» — непосредственно семантическая метка, но Шпет размыкает круг сугубо семантического смысла: здесь признается возможное наличие такого «члена» и в случае, если говорящий прямо сообщает о своих чувствах (экспрессии) по поводу передаваемого содержания (т. е. полноценно семантизует свои нозсы) и непосредственно вводит их тем самым в состав смысла. Но это еще не полностью размыкает ситуацию: ведь, по-видимому, здесь имеются в виду лишь случаи прямой семантизации нозс по типу: *«Я боюсь, что это волк там в лесу...»*, случаи же экспрессии по типу «пессимизма» Боратынского продолжают выпадать из этого разрешаемого для вхождения в смысл круга явлений. Во всяком случае далее дается обобщенная формулировка тезиса, заостренная именно в этом направлении: *«Таким образом, если нет в слове или среди слов особого "выразителя" субъективных "представлений" N (нет специального и отдельного — семантического — выразителя «пессимизма» или иной «экспрессии» Боратынского, нет для него прямого семантического облачения), то нужно признать, что для слова как такого эта функция вообще является второстепенной, прибавочной. И, конечно, дело так и обстоит... Воспринимающий речь понимает ее, когда он вошел в соответствующую сферу, и он симпатически понимает самого говорящего, когда он вошел в его атмосферу, проник в его самочувствие и мироощущение. Из этого ясно, почему в слове, как таком нет особого носителя субъективных представлений и переживаний говорящего. Через них понимание слова как такого не обогащается. Здесь речь идет о познании не смысла слова, а о познании самого высказывающего то слово. Для слова это — функция побочная... Этого заключения нужно твердо*

держаться... Функция, с которой мы имеем дело, выполняется не над смыслом, основанием слова, а ek parergou над известным наростом вокруг слова... Чтобы отличить эту выразительность слова от его выразительной по отношению к смыслу способности, лучше ее отличать особым условным именем. Таково название: экспрессивность слова...». Какая бы ни была, таким образом, экспрессивность в стихотворении Боратынского, она понимается как несколько не влияющая на его смысл.

Сам Шпет *«твердо держится»* этого заключения: если N *«говорит о луне, звездах, музыке, пожаре, гипотезе Эйнштейна, голоде, революции, и пр., и пр., то мы так и будем понимать, что он говорит об этих "вещах", а не о своем представлении этих или других вещей»*. Но не будет ли любое высказывание о «гипотезе Эйнштейна» или «революции» выражением в том числе и своего представления о них? *«Если же он переменит тему и заговорит о своих представлениях этих и других вещей, то 1) мы поймем, что он переменял тему, и 2) мы на сами "представления" <т. е. нозы> теперь станем смотреть как на объективируемые словом sui generis "вещи" <т. е. как на семантизированные нозы, переведенные тем самым в статус нозм и смыслов>, о которых его представления <т. е. «представления представлений»> опять-таки, нашего внимания до поры до времени не привлекут»*. Но разве не бывает так, что говорящий не «меняет» тему, а сразу одновременно и нерасчлененно говорит и о «гипотезе Эйнштейна», и о своих представлениях о ней (да и как их развести? всякий ли может их развести?), что нозматические и нозитические нити переплетены в семантической ткани речи, проникая своей сплетенностью иной раз и в глубь лексической семантики. Как же тогда должен действовать слушающий, что он должен понимать как смысл сообщения? Продолжать думать, что из уст в уста получил «саму» «гипотезу Эйнштейна» (и только ее), хотя в действительности вместо готового и чистого смысла эйнштейновской гипотезы он получил в основном представление о ней говорящего или в лучшем случае то и другое вместе?

§ 4. Перефразирование и «очищенный» от экспрессии смысл стихотворения Боратынского. Посмотрим на ситуацию со шпетовским анализом Боратынского с другой стороны: если «пессимизм» Боратынского не входит в «сообщение», в смысл стихотворения, то каков, собственно говоря, смысл этих стихов без их экспрессивной компоненты? Перефразируем стихотворение таким, напр., образом: *«Результаты последовательных интеллектуальных размышлений о жизни и людях совпадают со смыслом народных поговорок»*. Здесь, действительно, выключена «экспрессия» Боратынского, какой бы — пессимистической или оптимистической — она ни была. Но дело в том, что экспрессия — мы говорим не о субъективной, а о типологической экспрессии — здесь изначально «была», «была» именно внутри смысла, и потому *ее снятие при перефразировании изменило смысл высказывания*: вместе с экспрессией в нейтральной формулировке пропала та фундирующая ее антиномичность того, что «совпадает» или «совпадет», о которой говорилось выше. В перефразированной форме «участники» отождествления сами по себе — в абстрактно-семантическом нейтральном плане — не антиномичны, они могут мыслиться как имеющие антиномичные отношения лишь в соответствующем актуализирующем эту антиномичность культурном контексте, причем в одном из многих одновременно сосуществующих в

лоне «всеобщей» и «нейтральной» семантики. Актуализирует же именно этот контекст и тем самым в определенном смысле создает антиномичное напряжение между умом и поговоркой именно экспрессия Боратынского; с ее выключением выключается и контекст, и смысловой эффект отождествления антиномичного, а у нас в руках остается не искомый Шпетом «истинный и объективный» смысл, а лишь типологически частное, или прямо субъективное, синтетическое суждение.

Не будем делать сильного утверждения, что трансформация любого экспрессивного выражения в нейтральное искажает исходный смысл, но в нашем случае это так: нейтральная перефразировка как минимум урезает смысл. В приведенном варианте нейтральной переформулировки ошутимы не только связанные с экспрессией и погашением антиномичности, но и другие смысловые потери. Исчез, в частности, тот момент смысла, который связан с пониманием «умом» «на высоте всех опытов и дум» не просто «смысла» народной поговорки, а ее «точного» смысла, который, надо полагать, до этих старательных размышлений «умом» не понимался, хотя поговорки были известны. Или — чтобы отразить этот момент — здесь надо было бы вышелушивать другой ‘очищенный’ смысл, вроде: *‘Только после длительных старательных размышлений индивидуальный ум может понять точный смысл народной поговорки’*? Или: *‘Точный смысл народной поговорки может стать доступен только в результате длительных старательных размышлений’*? Может, и так, и эдак, но и то, и это — уже иной смысл, чем в первом варианте нейтральной формулировки и чем в исходном тексте.

Существует ли вообще возможность выразить в специально создаваемых семантически полнокровных предложениях некий «нейтральный» смысл высказывания? Сам факт перебора различных вариаций «нейтрального» выражения смысла стихотворения говорит о том, что вряд ли. Даже если счесть, что смысл стихотворения Боратынского может быть выражен предельно минималистски — чем-то вроде формулы: *«результат мышления = смыслу поговорки»*, и в таком случае, если не «в таком случае — тем более», гасится антиномичность.

Шпет, скорее всего, усматривал в стихотворении Боратынского аналитизм, налет которого отдаленно ошутим в приведенной формуле тождественного суждения. Но действительно ли такого рода формула может считаться «смыслом» аналитического суждения, наподобие ‘объективного предложения’ или ‘предложения-в-себе’ — в том значении, в каком ранний Гуссерль говорил об ‘объективных высказываниях’ в «Логических исследованиях» и какое, наверное, как раз и вдохновляло Шпета в его поисках очищенного от экспрессии смысла: *«Объективные высказывания — те, содержание которых устанавливается или может быть установлено только из их фонетического проявления без обращения к выражающей себя личности (аналог всегда субъективной шпетовской экспрессии — Л. Г.) и к обстоятельствам этого высказывания...»* — ЛИ, 84). И в ЛИ, и тем более позже Гуссерль относил сюда только аксиомы и теоремы, логическую и символическую арифметическую речь, «точные» выражения вроде *имеются правильные тела* или *все тела протяженны*. Фактически это только номинации — развернутые в предложения номинации, чья предикативность подчеркнута аналитического свойства. Выражение *«результат мышления равен смыслу поговорки»* никак сюда не относимо; и эта формула тоже, как

и все пробные семантически однозначные «нейтральные» перефразировки, является не аналитическим, а синтетическим высказыванием. Выделяемые здесь два «терма» аналитически никак не взаимосвязаны — *вне актуализирующей определенной контекст экспрессии Боратынского*. И за этой формулой чувствуется «голос», контекст, экспрессия: за этой формулой чувствуется возможное несогласие с ней или возможность экспрессивного перевертыша (*“В долинах глупости для философа произрастает больше травы, чем на голых вершинах ума”*) — чего нет во фразах *имеются правильные тела* или *все тела протяженны*. Из «термов» ‘ум’ и ‘народная поговорка’ нельзя составить аналитическое тождественное суждение; будучи составленным, оно само заставит себя слышать как синтетическое, оно само «представит» образ того, кто мог бы так сказать.

§ 5. «Объективная» смысловая значимость «экспрессии». Мы ведем все это к тому, чтобы зафиксировать следующее важное обстоятельство. Типологические формы экспрессии или (по предлагаемой здесь терминологии) ноэтические компоненты смысла не только входят в ядро передаваемого смысла, но могут участвовать в создании его несущих конструкций — как это и происходит в случае экспрессии Боратынского, воссоздавшей антиномическое напряжение определенной ноэтической ситуации и тем окончательно сформировавшей смысл «сообщения». Синтетические высказывания, соединяющие аналитически не «вкрученные» друг в друга наподобие «матрешек» лексемы, а таких подавляющее большинство, могут за счет опоры на ноэтические компоненты смысла развернуть прямую семантику используемых языковых единиц в необходимую для них сторону, в том числе и в аналитическую, но для этого они должны активизировать нужный культурный контекст или своими силами создать между ними новые смысловые, вплоть до аналитических, связи.

Если идти с обратной стороны, то это же можно передать и иначе: смысл может быть выражен через самую разную языковую семантику, которая всегда одновременно и всеобща, и типически окрашена, и разворачивается говорящим в нужную в каждом данном случае сторону (см. в связи с этим в бахтинском СВР тему об интенциональной расхищенности семантики языка и о необходимости для говорящего в таких условиях совершать выбор из разных вариантов речевого поведения). Процессы интенционального расхищения общезначимой семантики языка с действительной силою значимы, конечно, не в гуссерлевых актах выражения, а в живой речи. Именно здесь, в частности, могут столкнуться разные — и типические, и личные — интенциональные приватизации одной и той же лексемы. Это может привести не только к проскальзыванию сквозь интенциональные раздоры непрямого смысла, но и к тому, что многие, если не все, специально препарированные «нейтральные» формулировки очищаемого от экспрессии смысла в действительности тоже совсем не окажутся однозначным смыслом «сообщения». В них — если это не выверенная логическая форма — всегда «вмешиваются» стоящие за интенциональной расхищенностью семантики чужие «голоса», пробираясь и во все однозначные варианты «нейтральных» перефразировок, отчего каждая из них может обрести новыми, не имевшимися в исходной фразе в виду, смысловыми коннотациями ноэтической природы, в том числе и экспрессивными.

Не будучи обязательно выражены семантически (как в примере из Боратынского), но будучи, как у Боратынского, основанными на типологических ноэтических ситуациях и потому универсально неизбежными, такие «ячейки» ноэтического смысла допускают замены, но не пустоты. Чтобы не остаться полой, такая «ячейка» обязательно впустит в себя при перефразировании (пойдет на «подстановку») какой-либо новый ноэтический смысл, в том числе и новую экспрессию, напр., — от лица слушающего и порождающего перефразировку. Понятно ведь, почему Шпет процитировал в качестве подтверждения своей теории именно это стихотворение. Вместо «пессимистической» экспрессии Боратынского он подставил другую экспрессию, подаваемую им как нейтральный и «объективный» смысл сообщения, однако эта мыслившаяся Шпетом почти аналитическая «объективность» сама является таким же культурно-контекстуальным или личным — а не нейтрально-общезначимым — представлением, но теперь — его собственным, точнее, соответствующим разделяемому им «интенциональному контексту». Шпет усмотрел в смысле этого «сообщения» не идею отождествления антиномичного, которая предполагает сохранение каждой стороной своей автономной значимости, а аналитизм и генологическую идею — идею сущностного единства означенных термов (не в платоновой ли «идее»?) при возможности лишь сугубо функциональных расхождений. В зону влияния этой идеи входят и развивавшиеся Шпетом положения о сущностном единстве мысли и языка, о невозможности их разведения, о невозможности чистого внеязыкового мышления (последний тезис обосновывался Шпетом, по-видимому — в противовес Гуссерлю, на всем протяжении «Эстетических фрагментов»). Еще вопрос, содержит ли стихотворение Боратынского такой — упрощенно говоря — вывернутый на логическую изнанку тезис русской философии начала XX века о слове как плоти смысла? Если можно знать поговорку, выражающую «истину» или «правду», но тем не менее не понимать ее до поры до времени «точно» — разве это предполагает сущностное единство языка и мышления? Это ближе, скорее, к тому, как описывал схожие ситуации Гуссерль, признававший возможность существования независимых от языка ипостасей смысла и оспариваемый в этом пункте Шпетом: при внезапном — «вдруг» — понимании языкового выражения происходит, говорил Гуссерль, не изменение смысла, не сдвиг семантики — а *сдвиг акта*, т. е. сдвиг в понимании инсценируемой высказыванием ноэтической ситуации. Шпетовская интерпретация оставляет в сохранности семантический смысл стихотворения Боратынского, но меняет его исходную ноэтическую ситуацию и помещает в другую, фундируемую иным «направленческим» контекстом — тем, в котором интенции лексем «ум» и «поговорка» аранжированы иначе, чем, скажем, в символизме: не антиномически, а генологически. Символическая идея антиномического тождества мысли и языка не равна идее их генологического генетического единства, это — и иная идея, и иная «логическая форма», и другая ноэтическая ситуация.

§ 6. Система оговорок Шпета, усложняющих и в конечном счете размыкающих ситуацию. Как уже говорилось, Шпет периодически вводил в изложение своей теории экспрессивности различного рода смягчающие оговорки. Напр., такую: все личные переживания говорящего в большей мере, чем через слово, передаются нам через его жестикуляцию, мимику,

эмотивную возбужденность, но «они отражаются и на самом слове, на способе его передачи, на интонациях и ударениях, на построении речи, спокойном или волнуемом, прерывистом, заикающемся, вводящем лишние звуки или опускающем нужные, и т. п. И несомненно, что в весьма многих случаях этот "член" в структуре слова для нас превалирует, так что само передаваемое со своим смыслом, по его значению для нас отходит на второй план.

Значенья пустого слова / В устах ее полны приветом...То истиной дышит в ней все, / То все в ней притворно и ложно; / Понять невозможно ее, / Зато не любить невозможно.

Понимание как интеллектуальный фактор в восприятии такого слова, или в восприятии слова с этой стороны, отступает на второй план, и приходится говорить, если о понимании все-таки, то пониманию особого рода, не интеллектуальном, а любовном или ненавидящем».

В конечном счете совокупность смягчающих уступок ноэтике привела к значительной — острой и точной — постановке в связи с ней концептуальных проблем. В частности, Шпет непосредственно формулировал тот интересующий нас языковой случай, когда нечто из области экспрессии облачается в прямую семантическую форму: тогда этот, пусть и ноэтический по генезису, смысл получает от Шпета пропуск в ограду «объективного» смысла высказывания. В том числе и для «экспрессии» главным условием вхождения в смысл высказывания является приобретение ею семантического облачения. Шпет оговаривает разного рода особые случаи, когда экспрессивно-тональные моменты могут влиять на смысл. Напр.: «...Осложненный случай, когда *N* скрывает свое душевное состояние ("волнение"), подавляет, маскирует, имитирует другое, когда *N* "играет" (как актер) или обманывает, такой случай вызывает восприятие, различающее или неразличающее, в самом же симпатическом и интеллектуальном понимании, игру и обман от того, что переживает *N* "на самом деле". Получается интересная своего рода суппозиция, но не в сфере интеллектуальной, когда мы имеем дело с словом о слове, с высказыванием, сообщением, смысл которых относится к слову, а, в параллель интеллектуальной сфере, в сфере эмоциональной. Здесь не "значение" налезает на "значение", а "со-значение" — на "со-значение", синекдоха (не в смысле риторического тропа, а в буквальном значении слова) на синекдоху. Можно сопоставить это явление также с настилением символического, иносказательного вообще смысла или смыслов на буквальный — своего рода эмоциональный, герм. экспрессивный символизм, которого иллюстрацией, например, может служить условность сценической экспрессии». Видно, что Шпет имел в том числе целью постепенно развернуть свою теорию смысла лицом к художественной сфере.

Особо Шпет выделяет случай семантически выраженной «эмоциональности»: «Возможно также 'осложнение' другого типа: *N* сообщает (это значит — облачает в семантику, делает смыслом, тематизирует — Л. Г.) о своем собственном эмоциональном состоянии — особенно об эмоциональном состоянии, сопровождающем высказывание, тогда его состояние воспринимается (а) как смысл или значение его слова, по пониманию, и как (b) со-значение, по симпатическому пониманию, (a) и (b) в таком случае — предметные данности разных порядков: (a) относится к (b) (т. е. к собственно смыслу, сообщению), (b) — к (8)», т. е.

ко вторичной экспрессивной функции, отражающей субъективные представления говорящего. В случае семантизации экспрессии (в нашей терминологии — в случае перевода нозы в нозму) как минимум часть ее и по Шпету, таким образом, войдет в смысл сообщения, повышаясь в рейтинге и становясь из нозы нозмой.

§ 7. Поэтический пропуск в сферу смысла. Логически же выведенная и выверенная существенная концептуальная «оговорка» производится в шпетовской теории на подступах к поэтическому языку: *«Лишь одно обстоятельство следует наперед и обще отметить, потому что оно действительно играет особую роль, когда становится целью сознательного усилия. Там, где подмечено особое эмоциональное значение экспрессивных свойств слова и где есть целесообразное старание пользоваться словом для того, чтобы вызвать соответствующее впечатление, там находит себе место своеобразное творчество в сфере самого слова и творчество самого слова. Созданное для цели экспрессии и импрессии, слово, затем, обогащает и просто сообщающее слово».* Шпет фиксирует здесь то, что предполагается и феноменологией говорения: экспрессивность может входить непосредственно в смысл высказывания. Но по Шпету это может происходить только в особой сфере: *«Это есть творчество поэтического языка».*

Помимо того, что экспрессия, с нашей точки зрения, может непосредственно входить в смысл не только в поэзии (разве не входит, напр., экспрессия в смысл пассажа самого Шпета: *«Без-чувственная мысль — нормально; это — мысль, возвысившаяся над бестияльным переживанием. Без-словесная мысль — патология; это — мысль, которая не может родиться, она застряла в воспаленной утробе и там разлагается в гное»* и т. д.), можно зафиксировать и различия в понимании «условий» вхождения экспрессии в смысл. Исходя из дальнейших объяснений Шпета, следует, кажется, заключить, что и в смысл стихотворения тоже может войти только то, что выражено непосредственно семантически и что так или иначе фундировано логической формой, а сюда Шпет по особо оговоренным основаниям включал фигуры речи и тропы: *«Те средства, к которым обращаются для этих целей, издавна получили название фигуральных средств или просто фигуральности слова. Как некоторые речения из осмысленных превращаются в экспрессивные, так фигуры речи могут стать вспомогательными средствами для передачи самого смысла, подчеркивания его оттенков, тонких соотношений и таким образом способствуют обогащению самого сообщающего слова».* В таком случае, говорит Шпет, *«фигура из поэтической формы становится внутренней логической формой»*, логические же формы, по Шпету, *«суть внутренние формы как формы идеального смысла, выражаемого и сообщаемого».* Тропам придается, таким образом, статус непосредственно содержащих и несущих смысл сообщений.

Идея существенная: упрощенно говоря, здесь предполагается, что метафора по смысловой значимости своей особой семантической структуры может стать равносильной значимости семантической структуры, напр., суждения. И больше того — онтическим структурам (как *«чистым формам сущего и возможного вещного содержания»*), поскольку между логическими и онтологическими структурами имеется, по Шпету, столь *«тонкое*

соответствие..., что его делают критерием логической истинности высказываний».

У Шпета здесь две идеи. Одна — что семантическая структура тропа, напр., метафоры, может вырасти до логической формы идеального смысла; это кажется удачной постановкой темы с интересно, но неполно намеченным направлением решения; другая — что структура тропа может дорасти и до онтологической формы сущего (идея, близкая рикеровскому стремлению обосновать прямую референциальную силу метафоры). Постановка вопроса и тут концептуально интересна, но ее намеченное решение представляется спорным.

Начнем с первой идеи. В шпетовском контексте тезис о возможном «вырастании» языковой структуры тропов до логической формы идеального смысла означает, что по вскрытой логической форме тропа можно будет строить новые смысловые образования — так же, как это происходит, напр., с законами выведения умозаключений. Но и здесь Шпет имеет в виду преимущественно семантику, т. е. обходится без ноэтики. В таком случае точнее было бы вести здесь речь не о соответствии метафоры логическим формам, а о соответствии метафоры каким-либо особым ноэтически-ноэматическим конфигурациям в типических ноэтических ситуациях. Тогда можно было бы ожидать иного: возможности строить по вскрытой ноэтической конфигурации той же метафоры новые смысловые образования, но уже не по типу семантических законов выведения умозаключений, а по типу особенных закономерностей сочетания в языковых актах ноэс и ноэм из состава разных ноэтических ситуаций (их комбинаторных совмещений, наложений, перестановок, сокращений и в общем — инсценировок). Напр., в такой конфигурации ноэс, которая характеризуется опущением ноэмы (семантики). Ведь и изначально метафора (доминирующий троп) всегда характеризовалась как *не именованье*; не тождественна метафора и семантическому синтаксису, ее природа ближе к синтактике и инсценированным конфигурациям ноэс («семантический сдвиг», о котором многие говорят применительно к метафоре, есть именно сдвиг ноэс).

Именно ноэтическая природа метафоры дает, с нашей точки зрения, возможность проникнуть ноэтике в смысл, но она не может дать метафоре в дар и то, что еще предполагалось Шпетом — возможность «дорасти» до онтологических форм, т. е. фактически до прямой референции³ (сближение семантики непосредственно с референтами в той или иной степени свойственно всем сугубо семантическим — или ноэматическим — теориям смысла). Синтактически-ноэтическая структура тропов потому и *не может* дорасти до онтологии, что в онтологических формах нет ноэтики, они не синтактичны внутри себя. Не точно, на наш взгляд, также говорить, что метафора может дорасти до «логических форм» — она не «дорастает» до них, а изначально стоит с ними в одном ряду явлений: логические формы представляют одну из (и именно не метафорическую) разновидностей инсценируемых языком ноэматически-ноэтических конфигураций — вполне определенную конфигурацию со своими типами сочленений, опущений, наращиваний, наслаиваний и т. д. ноэм, ноэс (а также фокусов внимания и точек говорения, о которых подробнее позже). Метафора же принадлежит к другой типологической разновидности таких инсценируемых языком

³ Если, конечно, не считать референтом саму ноэсу.

ноэтически-ноэматических конфигураций — в общем смысле «тропологической».

§ 8. «Ноэсоктомия», экспрессия и синтаксис. На фоне снижения значимости ноэтики в шпетовской концепции смысла — почти «ноэсоктомии» — закономерно выглядит и то, что почти столь же низко оценивается Шпетом и статус синтаксиса: ведь и там, и там не обойтись силой одной семантики, и там, и там потребны действия «нуса» (акты сознания). Синтаксис в этом отношении по многим параметрам тесно сближается Шпетом с экспрессией и фактически — обострим — последовательно понимается как зона действия одной субъективности.

Вот вкратце синтаксическая позиция Шпета: *«синтаксические формы» помещаются «между формами морфологическими в узком смысле и логическими».* Такая локализация, говорит Шпет, демонстрирует и предназначенное самому синтаксису место, и некоторые аспекты самой логической формы: *«положение логических форм вполне прояснится лишь тогда, когда мы их сопоставим прямо с формами синтаксическими и, следовательно, динамическими, а не с неопределенно морфологическими формами или с определенными чистыми морфемами, всегда статическими... Роль и положение логических форм и не осуществляются в живом языке, и непонятны без посредства синтаксических форм».* Кажется бы, синтаксису придается высокий статус, но и экспрессия помечалась высшим восьмым моментом в слове, а затем снижалась в смысловом отношении до эпифеномена речи. Почти то же происходит и с синтаксисом: *«И действительно, такое представление о положении синтаксических форм не правильно. Но оно ничего нам не даст, если мы будем понимать его слишком упрощенно, не входя в детали некоторых исключительных его особенностей. Если представить себе углубление от фонетической поверхности к семасиологическому ядру слова как последовательное снятие облегающих это ядро слоев или одежек, то синтаксический слой облегает последующие причудливо вздымающимися складками, особенности которых тем не менее от последующего строения всей структуры не зависят и сами на нем не отражаются».* Фактически это можно понимать как тезис, что языковой синтаксис не имеет существенного влияния на смысл высказывания (как и экспрессия). Тем более, что синтаксис может, согласно Шпету, «мешать» смыслу и в большинстве случаев так и делает: *«...оказывается, что со ступени синтаксической нельзя просто перешагнуть на логическую, а приходится перебираться с одной на другую по особым, иногда причудливо переброшенным соединительным мостам. Между формами синтаксическими и логическими происходит, таким образом, как бы задержка движения мысли, иногда приятная, иногда затрудняющая продвижение (задержка понимания), но такая, на которую нельзя не обратить внимания».*

Мысль о «задержке» — точная, вопрос в интерпретации: нам представляется, что эту «задержку» можно понимать продуктивно: как паузу для насыщения смыслом, в том числе «непрямым». Шпет по сути дела мыслит эту «задержку» как хотя иногда и «приятную», но все же помеху, поскольку видит в синтаксисе исключительно чувственную, несмысловую, природу: *«Вдумываясь в существо синтаксических форм и замечая, что и их особенности (как морфологические, так и акцентологические)*

*исчерпываются чувственно воспринимаемыми эмпирическими свойствами, мы видим, что их отношение как форм к идеальным членам словесной структуры есть отношение не существенное и органическое, а только условно-конвенциональное». Можно, говорит в доказательство Шпет, «вообразить язык, лишенный какого бы то ни было рода морфологических и синтаксических примет», что частично «осуществляется в китайском языке, но в большей степени в задуманной Раймундом Луллием *Ars magna* или в *ars characteristica combinatoria* Лейбница, также в символической логике (логистике) и даже просто в математической условно-символической речи». Заменяя в этом языке цифрами и строчными буквами приставочные морфемы, а прописными синтаксические формы, можно будет получить графические изображения для все типов синтаксических связей в высказываниях: «отца любит сын, отец, люби сына! отец будет любить сыновей... значение тут остается независимым от порядка символов».*

Вывод из этой иллюстрации плачевен для синтаксиса: «Это показывает, что синтаксические формы для передачи смысловых и онтических отношений вещей в структуре слова принципиально не нужны. Они могут служить при случае даже помехой, задержкой пониманию. Одних морфологических форм для осмысленной речи было бы достаточно, от них переход к логическим формам так же прост, т. е. логические формы могут так же хорошо обуздать морфологическую материю, как то делают и формы синтаксические...». «Только морфология» — это и есть: «только семантика».

Радикально сформулировав главную идею, Шпет и по отношению к синтаксису делает далее те же уступки, что и в случае с экспрессией. Постулировав «идеальную "ненужность" (не необходимость) синтаксических форм», Шпет продолжает: «Лишенным синтаксиса и построенным на одной логике языком, может быть, увлекся бы, как идеалом, ученый педантизм или правоблюстительный канцеляризм, но им решительно ступефицировалось бы всякое поэтическое чувство... Синтаксические формы живого языка — шире логических, целиком в последние они не вливаются. Спрашивается, каким идеальным нормам подчинится то в свободной динамике языка, что заливают и затопляет своими волнами русло логики?» Шпет отвечает на этот вопрос в том смысле, что «в самом языке должно быть свое свободное законодательство», надо понимать — собственно синтаксическое и, по-видимому, 'свободное от смысла'. К смыслу это собственно языковое синтаксическое законодательство серьезного отношения у Шпета, кажется, не имеет, оно — внутренний распорядок языка, вынужденно наличный как привесок к тому, что слово не только «смысл», но и чувственная «вещь», имеющая — как таковая — свои законы сочетания: «Формы языкового построения, конструирования, порядка, уклада должны быть автономны. Их и надо отыскать в самом языке. Для этого не надо только забывать, что слово есть не только знак и в своем поведении определяется не только значимым. Слово есть также вещь... Синтаксис изучает отличие этой "вещи" от всякой другой вещи, иновещи (например, отличие фонемы от всякой иной акузмы — откашливания, причмокивания, экспрессивного тона, и т. д.)».

Единственная «особая» сфера и тут — поэзия, где, говорит Шпет, возможна имеющая смысловой эффект «игра синтагм и логических форм

между собою», порождающая — как понятно — те самые тропы и фигуры речи, которым Шпет дает пропуск в «объективный» смысл. Фундирующее основание этой игры, говорит Шпет, — логические формы, именно поэтому — а не по причине, следовательно, природы самих тропов и фигур — в игре синтаксиса и логических форм в поэзии *«можно заметить идеальное постоянство и закономерность»*. Метафора, по Шпету, фундирована логическими формами (и только поэтому она может выйти на смысл как таковой), а не ноэтически-ноэматическими комбинациями в рамках типически общих ноэтических ситуаций. Поэтические формы «производные от логических форм» у Шпета в самом прямом смысле — настолько, что они даже могут в своей специфичности составить подраздел логики: поэтическую логику, *«учение о внутренних формах поэтического выражения»*. Рядом с синтагмой, ноэмой⁴ и пр. нужно говорить о *поэмах*, и соответственно о *поэзах*, и вообще о поэтическом сознании.

Что мыслится в шпетовской теории при подключении тока поэзии? Изменяется понимание смысла как предмета и бытия, как присущего самому предмету? Или изменяется понимание предмета? У поэтических форм *«свое отношение к предмету, дифференцированное по сравнению с отношением логических форм... Рядом с истиной трансцендентальной (материальной) и логической получается истина поэтическая как соответствие синтагмы предмету, хотя бы реально несуществующему, "фантастическому", фиктивному, но тем не менее логически оформленному. В игре поэтических форм может быть достигнута полная эмансипация от существующих вещей <по-видимому, аналог гуссерлевой нейтрализации сознания>. Но свою sui generis логику эти вещи сохраняют. А вместе сохраняют и смысл, так как эмансипация от вещей не есть эмансипация от смысла, который налицо, раз налицо фундирующие игру фантазии логические формы»*. Точно можно говорить только об одном изменении: поэзия говорит о реально не существующих или о нейтральных предметах. Но поскольку поэтические формы «фундированы логическими», поэзия с ее синтаксисом, тропами и экспрессией может сохранить и даже породить смысл.

Сказать так — не значит ли сказать, что поэзия прорывается к невымышленному смыслу через вымышленные предметы посредством непрямого говорения? Почти значит: но тем самым прямая семантика как единственное обиталище смысла свернулась бы в радикальное кольцо, образовав фигуру кусающей себя за хвост змеи.

§ 9. Суггестивная сила шпетовских идей. «Аналитическая феноменология». Фактически Шпет (и, насколько известно, только он) осуществил последовательную радикализацию гуссерлевой феноменологии в том варианте, в каком она была задумана в ЛИ. Вместе с тем, уплотнив сугубо семантическую версию феноменологии до своего рода «атомного ядра» и приблизившись тем самым к тому, что можно было бы назвать *«аналитической феноменологией»*, Шпет использовал и все преимущества аналитики. Шпетовская теория экспрессии — сжатая концептуальная пружина, порождающая (при осуществлявшемся самим Шпетом строго по аналитическим лекалам постепенном ослаблении сжатия) широкий спектр

⁴ Это — единственное место в «Эстетических фрагментах», где употреблено понятие «ноэмы», «ноэсы» же нет вовсе.

разнообразных остро поставленных и интересно намечаемых к разрешению проблем и идей.

Прежде всего шпетовская теория эксплицировала — силою всех описанных выше разносторонних оговорок и последовательных аналитических «шагов» — одну из самых фундаментальных, но редко выходящих на специально обсуждаемую концептуальную поверхность проблем — проблему соотношения того, что у Шпета в широком смысле называлось «экспрессивностью», и — *модальности* (эта отчетливо эксплицированная шпетовской теорией проблема станет у нас предметом отдельного обсуждения — см. раздел 2. 4.). Кроме того Шпету удалось собрать под знамена антисубъективной теории экспрессии почти все основные «объективно-типологические» проблемы поэтики: при дальнейшем обсуждении этой тематики, для которой название «экспрессивность», конечно же, слишком тесное, окажется, что практически за каждой «оговоркой» Шпета стоит особая и отдельная типологическая проблема. Шпетовские идеи отзовутся, в частности, эхом при постановке и обсуждении проблемы соотношения импрессии и экспрессии (или: ноэматической и ноэтической тональностей), лежащей, как здесь предполагается, в основании общей теории тональности сознания и языковых высказываний (см. раздел 2. 5.).

Эккурс 6

Фокус внимания и его смены на фоне «Идей 1».

Разведение интенционально-аттенциональных сдвигов в актах сознания и, с другой стороны, параллельных им и их инсценирующих собственно языковых ФВ и их смен, которые локализованы в переходе от потока разноприродных, в том числе языковых, актов сознания — к языковым актам как таковым в их организованной и связанной последовательности (будь это развернутое логическое суждение или коммуникативно насыщенное высказывание), имплицитно — как пунктирно намеченное направление — подразумевалось, по всей видимости, и Гуссерлем. Имеются в виду прежде всего § 92 «Идей 1» *«Аттенциональные сдвиги в поэтическом и нозматическом аспекте»* (этот параграф весь целиком нуждается при погружении в предлагаемую тематику в осмыслении), а также реминисценции к нему в последующем тексте. Долгий разговор позволил бы усложнить тему, но сейчас нам нужна лишь иллюстрация предполагаемого наличия у Гуссерля обсуждавшегося выше круга идей в связи с ФВ. Приведем поэтому краткий фрагмент из § 121 с соответствующим комментарием, предварительно напомним лишь то существенное в данном случае обстоятельство, что в центре собственных интересов Гуссерля стояли только внекоммуникативные акты выражения, а не те полноценные коммуникативные высказывания, в которых выше постулировалось наличие «секуляризованных» от актов логического выражения разновидностей языковых ФВ и их смен.

Параграф называется *«Доксические синтаксисы в сфере душевного и волевого»* — эта сфера тоже относится к нашим сквозным темам и нуждается поэтому в сопряжении с введенной проблематикой языковых ФВ и их смен. Синтетические акты душевного, говорит здесь среди прочего Гуссерль, конституируют синтетические предметы душевного, каковые только *«через посредство соответствующих доксических актов достигают своей эксплицитной объективации»*, т. е. они достигают означивания (семантизации) в актах выражения всегда только через «доксическое» посредство. Эти доксические позициональности, т. е. то, что, по Гуссерлю, способно к семантическому логосному выражению, можно, говорит он, «извлекать» из актов душевного. И вот тут, сразу вслед за этим идет существенный для нас пункт: их можно извлекать *«путем подходящего обращения взгляда на соответствующие нижние и верхние ступени»*. Путем «обращения» — т. е. путем перевода взгляда, смены луча аттенции. Непосредственно здесь Гуссерль имеет в виду необходимость (ради извлечения из синтетического неязыкового переживания доксического акта, единственно поддающегося логическому — субъект-предикатному — выражению) переводов аттенционального луча с нозм на нозсы переживания и превращение тем самым последних в нозмы: *«Естественно, все с нозмической переносится на нозматическую сферу»*. Выразить душевные акты в языке — это в гуссерлевой терминологии означает: *«сложить из акта душевности новый акт — доксический»*. Состоя в комплексном переживании, акты душевного меняют направление его аттенционального луча, осуществляя 'выбор' чего-либо, предпочтение чего-либо, выдвигание одного на первый план и отодвигание другого вглубь. Но при этом сами в себе аттенционально подвижные акты душевного не выстроены в доксическую форму, а значит прямо и непосредственно не выразимы семантически (в языке). Чтобы выразить эти неязыковые акты душевного, нужно сложить из них *новый* — доксический — акт, что в свою очередь требует специального — нового —

поворачивания взгляда (внимания). В определенный момент в качестве необходимого основания для искомого сложения доксического тезиса требуется осуществление акта «положенности» какого-либо высвеченного элемента в позиции синтаксического субъекта (логического прообраза или разновидности, но не полного двойника фокусов внимания).

Зафиксируем еще раз: для выражения язык извлекает (т. е. не берет откуда-то со стороны, а берет «из») из неязыкового переживания доксический акт, но не в смысле заранее там именно в таком виде содержащегося, а в смысле сложения *нового* акта. Это сложение нового (т. е. языкового) акта требует, по Гуссерлю, в том числе трех «действий». Первого — специальных, не содержащихся в самом переживании, новых «поворотов взгляда» — а это и есть то, что близко к имевшемуся выше в виду под логической трансформацией аттенциональных перемещений взгляда сознания; второго — фиксации внимания на субъектной позиции логического выражения; и третьего — использования возможности сменять в выражении изначально фиксированный «фокус внимания». Вот содержащий, как кажется, эти идеи фрагмент: *«Сложит из акта душевности, в каком мы, так сказать, лишь душевно живем, стало быть не актуализуем доксические потенциальности <в том числе не выражаем в языке>, акт новый, в каком предметность душевного, поначалу лишь потенциальная, преобразуется в актуальную, доксически, а при обстоятельствах, возможно, и в явной форме эксплицированную <т. е. выраженную семантически>, — это всякий раз дело особенных, возможных по мере сущности поворотов взгляда и заключенных в таковых тетических и тетически-доксических процедур».*

Ниже по тексту Гуссерля для этих осуществляемых в целях «слияния» с языком поворотов и «процедур» будет применено выразительное словосочетание — «поворачивание всего феномена в целом». Такое в целях языка поворачивание всего феномена — не аттенциональный сдвиг: аттенционально подвижны сами в себе именно акты душевного, *«в каких мы лишь душевно живем»*, т. е. акты «вне» или «до» языка. В эмпирической жизни вполне обычно, продолжает Гуссерль, что *«мы, к примеру, смотрим сразу же на несколько наглядных предметов»* и *«одновременно с этим совершаем синтетический акт душевного, — скажем, осуществляем единство коллективного удовольствия, или осуществляющего выбор акта душевного, акта удовольствия, осуществляющего предпочтение, акта неудовольствия, нечто отодвигающего вглубь — при этом мы вовсе даже и не переходим к тому, чтобы доксически поворачивать весь феномен в целом».* И сразу далее интересующий нас главный момент: *«Зато это последнее мы делаем — тогда, когда делаем определенное высказывание, к примеру, выражая свое удовольствие некоей множественностью, или чем-то одним из такой множественности, или предпочтительностью одного по сравнению с другим и т. д.»*

И Гуссерлем, следовательно, предполагалось, что когда мы облачаем акты сознания, в частности, акты душевного, в языковые акты коммуникативного выражения (речь идет здесь у Гуссерля не о логической, а именно о коммуникативной сфере — о выражении своего удовольствия), мы должны доксически «развернуть» весь феномен в целом и поставить какой-либо его элемент в позицию привлеченного внимания (в логическом означивании — в позицию субъекта), по отношению к которой можно ориентировать остальные «части» и эксплицировать оценку (предсцицировать); при необходимости же переструктурировать элементы и эксплицировать оценку по отношению к другому элементу, надо поставить в фокус этот другой элемент, т. е. *произвести смену ФВ.* И Гуссерлем, следовательно, полагалось различие собственно аттенциональных

сдвигов сознания и неких специально «языковых» поворотов «взгляда-внимания»: в самих актах душевного есть аттенциональная подвижность, но нет ни ФВ, ни их смен — они появляются только в языковых актах.

Многokrатно обращаясь к теме аттенциональных сдвигов и их модифицированного транспонирования в язык, Гуссерль обычно говорит, что дальше фиксации самих этих явлений продвигаться не будет, поскольку это выходит за рамки чистой феноменологии сознания. И в § 121 также Гуссерль оставляет тему на процитированном достигнутом месте — фактически на подступах к идее специфических языковых ФВ и их смен. Вот сразу же следующая после выше цитированного концовка параграфа: *«Не приходится подчеркивать, сколь важно тщательное проведение таких анализов для познания сущности аксиологических и практических предметностей, значений и способов сознания, следовательно для проблем 'истока' этических, эстетических и иных сущностно-родственных им понятий и выводов. Поскольку же сейчас наша задача, собственно, вовсе не в том, чтобы решать феноменологические проблемы, а в том, чтобы научно вычленять главные проблемы феноменологии и, соответственно, предначертывать взаимозависящие с таковыми направления исследований, то для нас сейчас довольно того, чтобы мы довели все вещи до этого места».*

Можно думать, что тем самым ситуация оставляется нерешенной, оттянутой, неясной, что Гуссерль поступал так, чувствуя некоторую расплывчатость своей позиции по отношению к языку, но можно оценить ее — как предлагается здесь — и в том смысле, что решающие исходные позиции, напротив, были намечены отчетливо — во всяком случае настолько, что позволяют понять маршрут мыслившегося им дальнейшего продвижения феноменологических усмотрений в собственно языковую — нередуцированную и коммуникативную — область, в сфере чистой феноменологии самим Гуссерлем редуцируемую. Языковые ФВ и их смены — один из таких маршрутов.